Роман — финалист Букеровской премии,
лауреат Международной Дублинской премии IMPAC

КОЛМ ТОЙБИН

МАСТЕР



18+

ВПЕРВЫЕ НА РУССКОМ!

Мастер
Колм Тойбин

Аннотация
Колм Тойбин. Мастер
Глава 1
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Глава 5
Глава 6
Глава 7
Глава 8
Глава 9
Глава 10
Глава 11
Слова благодарности
От переводчика

Аннотация

Впервые на русском – роман Колма Тойбина, автора «Волшебника» и «Бруклина», книга – финалист Букеровской премии, лауреат Международной Дублинской премии IMPAC, «изысканное освещение внутреннего мира Генри Джеймса» *(New York Times)*. Современный классик отдает дань уважения одному из столпов американской и мировой литературы, предтече модернизма. Выдающийся художник, мастер тонкого психологического портрета, показан во всей своей уязвимости и одиночестве – от провала постановки его пьесы «Гай Домвиль» в лондонском театре Друри-лейн, пока в соседнем театре публика рукоплещет премьере «Как важно быть серьезным» Оскара Уайльда, до визита в провинциальный английский городок Рай, где Джеймс поселился на склоне лет, его брата, философа Уильяма Джеймса, и с многочисленными реминисценциями к ключевым эпизодам биографии прославленного добровольного изгнанника, который предпочел Лондон, Флоренцию и Париж родному Бо-

стону…

«Негромкий шедевр, работа необычайной серьезности и сопричастности, раскрывающая нам гения во всей его человеческой полноте. И написан этот глубокий роман – не побоимся слова – мастерски» *(New York Observer)*.

Колм Тойбин
Мастер

Colm Tóibín
The Master
Copyright © Colm Tóibín, 2004

© Е. Ю. Калявина, перевод, 2024
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2024 Издательство Иностранка®

* * *

Изысканная проза.
Филип Пулман

Обязательно к прочтению. Колм Тойбин не просто сочинил захватывающий роман, он сумел таким образом отдать дань уважения Генри Джеймсу. Всем бы нам такой дар и такое везение.
Элис Сиболд(автор «Милых костей»)

В «Мастере» Тойбин шокирующе близко подводит нас к душе Генри Джеймса — а заодно и к тайне самого творчества.
Майкл Каннингем

Литература о реальных исторических личностях, столь внутренне противоречивая, ощущается как часть безудержной эклектики постмодернизма. Правда, подобные примеры существовали и до двадцатого столетия — скажем, Наполеон и русский генерал Кутузов, изображенные Толстым в «Войне и мире», или портреты поэта Петрония, императора Нерона и святого Петра в «Камо грядеши?» Сенкевича. Но до той поры, пока истина не стала абсолютной условностью, имидж не возобладал над фактами, а историческое прошлое не превратилось в чердак, набитый потенциально завлекательными безделками,

прославленным мертвецам было дозволено покоиться в оставленных ими записях, документах и свидетельствах их деяний в письмах и рассказах современников. Вымысел довольно близко соприкасается с фактами: к примеру, какой бы фантастической деталью это ни казалось, Джеймс в самом деле прятался среди публики на лондонском представлении пьесы Оскара Уайльда, пока буквально за несколько кварталов катастрофически разворачивалась постановка его собственной пьесы. Он действительно провел август 1865 года в местечке Норт-Конвей, штат Нью-Гэмпшир, в обществе своих кузин Темпл, и этот месяц подарил ему воспоминания о яркой и дерзкой Минни Темпл, которые легли в основу и «Дейзи Миллер», и «Женского портрета».

Похоже, некое гипнотическое влечение вдохновило Тойбина на масштабную, туманную и прихотливую работу по реконструкции. Тойбин ситуативно точен во всем, что касается Флоренции Джеймса; он детален в описании маршрута от Лэм-Хауса к побережью. Проведя довольно долгое время в Америке, он хорош в описании американца Джеймса, испытывающего ностальгию по «американским голосам, (которые) хоть и полны энтузиазма, однако вовсе не так ори-

гинальны, как они воображают, и не так уж неотягощены историей, как им кажется».

Джон Апдайк

Этот великолепный роман Тойбина — трогательное размышление об одиночестве как о кладезе красоты.

Бернхард Шлинк (автор «Чтеца»)

Колм Тойбин обладает превосходным пониманием величайшего из американских писателей и незримо сопровождает его в Риме, Ньюпорте, Париже, Флоренции и Лондоне Оскара Уайльда. Впрочем, ничто в этой книге не кажется обрывочным или поверхностно-импровизационным. Это хорошо выдержанный труд, достойный Мастера.

Эдмунд Уайт (автор «Истории одного мальчика»)

Колм Тойбин не просто наблюдает за Генри Джеймсом, он вселяется в него. И под этим неординарным углом зрения он демонстрирует поразительную изобретательность.

Джон Берендт (автор «Полночи в саду добра и зла»)

Великолепный портрет сложного и страстного человека.

Азар Нафиси (автор «Читая „Лолиту“ в Тегеране»)

Сотворить роман из жизни писателя, да так, чтобы он оказался подлинным романом, а не замаскированной биографией, — это стратегический подвиг: застенчиво-лукавые интонации и структурная изобретательность Тойбина подспудно гениальны и всегда эффективны. Его передача первых намеков на идеи или предощущений будущих рассказов, как они формируются в мыслях Джеймса, — сама по себе образец писательского волшебства. Этот прекрасный, проникновенный роман вызовет восторг и любовь и у Джеймсианцев, и у не-Джеймсианцев.

Синтия Озик

В конечном счете в этом вся суть Генри Джеймса… которого Тойбин воскрешает в своем блестящем романе.

The Times

Трудно вообразить поклонника Генри Джеймса, которого не захватил бы этот роман — труд о подлинной преданности литературе, созданный писателем, который сам является мастером шикарной прозы и психологических нюансов.

Sunday Telegraph

Один из самых замечательных романов года.
Sunday Herald

«Мастер» дает нам возможность по-настоящему сблизиться с одним из тех, кто мог бы быть Генри Джеймсом.
London Review of Books

В «Мастере» Тойбин возвращает Джеймса к жизни — простая биография на такое не способна.
Esquire

Мало найдется современных романистов, способных выдержать такое психологическое испытание на протяжении всего романа, а Тойбин делает это весьма искусно и убедительно.
Spectator

Тойбин тонко улавливает сложность судьбы Джеймса, его скрытность, его неоднозначное страстное стремление к любви и отказ от надежды ее обрести… Отважная дань уважения писателю, которого серьезные художники и по сей день признают Мастером.
Irish Times

Превосходная книга.
Scotsman

Роман, исполненный прозрений, филигранных камео и нежного сопереживания мучительной сдержанности человека чувствующего, но так и не осмелившегося на плотскую любовь.
New Statesman

«Мастер» — книга, достойная восхищения.
Daily Telegraph

Дух захватывает… Тойбин демонстрирует — и весьма виртуозно — остроумие и метафорическое чутье, психологическую тонкость и пронзительную остроту фразировки, с которыми великий романист запечатлел нюансы сознания и двуличие светского общества.
Sunday Times

Великолепно сдержанный… этот роман — мастерское, интимное размышление о работе, амбициях, дружбе, желаниях и бренности.
Chicago Tribune

Такую глубину и чувственность способны предложить лишь немногие авторы… В результате имеем незабываемый портрет одного из самых проницательных социальных исследователей в мире.
The Christian Science Monitor

Непревзойденно… Тойбин пишет благородный и щемяще печальный портрет.
Entertainment Weekly

Западающий в душу, прекрасный роман.
O, The Oprah Magazine

«Мастер» — превосходный, изысканный до мельчайших нюансов портрет.
San Francisco Chronicle

В умелых руках Тойбина перед нами разворачивается цельный и, в конечном счете, трогательный портрет уходящей эпохи.
The Boston Globe

В своем ярком романе Тойбин воображает личную жизнь этого чрезвычайно закрытого американского романиста. И акт творения, этот деликатный и таинственный процесс, сопряженный с психологическим давлением, Тойбин сумел запечатлеть как нельзя лучше.
People

Это смелая, глубокая и потрясающе интеллектуальная книга.
The Guardian

«Мастер», ведя непринужденную беседу, не

читается как просто биография. Тойбин блестяще использует архитектуру эпизодов… Совокупный эффект завораживает.
Minneapolis Star Tribune

Восхитительно яркое произведение.
Kirkus Reviews

Изысканное освещение внутреннего мира Генри Джеймса… оказывает такое изумительное воздействие.
The New York Times

Прекрасно написанный, участливый, приправленный доброжелательным остроумием «Мастер» — мастерски исполненное художественное произведение.
The Courier Post

Негромкий шедевр, работа необычайной серьезности и сопричастности, раскрывающая нам гения во всей его человеческой полноте. И написан этот глубокий роман — не побоюсь этого слова — *мастерски*.
New York Observer

Тойбин написал произведение, в котором чувствуется большое мастерство и изобретательность.

The Weekly Standard

Изумительное литературное достижение.
BookPage

В этом посвящении Генри Джеймсу Колм Тойбин позволяет каждому из нас быть мастером.
Petersburg Times

Даже тот, кто имеет весьма смутное представление о Генри Джеймсе и не читал его книг, может насладиться этим умным и обаятельным романом, который — не на серебряном блюде, но в раскрытых и нежных ладонях — преподносит нам прекрасно проработанный во всех деталях психологический портрет писателя.
Booklist

Трогательный, бесконечно прекрасный роман от автора самой высшей лиги.
The New York Times Book Review

Едва ли не лучшая книга, когда-либо написанная о Генри Джеймсе.
Irish Voice

Посвящается Барбре и Майклу Стэк

Глава 1

Январь 1895 г.

По ночам к нему порой являлись мертвецы — снились знакомые лица, а также иные обличья, уже полузабытые, мимолетные вспышки из прошлого. Очнувшись нынче, он решил было, что до рассвета осталось едва ли больше часа; однако тянулись часы и часы, без звука, без движения. Он потрогал затекшие мышцы шеи, пальцы словно коснулись твердого дерева, но боли не было. Двигая головой, он буквально слышал, с каким скрипом подчиняются мускулы. Я точь-в-точь старая рассохшаяся дверь, сказал он сам себе, прекрасно сознавая, что должен поскорее заснуть снова. Не годится ему бодрствовать в это время суток. Он жаждал погрузиться в блаженную черноту, оказаться в темном, но не слишком мрачном приюте отдохновения — отрешиться от людей и призраков, от назойливого мельтешения образов.

В следующий раз он пробудился в смятении, не отдавая себе отчета, где находится. Он частенько просыпался таким — встревоженным, не до

конца оклемавшимся — и с тоской ждал неизбежного начала дня. Порой в дреме он воображал себя в кресле у стены старого дома в Беллосгардо и грелся в солнечном мареве весеннего утра, вдыхая аромат глицинии, ранних роз и жасмина, наслаждаясь поцелуями солнечного света. И мечтал, что, когда он проснется, день будет подобен сну, а отблески этого душистого тепла и легкости останутся с ним до прихода следующей ночи.

Но этот сон был иным. Была ночь или сумерки в каком-то старом итальянском городе, наподобие Орвието или Сиены, но без явных указаний на какое-то определенное место; просто город-греза с узкими улочками, и он спешил; непонятно было, идет ли он один или с кем-то, но он определенно спешил, а вокруг было полно студентов, которые неторопливо поднимались вверх по улице, мимо ярко освещенных витрин магазинов, кафе и ресторанов, и ему не терпелось во что бы то ни стало их обогнать, оторваться от этой толпы. Как он ни старался, он все еще не мог сообразить, сопровождал ли его кто-то, или же ему просто померещился его спутник, а может быть, просто какой-то незнакомец шел в нескольких шагах позади. Он мало что мог припомнить об этом призрачном, зыбком попутчике, но вроде бы

тот лучше его самого сознавал необходимость поторапливаться и то и дело бормотал ругательства, уговаривая прибавить шагу, и распихивал студентов безо всяких церемоний.

С чего бы вдруг ему мнилось все это? Кажется, на каждом перекрестке, где проблескивал переулок, ведущий на площадь, его подмывало свернуть с заполненной народом улицы, но ему не позволяли, заставляли двигаться дальше. Принадлежал ли этот неумолимый голос его призрачному спутнику? Наконец перед ним открылась типичная итальянская пьяцца — обширное пространство, окруженное башенками и островерхими крышами, крытое лаковой гладью чернильно-синего неба. Он остановился, созерцая площадь, будто картину в раме, вбирая симметрию и текстуру. Однако — и он содрогнулся при этом воспоминании — в центре композиции оказались люди. Они образовывали круг, но он не видел ни одного лица, только спины. Он уже собрался было подойти к ним, и тут персоны, стоявшие к нему спиной, повернулись. У одной было лицо его матери — такое, каким он видел его в последний раз, в самом конце. Рядом, в окружении других женщин, стояла его тетушка Кейт. Обе они были мертвы уже много лет; улыбаясь, они медленно

приближались к нему. Лица их светились, точно лики на полотне. На ум пришло слово, — определенно, оно приснилось ему тогда же, когда и эта сцена: «Взываю». Женщины умоляли о чем-то его или кого-то другого, выпрашивали, заклинали и молитвенно простирали руки, но когда они наконец подошли, он пробудился в холодном поту, изнывая от безнадежного стремления узнать, о чем они томились, какое утешение он мог бы предложить этим двум самым любимым на свете существам.

Послевкусием сна стала гнетущая тоска, и, зная, что не должен опять засыпать, Генри ощутил непреодолимое желание начать писать, все равно что — что-нибудь, что поможет отрешиться, отвлечься от видения двух этих женщин, навеки для него потерянных. И закрыл лицо руками, вспомнив один-единственный момент своего сна, тот самый, что заставил его так резко пробудиться. Сейчас он отдал бы все на свете, чтобы забыть этот миг, помешать ему последовать за ним в наступивший день. Во сне, на той площади, он поймал взгляд матери и увидел в ее глазах панику, а на губах — застывший крик. Она отчаянно хотела чего-то недостижимого, чего не могла получить, а он был не в силах ей помочь.

В канун Нового года он отказался от всех приглашений. Леди Вулзли он написал, что целый день наблюдал за репетициями в компании толстых женщин из костюмерной. Он был охвачен беспокойством и смятением, а то и настоящей тревогой, но наблюдал за происходившим на сцене с восторгом и упоением неофита. Пусть леди Вулзли и ее супруг вознесут за него молитвы накануне премьеры его пьесы — та уже не за горами.

Весь вечер он бродил как неприкаянный, а ночью то и дело просыпался. Он не виделся ни с кем, кроме слуг, а те по опыту знали, что сейчас его нельзя беспокоить и лучше вообще не обращаться к нему, помимо совершенно уж неотложных вопросов.

Его пьеса «Гай Домвиль», о наследнике богатого католического семейства, который разрывается между желанием уйти в монастырь и чувством долга, побуждающим к продолжению рода, назначена к премьере пятого января; все приглашения разосланы, и многие адресаты уже прислали ответные письма с подтверждением и благодарностью. Александер, режиссер-постановщик и по совместительству исполнитель главной роли, пользовался благосклонностью

взыскательных театралов, а костюмы были поистине роскошными — действие происходит в восемнадцатом веке. И все же, несмотря на остроту нового увлечения, которое он испытывал, вращаясь при свете рампы в пестром актерском кругу, наслаждаясь крошечными изменениями и улучшениями, ежедневно вторгавшимися в пьесу, он не создан для театра, он всегда так считал. Генри вздохнул, садясь за письменный стол. Как бы ему хотелось, чтобы это был самый обычный день. Можно было бы перечитать вчерашние заметки, исправлять и редактировать, а потом все переписать заново, заполняя рабочее время привычной рутиной. И все же он знал, что его настроение может измениться так же быстро, как меркнет дневной свет в комнате, он вновь взалкает счастья театральной жизни и возненавидит общество пустых страниц. Должно быть, все эти метания — издержки пресловутого среднего возраста.

Его гостья явилась ровно в одиннадцать. Он не мог уклониться от встречи: письмо было филигранно-настойчивым. Она писала, что совсем скоро навсегда покидает Париж, а перед этим в последний раз навестит Лондон. В послании было что-то непостижимо окончательное, по-

корное судьбе, и эта интонация настолько не вязалась с ее характером, что он сразу осознал нешуточность беды, в которую она попала. Они не виделись много лет; впрочем, за эти годы он получал весточки от нее самой и известия о ней от общих знакомых. Однако этим утром, все еще преследуемый своим сном и озабоченный своей пьесой, он воспринимал ее лишь как имя в дневнике, имя, пробуждающее старые воспоминания — резкие в своих очертаниях и блеклые в деталях.

Когда она вошла в комнату, ее стареющее лицо осветила теплая улыбка, ширококостная фигура двигалась плавно и неторопливо. Ее шутливое приветствие было таким открытым и ласковым, а глубокий голос, временами понижавшийся почти до интимного шепота, звучал так пленительно и мягко, что все его беспокойство о пьесе, о времени, которое он тратит впустую, не находясь в театре, растаяло без следа. Он и забыл, как сильно она ему нравилась; как же легко оказалось скользнуть в далекие парижские дни, когда он, юнец двадцати с небольшим, отчаянно втирался в компанию русских и французских писателей.

Как же случилось, что эфемерные, выдуманные образы со временем стали интересовать его

куда больше, чем эти знакомые — снискавшие мировую славу, почившие в безвестности, те, чей лавровый венок стремительно увял, и те, кто никогда и не стремился к признанию. Его гостья была замужем за князем Облисским. Князь имел репутацию человека сурового и нелюдимого; судьба России и собственное, исполненное высоких целей изгнание интересовали его куда больше, чем ночные посиделки суетных представителей богемы. Княгиня тоже была русской по происхождению, но с юных лет жила во Франции. Княжескую чету неизменно окружали намеки, слухи и догадки. Как это характерно для того времени и того города, подумал Генри. Ведь всех, кого он знал в Париже, осеняла аура другой жизни, полуреальной-полумистической, — жизни, о которой нужно знать, да помалкивать. В те годы он в каждом встречном искал приметы тайны, которую тот мог бы невольно выдать, прислушивался к подсказкам, улавливал нюансы. Ничего подобного не было ни в Нью-Йорке, ни в Бостоне, а когда он наконец поселился в Лондоне, тамошние жители вели себя согласно убеждению, что у вас не может быть никакого тайного, глубоко сокрытого «я», если только вы сами весьма решительным образом не заявляете обратного.

Он помнил, какой шок испытал, впервые оказавшись в Париже, окунувшись в эту культуру изящного двуличия, увидев всех этих мужчин и женщин, которых наперебой описывали романисты, как бы между прочим умалчивая о самой важной составляющей этой жизни.

Он всегда недолюбливал интриги, и все же ему нравилось обладать секретами, потому что чего-то не знать означало упустить почти все. Сам он научился никогда ничего не разглашать и вести себя совершенно бесстрастно, услышав какую-то новую важную информацию, — так, будто это пустячная светская болтовня. Обитатели и обитательницы парижских литературных салонов точно разыгрывали сложную партию, состязаясь в знании и неведении, притворстве и маскировке. Он научился у них всем трюкам.

Усадив княгиню, Генри притащил охапку подушек, предложил любое кресло, шезлонг или кушетку, где ей будет удобнее присесть или даже прилечь.

— Людям моего возраста уже не бывает удобнее, — грустно улыбнулась княгиня.

Он перестал ходить по комнате и повернулся, чтобы посмотреть на нее. Ему было хорошо известно, какое воздействие оказывает на людей

хладнокровный, внимательный взгляд его спокойных серых глаз. Под этим сосредоточенным взглядом собеседники успокаивались, точно сознавали: время недомолвок и легкомысленной игры в полуразговор миновало, то, что будет сказано далее, — очень серьезно.

— Я должна вернуться в Россию, — сказала она на своем отчетливом, подчеркнуто безупречном французском. — Вот что я должна сделать. Я говорю «вернуться», будто я на самом деле когда-нибудь там жила. Конечно, я бывала на родине, но, право же, никакого отпечатка на мне эти визиты не оставили. У меня нет ни малейшего желания снова увидеть Россию, но он настаивает — я должна покинуть Францию и поселиться там навсегда.

Как и все, что она говорила, эти слова сопровождались улыбкой, но на лице ее проступило какое-то тоскливое недоумение. Вслед за гостьей в комнату заявилось прошлое, а сейчас, годы спустя после смерти родителей и сестры, любое напоминание о былом и утраченном вызывало у него тяжелую и неудержимую скорбь. Время неумолимо, в молодости он и вообразить не мог, какую боль могут доставить потери; нынче спасение от этой муки ему дано искать лишь в

работе и во сне.

По ее мягкому голосу и легкомысленным манерам было ясно: она ничуть не изменилась. Все знают, что муж скверно с ней обращался и плохо управлял своими земельными угодьями. Она начала рассказывать о каком-то поместье в российской глуши, куда ее ссылают до конца дней. Январский шелковистый свет струился по комнате. Генри сидел и слушал. Он знал, что князь Облисский оставил в России сына от первого брака и угрюмо коротал свою жизнь в Париже. От него всегда попахивало некими политическими интригами и заговорами, он намеками давал понять, что еще сыграет свою роль в истории России и лишь ждет своего часа.

— Муж говорит, что всем нам пора вернуться в Россию, на родину. Он заделался реформатором. Твердит, что Россия развалится, если не изменится. Я сообщила ему, что Россия давным-давно развалилась, но не стала напоминать, что его весьма мало интересовали реформы, покуда он не оказался по уши в долгах. Ребенка воспитала семья его первой жены, и никто из них не желает иметь с князем ничего общего.

— Где же вы будете жить? — спросил он.

— Я буду жить в рассыпающейся усадьбе, а

полупомешанные крестьяне будут прижиматься носами к стеклам моих окон, если там в окнах еще остались какие-то стекла. Вот где я буду жить.

— А Париж?

— Мне придется от всего отказаться: от дома, от слуг, от друзей, от всей жизни. Там я замерзну или умру со скуки. Это будет гонка двух зол.

— Но к чему все это? — мягко спросил Генри.

— Он говорит, что я растранжирила все его деньги. Я продала дом, несколько дней подряд жгла письма, выбрасывала одежду и плакала. А теперь я прощаюсь со всеми. Завтра я уезжаю из Лондона, проведу месяц в Венеции. Потом я поеду в Россию. Он говорит, что многие другие тоже возвращаются. Но они-то едут в Петербург. Для меня он уготовил совсем иной удел.

В голосе княгини звучало неподдельное чувство, и все же, исподволь наблюдая, он не мог отделаться от ощущения, что слушает одного из «своих» актеров, упивающегося собственной игрой. Порой она говорила о себе, словно о героине забавного анекдота.

— Я повидалась со всеми друзьями, кто еще жив, и перечитала письма тех, кто уже умер. Кое с кем из них я проделала и то и другое. Я сожгла

письма Поля Жуковского[1], а потом повстречала его. Это была неожиданная встреча. Он так постарел. Этого я тоже не ожидала.

На секунду она встретилась с ним взглядом, и комната озарилась вспышкой ясного летнего света. По его подсчетам, Полю Жуковскому сейчас под пятьдесят; они не виделись много-много лет. И никто не упоминал при нем его имя так внезапно и непринужденно.

Генри немедленно перехватил нить разговора, засыпал собеседницу вопросами — все, лишь бы сменить тему. Она могла найти в письмах какое-то упоминание о встрече или разговоре, случайную фразу, намек. Впрочем, вряд ли. Вероятно, гостья из ностальгии просто всколыхнула его собственную, созданную в те годы ауру. Такую женщину, как она, разумеется, не обманули попытки притвориться рассудительным и тонким светским человеком — она заметила его замешательство, его встревоженный взгляд. Конечно, они тогда ничего такого не говорили, ровно как и теперь она ничего не произнесла, лишь имя, одно

---

[1] Сноски: 1

Павел Васильевич Жуковский (тж. Пауль Жуковский; 1845–1912) — русский художник, сценограф Рихарда Вагнера; родился и большую часть жизни провел в Германии. Сын поэта Василия Андреевича Жуковского. — *Здесь и далее примеч. перев.*

только имя, звенящее в ушах. Имя, что некогда означало для него целый мир.

— Но вы же вернетесь?

— Вот обещание, которое он у меня вырвал. Что я не вернусь никогда. Что останусь в России.

Этот пафос внезапно переместил ее на сцену его воображения: она двигается с наигранной непринужденностью, мечет отточенные реплики, одну за другой. Он сообразил, что произошло. Должно быть, она совершила какую-то роковую оплошность, а теперь расплачивается. В ее кругу все знают всё, а если не знают, то догадываются. Вот и ему она намекает. Занятно, думал он, ведь и сам он, наблюдая за княгиней, анализирует ее слова и поступки и думает лишь об одном: скорее бы она ушла, тогда можно все это описать и использовать.

Не надо больше никаких житейских подробностей, думает он. Но она не уходит, она продолжает говорить, *взывая*.

— Понимаете, все другие и вправду вернулись и пишут, что все великолепно. Доде[2], с которым я познакомилась на какой-то вечеринке, изрек

[2] Сноски: 2

Альфонс Доде (1840–1897) — французский романист и драматург, прославившийся яркими, часто комическими книгами из жизни южных областей — Прованса и Лангедока («Тартарен из Тараскона» и др.).

самую глупую вещь на свете. Думал, наверное, что это меня утешит. Он сказал, что у меня останутся воспоминания любви. Да что за польза мне из воспоминаний — так я ему и сказала. Я люблю сегодня и завтра, а если взбодрюсь и почищу перышки — у меня будет еще и послезавтра. День минул, кого волнует?

— Думаю, Доде кое-что знает о вчерашнем дне.

— Пожалуй, даже слишком много.

Она встала, и он проводил ее до крыльца. Оказалось, все это время ее ожидал кэб. Кто же за это заплатит, мелькнула у него мысль.

— А, по поводу Поля. У меня остались кое-какие письма. Вас они интересуют?

Генри протянул руку, будто княгиня ничего и не спрашивала. Он задержал ее ладонь на лишнее мгновение, шевельнул губами, собираясь что-то сказать, но она уже садилась в кэб — кажется, со слезами искреннего волнения на глазах.

Вот уже десять лет он жил в апартаментах на Девер-Гарденс, а имя Поля ни разу не произносилось в этих стенах. Его существование было похоронено под ежедневной работой по писанию, запоминанию и воображению. Уже много лет Поль ему даже не снился. История княгини предстала перед ним обнаженной до скелета, в

память врезалась каждая деталь. Он еще точно не знал, как он это выстроит, что станет ключевой сценой описания ее последних дней в Париже — сжигание писем, раздача одежды, разлука с любимыми вещами? Или последний прием в ее салоне? Или ее свидание с мужем, момент, когда она впервые узнала свою участь?

Он запомнит ее визит, но сейчас ему хотелось записать еще кое-что. Нечто, уже написанное раньше и поспешно уничтоженное. Как же это странно и почти печально — он сочинил так много, так много издал, обнародовал столько личной информации. А между тем самое важное, самое нужное никогда никто не опубликует и не прочтет, никогда никто ничего не узнает и не поймет.

Генри взял перо и приступил. Он мог набросать примитивный план или использовать стенографические каракули, разобрать которые способен лишь он один. Но он писал четко, набело, проговаривая про себя каждое слово. Он не знал, зачем это надо написать, почему нельзя удовлетвориться всколыхнувшимися воспоминаниями. Но визит княгини, ее памятования и сетования на внезапную ссылку и на то, что ей не суждено вернуться, а еще… — он перестал писать и вздох-

нул — произнесенное ею имя, произнесенное так, точно оно все еще живо и уловимо здесь, с ними. Вот что руководило им и определяло манеру письма, пока он работал.

Он изложил на бумаге, что произошло тем летом, почти двадцать лет назад, когда он вернулся в Париж и получил записку от Поля. Он стоял в сумерках на маленькой улочке прекрасного города и, задрав голову, вглядывался, ожидая, не зажжется ли лампа в окне третьего этажа. Когда вспыхнул свет, он вперил взор в это окно, пытаясь разглядеть за ним лицо Поля Жуковского, его темные волосы, быстрый взгляд, насупленность, так легко сменявшуюся улыбкой, тонкий нос, широкий подбородок, бледные губы. Ночь пришла, и он был уверен, что его самого на неосвещенной улице не разглядеть, и знал также, что не может шелохнуться ни для того, чтобы вернуться в свою квартиру, ни — он затаил дыхание при одной мысли о подобном поступке — постучаться в квартиру Поля.

Послание Поля было весьма недвусмысленным; он ясно дал понять, что будет один. Никто не приходил и не уходил, но и лицо Поля не появлялось в окне. Теперь Генри спрашивал себя, а не в те ли часы ожидания он жил по-настоя-

щему полной жизнью. Самое точное сравнение, которое он смог подыскать, — полное надежд путешествие по тихому, безмятежному морю, интерлюдия между двумя берегами, колыхание, в котором любое определенное движение означало шаг в беспредельную неизвестность. Он ждал, пытаясь хоть мельком увидеть недостижимое лицо. Он стоял там несколько часов, мокрый от дождя, порой его толкали случайные прохожие, но заветного лица в освещенном окне уже было не разглядеть даже на мгновение.

Он записал историю той своей ночи, а потом продумал окончание: рассказ, который никогда не будет написан даже симпатическими чернилами, даже на бумаге, которая самовозгорится по прочтении. Это была чистейшая фантазия, немыслимо пытаться выразить ее словами. В ней он на полпути своего ночного бдения перешел через дорогу. Дал знать Полю, что он здесь, и Поль спустился, и они вместе молча поднялись по лестнице. Было совершенно ясно — во всяком случае, Поль ясно дал понять, — что́ дальше.

Он понял, что у него дрожат руки. Да ведь это всего лишь игра воображения, а он никогда не позволял себе заигрываться. Сейчас он очень близко, но все же не около. Ту ночь он бодрство-

вал под дождем, пока не погас свет в окне. И даже потом он все еще ждал: вдруг что-то случится. Но слепые темные окна ответили отказом. Он выплыл на сушу — промокший до нитки, в ботинках хлюпала вода.

Ему нравились прогоны и репетиции в костюмах, он развлекался, позволяя себе воображать, кто займет то или иное кресло в зрительном зале. Яркое освещение, экстравагантные и роскошные костюмы, ясные звонкие голоса преисполняли его гордостью и наслаждением. За все эти годы он ни разу не видел, чтобы кто-нибудь покупал или читал его книги. И даже если бы он стал свидетелем подобной сцены, читательский приговор был бы ему неизвестен. Чтение было таким же интимным, безмолвным и единоличным актом, как и творчество. А здесь он услышит, как зрители будут задерживать дыхание, вскрикивать, умолкать.

Он мысленно заполнил половину партера лицами друзей и знакомых, а рядом со своим местом и дальше, до самой галерки — до чего же это было захватывающее занятие! — рассадил незнакомцев. Он представил себе светлые, умные глаза на впечатлительном мужском лице, тонкую верхнюю губу, мягкую светлую кожу,

крупную фигуру, из тех, что двигаются с неожиданным изяществом. Пока что он поместил эту фигуру в ряд позади себя, ближе к центру, а рядом усадил молодую женщину, ее маленькие тонкие руки были соединены, кончики пальцев почти касались рта. Один в театре — костюмеры были еще за кулисами, — он наслаждался реакцией своего иллюзорного зала при выходе Александера, игравшего Гая Домвиля. Сразу становилось понятно, в чем будет суть сценического конфликта. Он не сводил глаз со своей воображаемой публики на протяжении всей пьесы, подмечал, как озарилось лицо женщины при виде великолепного костюма миссис Эдвард Сейкер с его изысканной элегантностью столетней давности, обратил внимание, каким серьезным и сосредоточенным стало лицо ее тонкогубого спутника, когда Гай Домвиль, отринув свое огромное богатство и блестящее будущее, решил отречься от мира и посвятить себя созерцательной молитвенной жизни в монастыре.

«Гая Домвиля» предстояло еще изрядно сократить, к тому же Генри знал, что актеры обеспокоены расхождениями между первым и вторым актом. Александер, его непреклонный режиссер, велел ему не обращать на них внима-

ния: дескать, их просто подначивает мисс Ветч, у которой мало реплик во втором акте, а в третьем она вообще почти не выходит на сцену. Тем не менее он знал: законы повествования требуют, чтобы однажды появившийся персонаж уже не сходил со страниц, разве что этот герой совсем незначительный или умирает еще до завершения истории. В пьесе он пошел на такой риск, на который никогда не решился бы в романе. Он молился, чтобы это сработало.

Он ненавидел делать купюры, но знал, что не вправе жаловаться. Поначалу он даже слишком много ворчал — можно сказать, капризничал, как больное дитя, — пока не сделался нежеланным гостем в кабинете Александера. Он знал — бесполезно утверждать, что, если бы пьеса нуждалась в сокращениях, он сделал бы их еще до того, как закончил ее. Теперь он день-деньской только этим и занимался, и уже спустя несколько часов ему стало казаться странным, что никто, кроме него, не замечает логических пробелов и пустот.

Во время репетиций он цепенел в бездействии. Его одновременно волновала и пугала мысль о том, что лишь половина работы принадлежит ему, а другая половина — режиссеру, актерам и всем, кто участвует в постановке. Наблюдение за

работой стало фактором времени, и это было ново для него. Над аркой авансцены словно бы висели огромные невидимые часы, за тиканьем которых неотрывно должен был следить драматург, их стрелки неумолимо двигались с восьми тридцати до времени падения занавеса — вытерпит ли публика? В этот напряженный двухчасовой период, если вычесть два антракта, ему предстоит решить проблему, которую он поставил перед собой, или же он обречен.

По мере того как спектакль становился для него все более далеким и все более реальным, когда он наблюдал первые репетиции на сцене, затем первые костюмированные репетиции, он убеждался, что обрел истинное призвание, что не слишком поздно начал писать для театра. Отныне он был готов изменить свою жизнь. Он предвидел конец долгим одиноким дням; мрачное удовлетворение, которое доставляла ему художественная литература, сменится жизнью, в которой он будет писать для голоса и движения, и непосредственным чувством, которое, как ему казалось, он доселе не испытывал. Этот новый мир теперь был рядом, стоит лишь руку протянуть. Но порой, в особенности по утрам, он внезапно сознавал, что дело обстоит как раз наоборот, что

он потерпит неудачу и придется волей-неволей вернуться к своему истинному посреднику: к печатной странице. Никогда он еще не ведал таких переживаний и странных смен настроения.

К актерам он испытывал неизменно теплые чувства. Порой ему казалось — он готов сделать для них все на свете. На протяжении долгих дней репетиций по его распоряжению за кулисы доставляли корзины с провиантом: холодных цыплят и ростбиф, парниковую зелень, картофельный салат, свежий хлеб с маслом. Он любил смотреть, как актеры пируют, а сам смаковал моменты, когда они возвращались от своих ролей к обычной «цивильной» жизни. Он предвкушал долгие грядущие годы, когда будет писать для них новые реплики и наблюдать, как они порождают образы и воссоздают их каждый вечер, пока пьеса не сойдет со сцены и они не растворятся в реальном и таком призрачном мире снаружи.

Кроме того, Генри полагал, что как писатель он переживает нелегкие времена — редакторы и издатели проявляли к нему все меньше интереса. Всеобщим вниманием завладело новое поколение авторов, которых он не знал и не ценил. Подозрение, что с ним практически покончено, тяготило его. Издавали его мало, а публикации

в периодических изданиях, когда-то столь прибыльные и полезные в творческом отношении, стали для него практически недоступными.

Он спрашивал себя, может ли театр стать не только источником удовольствия и развлечения, но и спасательным кругом, способом начать все сначала теперь, когда его потенциал прозаика, сдается, уже исчерпан. «Гай Домвиль», его драма о конфликте материальной жизни и жизни чистого созерцания, превратностях человеческой любви и жертвы во имя высшего счастья, была обречена на успех, до того она соответствовала настроениям, витавшим в обществе, и он ждал премьеры со смесью чистого оптимизма, абсолютной уверенности, что пьеса угодит в цель, — и глубокого беспокойства, убеждения, что никогда не снискать ему всемирной славы и всеобщего одобрения.

Все решится в день премьеры. Генри старательно вообразил себе этот день во всех подробностях, не придумал только, что будет делать сам. Окажись он за кулисами, он всем будет мешать, а для того, чтобы сидеть в зрительном зале, он будет излишне возбужден, излишне склонен позволить любому стону, вздоху или зловещей тишине погрузить его в отчаяние или чрезмер-

ное ликование. Возможно, ему следует затаиться в «Шутовском колпаке» — ближайшем к театру пабе, а Эдмунд Госс[3], которому он всецело доверяет, мог бы подскочить в конце второго акта, чтобы шепнуть, как идут дела. Однако за два дня до премьеры Генри решил, что план абсурден.

Но куда-то же ему нужно было приткнуться. Поужинать было просто не с кем, ведь всех своих знакомых он пригласил на премьеру и большинство ответили согласием. Он мог бы отправиться в соседний город, подумал он, — осмотреть достопримечательности, а затем вернуться вечерним поездом к финальным аплодисментам. И все же он знал, что ничто не может отвлечь его от мыслей о предстоящей работе. Как бы ему хотелось быть уже на середине повести, не торопясь до самой весны, когда начнется публикация по частям. Он желал спокойно работать в своем кабинете при липнущем сереньком свете зимнего лондонского утра. Он жаждал остаться в одиночестве и утешаться убеждением, что его жизнь зависит не от толпы, а лишь от того, чтобы оставаться самим собой.

После долгих колебаний и обсуждений с Гос-

---

[3] Сноски: 3

Эдмунд Уильям Госс (1849–1928) — английский писатель, поэт и критик.

сом и Александером он решил, что отправится на Хеймаркет посмотреть новую пьесу Оскара Уайльда. Он чувствовал, что это единственный способ относительно спокойно скоротать время между восемью тридцатью и десятью сорока пятью. Затем он мог бы отправиться в театр Сент-Джеймс. Госс и Александер согласились с ним, что это самый лучший план, единственный план. По крайней мере на какое-то время он отвлечется, а в театре Сент-Джеймс окажется уже в момент триумфа — когда пьеса подойдет к концу, а то и вовсе опустится занавес.

Вот так, думал он, облачаясь в вечерний костюм, чувствуют себя люди в реальном мире — мире, которого он избегал, о котором только смутно догадывался. Так зарабатываются деньги, так создается репутация. Это делается с азартом и риском, с ощущением пустоты в желудке, учащенным сердцебиением и головой, полной воображаемых перспектив. Сколько дней в его жизни будут похожи на этот? Если первая его пьеса принесет ему, как он рассчитывает, славу и богатство, грядущие премьеры будут проходить спокойнее и перенесет он их куда легче. И все же, даже поджидая кэб, он с особой остротой помнил, что принялся за новую историю, что пустые стра-

ницы изнывают от ожидания, что он напрасно тратит вечернее время, вместо того чтобы сесть и писать. Шагая по направлению к Хеймаркету, он был готов дезертировать. Сейчас он отдал бы все на свете, чтобы на три с половиной часа перенестись в будущее и уже знать результат — ждут его овации и похвалы или ужасающий прыжок в презрительное забвение.

Когда кэб вез его к театру, он внезапно ощутил странное, новое, отчаянное одиночество. Это уже слишком, подумал он, он слишком уж много хочет. Он заставлял себя думать о декорациях, золотистом освещении, костюмах и о самой драме, о тех, кто принял приглашения, и испытывал только надежду и предвкушение. Он сам выбрал это, и теперь он это получил, он не должен жаловаться. Он показал Госсу список тех, кто заполнит партер и бельэтаж, и Госс сказал, что зрительный зал Сент-Джеймса соберет такую плеяду аристократических, литературных и научных знаменитостей, какой никогда прежде не видел ни один лондонский театр.

Но в ярусах и на галерке будут сидеть — Генри помедлил и улыбнулся, зная, что если бы он сейчас писал, то остановился бы, пытаясь найти верный тон, — *настоящие* зрители, люди, за-

плативши за билеты деньги, чья поддержка и аплодисменты будут значить куда больше, чем поддержка и аплодисменты его друзей. Это будут люди — он почти сказал это вслух — люди, которые не читают моих книг и знать их не хотят. Мир — он усмехнулся, когда следующая фраза пришла ему в голову, — мир полон ими. Они всегда находят родственные души и сбиваются в стаи. Он уповал на то, что нынче вечером эти люди будут на его стороне.

Едва ступив на тротуар у театра Хеймаркет, он мгновенно позавидовал Оскару Уайльду. Благодушные зрители, вступавшие в фойе, выглядели как люди, намеренные от души повеселиться. Он никогда в жизни не выглядел как они, не чувствовал себя так, как они, и как же, думал он, ему удастся провести эти пару часов среди людей, которые кажутся такими непринужденными, такими легкомысленными, такими жизнерадостными. Никто из тех, кто его окружал, — ни одно лицо, ни одна парочка, ни одна группа, — не выглядел как зритель, которому мог бы прийтись по вкусу «Гай Домвиль». Этим театралам подавай счастливые развязки. Он с дрожью припомнил долгие споры с Александером из-за далеко не счастливого финала «Гая Домвиля».

Он пожалел, что не потребовал кресло с краю, у прохода. А на отведенном ему месте он оказался заперт среди публики, и, когда поднялся занавес и соседи начали хохотать над строками, которые он считал грубыми и неуклюжими, он почувствовал себя в ловушке. Сам он ни разу не засмеялся; он не просто не находил в пьесе ничего забавного — куда важнее, думал он, что здесь нет ничего правдивого. Каждая реплика, каждая сцена разыгрывались так, как будто бестолковость была высшим проявлением истины. Ни одна возможность не была упущена, чтобы выдать глупость за остроумие; самые примитивные, поверхностные бойкие фразочки вызывали в зале самый искренний и веселый смех.

Очевидно, он был единственным зрителем, полагавшим, что «Идеальный муж» — крайне слабая и вульгарная пьеса. В первом антракте он едва не сбежал. Но, по правде сказать, ему просто некуда было идти. Единственное утешение — это не премьерный спектакль, нет никого из светской публики, кого бы он узнал и кто мог бы узнать его. Самое утешительное, в зале не было ни самого Уайльда — излишне громогласного, крупного и ирландского, — ни его свиты.

Генри невольно задумался, что́ мог бы сделать

с подобной историей он сам. Весь этот текст, от первой до последней строчки, был чистейшим издевательством над литературой, поделкой с дешевой претензией на остроумие, с грошовой моралью и куцей интригой. Обличение коррумпированного правящего класса было весьма поверхностным, сюжет состряпан кое-как, пьеса поставлена бездарно. Когда эта комедия сойдет со сцены, думал он, никто больше и не вспомнит о ней, и лишь он один не забудет ее из-за той муки, которую сейчас переживает, предельного обострения всех чувств, ведь его собственная пьеса идет сейчас в каких-то нескольких шагах. Его драма была об отречении, думал он, а поди объясни подобным людям, что это такое, — да они в жизни ни от чего добровольно не откажутся.

Когда он шагал к Сент-Джеймс-сквер, чтобы узнать свою судьбу, гром оваций после «Идеального мужа» звучал в его ушах погребальным звоном по «Гаю Домвилю», и, парализованный ужасным предчувствием, он остановился посреди площади, боясь зайти в театр и узнать больше.

Позже, спустя годы, из намеков и обрывков разговоров он сможет уяснить, что́ именно произошло в тот вечер. Всей правды он так и не

узнал, но одно понял четко: столкновение между приглашенной «чистой» публикой и аудиторией из верхних ярусов было столь же непреодолимым, как пропасть между ним и его соседями по зрительному залу, когда он смотрел пьесу Оскара Уайльда. Как он понял, зрители, заплатившие за билеты, начали кашлять, шушукаться и гудеть еще до конца первого акта. Во втором акте выход миссис Эдвард Сакер, облаченной в причудливый старинный костюм, вызвал у них насмешки. Раз начав смеяться, они вошли во вкус, и дальнейшим издевательствам не было конца.

Уже через много-много лет он узнал, что когда Александер произнес финальную реплику: «Я, милорды, последний из Домвилей!» — кто-то с галерки крикнул: «Чертовская удача, что ваши все кончились!» Публика из верхних ярусов приветствовала эту выходку ревом и улюлюканьем, занавес опускался под свист и оскорбительные выкрики, которые зрители партера и бельэтажа пытались заглушить энергичными аплодисментами.

В тот вечер он вошел в театр через служебный вход и по дороге наткнулся на помощника режиссера, который заверил его, что премьера прошла прекрасно и пьесу приняли хорошо. Что-то в

тоне, которым это было сказано, вызвало у Генри желание продолжить расспросы, выяснить масштаб и значительность успеха, но именно тогда прозвучали первые хлопки, и он прислушался, принимая рев и свистки за выражение одобрения. Он мельком увидел Александера, когда тот покинул сцену и, выждав немного за кулисой, вышел на поклон. Подсознательно он удивился, насколько чопорно и скованно при этом выглядел его друг. Генри подошел ближе к сцене, уверенный, что Александер и другие актеры снискали небывалый успех, и по-прежнему считая улюлюканье и свист горячими приветствиями в адрес ведущих актеров, среди которых, несомненно, был и Александер.

Он стоял за кулисами достаточно близко к сцене, чтобы Александер, торопясь покинуть сцену, смог его заметить. Позже ему рассказывали, что его друзья в зрительном зале вопили изо всех сил: «Автора! Автора!», но все же эти крики были недостаточно громкими, чтобы он мог их расслышать. Как бы то ни было, режиссер решительно и неумолимо взял его за руку и повел на сцену.

Вот его зрители, которых он так долго воображал в дни изнурительных репетиций. Он представлял их растроганными и покоренными.

Он представлял их мрачными и равнодушными. Он не был готов к такому шуму, хаосу, взрыву эмоций. На мгновение он растерялся, затем поклонился. И только когда он распрямился и поднял голову, то начал понимать, с чем столкнулся. Зрители верхних ярусов шикали и освистывали его! Оглядывая их ряды, он встречал лишь издевку и презрение. Лояльная публика, явившаяся по пригласительным билетам, продолжала сидеть и добросовестно хлопать, но эти аплодисменты заглушал нарастающий шквал насмешливого и грубого осуждения, исходившего от людей, в жизни не читавших его книг.

Когда случалось нечто подобное, хуже всего была его полная неспособность контролировать выражение лица, скрыть подступившую панику. Сейчас он мог разглядеть лица друзей: Сарджента, Госса, Филипа Бёрн-Джонса[4]. Они преданно и добросовестно аплодировали, тщетно пытаясь уравновесить возмущение плебеев. Ничего подобного он не ожидал и был в полной

---

[4] Сноски: 4

Джон Сингер Сарджент (1856–1925) — американский художник, один из наиболее успешных живописцев периода «прекрасной эпохи»; его кисти принадлежит самый известный портрет Генри Джеймса (1913), который находится в собрании Национальной портретной галереи в Лондоне. *Филип Бёрн-Джонс* (1861–1926) — английский живописец, сын прерафаэлита Эдварда Бёрн-Джонса.

растерянности. Он попятился со сцены, не став слушать речь Александера — тот, как мог, постарался утихомирить зрительный зал. Он винил Александера за то, что тот вывел его на сцену, винил толпу за то, что она освистала его, но больше всего винил себя за то, что вообще пришел сюда. Остается только потихоньку улизнуть через служебный вход. Он так мечтал о своем звездном часе, воображал, как будет общаться с приглашенными гостями и радоваться, что так много старых друзей явились засвидетельствовать его театральный триумф. Теперь же он побредет домой с низко опущенной головой, как человек, совершивший преступление и с минуты на минуту ожидающий ареста.

А пока что он затаился за кулисами, забился в самую густую тень, чтобы никто из актеров его не заметил. Надо выждать здесь, пока не рассосется толпа, — мало ли с кем он может столкнуться на улицах близ театра! Ни он, ни его друзья не будут знать, что сказать, таким сокрушительным и публичным был его провал. Для них эта ночь войдет в анналы светского умолчания — а ведь он так старался избежать появления своего имени на этих позорных страницах! Но минуты шли, и он понял, что сейчас не имеет права предать

труппу, не может поддаться малодушному желанию затаиться тут в одиночку в темноте, а потом сбежать в ночь и держаться так, как будто он ничего не писал и вообще ни при чем. Ему придется пойти к актерам и поблагодарить их, придется настоять на том, что запланированный заранее праздничный банкет состоится. И так он дрожал в полумраке, напряженный, как струна, готовый подавить все свои естественные склонности и побуждения. Он сжал кулаки, намереваясь улыбаться, кланяться и изо всех сил вести себя так, точно это воистину вечер его триумфа, которым он полностью обязан талантливым актерам, хранящим верность великим традициям лондонской сцены.

Глава 2

Февраль 1895 г.

После провала «Гая Домвиля» твердое намерение работать боролось в нем с горьким ощущением опустошенности и уязвимости. Он осознавал, что потерпел крах, что он раздавлен громадной плоской пятóй публики и теперь совершенно очевиден печальный факт: ничто, созданное им прежде, больше не будет популярно и всеми признано. По большей части он мог, сделав над собой усилие, контролировать собственные мысли. Но он не мог унять мучительную утреннюю боль, ту боль, что теперь тянулась до полудня, а часто и вовсе не отпускала. Все-таки была в пьесе Оскара Уайльда одна строчка, которая ему пришлась по душе, что-то вроде: *туманы — следствие печали лондонцев или же ее причина?*[5] Его печаль, думал Генри, глядя на скудный просвет зимнего утра, сочащийся в окно, очень похожа на лондонский туман. Но этой печали, судя по всему, в отличие

---

[5] Сноски: 5

Ср.: «В Лондоне слишком много тумана и… и серьезных людей, лорд Уиндермир. То ли туман порождает серьезных людей, то ли наоборот — не знаю…» (О. Уайльд. Веер леди Уиндермир. Действие четвертое. Перев. М. Лорие).

от тумана, не суждено рассеяться. С нею об руку идут непривычные для него слабость и апатия, шокирующая, приводящая в отчаяние летаргия.

Что, если, спрашивал он себя, однажды в недалеком будущем он совсем выйдет в тираж, станет даже менее популярен, чем нынче, что, если доходы от отцовского поместья иссякнут, — станут ли его стесненные обстоятельства поводом для публичного унижения? Все сводится к деньгам, к той сладостности, которую они приносят душе. Деньги — своего рода благодать. Где бы он ни бывал, деньги — обладание ими — разделяли людей, отличали их друг от друга. Мужчинам они дают восхитительную возможность управлять миром на расстоянии, а женщинам — уравновешенное чувство собственной значимости, внутренний свет, не меркнущий даже в преклонном возрасте.

Нетрудно было ощутить себя писателем для немногих, возможно опередившим свое время, писателем, которому не суждено при жизни наслаждаться плодами творчества, такими как собственный дом и сад, не тревожась о том, что ждет впереди. Он по-прежнему гордился принятыми решениями, тем, что никогда не шел на компромисс, что спина его ныла и глаза нестерпи-

мо болели лишь из-за беззаветного, вседневного труда ради искусства — труда чистого, не ограниченного корыстолюбивыми амбициями.

Для его отца и брата, как и для многих в Лондоне, провал на рынке в мире искусств был своего рода успехом, а успех не подлежал обсуждению. Он никогда в жизни не стремился к тяжкому бремени широкой популярности. И тем не менее ему хотелось, чтобы его книги продавались, хотелось блистать на рынке и набивать карманы, но только так, чтобы никоим образом не идти на компромисс в том, что касалось его священного искусства.

Для Генри имело значение, как он выглядит со стороны. И ему льстило слыть человеком, который палец о палец не ударил ради собственной популярности. Считаться тем, кто посвятил себя уединенному и бескорыстному служению благородному искусству, было для него большим удовлетворением. Впрочем, он прекрасно понимал, что недостаточный успех — это одно, а полный провал — совсем иное. И посему его провал на сцене театра — столь публичный, столь нашумевший и явный — заставил его неловко чувствовать себя в присутствии других людей и сторониться более широкого мира

лондонского светского общества. Он чувствовал себя генералом, вернувшимся с поля боя после оглушительного разгрома, источающим дух поражения, чье присутствие в теплых и светлых лондонских гостиных кажется неуместным и гнетущим.

Он был знаком с лондонскими вояками. Он осмотрительно и осторожно ступал среди сильных мира сего, внимательно вслушиваясь в разговоры англичан о политических интригах и военной доблести. Сидя среди привычной коллекции богатых старинных доспехов в доме лорда Вулзли[6] на Портман-сквер, он частенько думал, а что бы сказали его сестра Алиса и брат Уильям[7], услышав после ужина здешние дремучие имперские военные бредни, насыщенные и жаркие дискуссии о войсках, об атаках, о кровавых побоищах. Алиса была в семействе

---

[6] Сноски: 6

Гарнет Джозеф Вулзли (Уолсли), 1-й виконт Вулзли (1833–1913) — британский военачальник, фельдмаршал. Служил в Бирме, Китае, Канаде и Африке, участвовал в подавлении Восстания сипаев, блестяще провел Нильскую экспедицию против Махдистского Судана (1884–1885).

[7] Сноски: 7

Уильям Джеймс (в стар. изд. Джемс) (1842–1910) — американский философ и психолог. Один из основателей и ведущий представитель прагматизма и функционализма. Авторы учебных пособий и научных работ часто называют Уильяма Джеймса отцом современной психологии.

самой горячей противницей империализма. Она даже любила Парнелла[8] и жаждала гомруля для Ирландии[9]. Уильяму тоже были свойственны проирландские настроения и, конечно, антианглийские взгляды.

Лорд Вулзли, как и все они, был человеком образованным, хорошо воспитанным и обаятельным. Глаза его глядели пронзительно, а на румяных щеках играли ямочки. Генри оказался в компании этих мужчин, потому что так пожелали их жены. Женщинам нравились его манеры, его серые глаза и американское происхождение, но наибольшее наслаждение им доставляло его умение слушать: он до дна выпивал каждое слово, задавал лишь уместные вопросы, жестами или репликами признавая высокий интеллект собеседницы.

Ему становилось гораздо легче, когда рядом не

---

[8] Сноски: 8

Чарльз Стюарт Парнелл (1846–1891) — крупнейшая фигура ирландской политики конца XIX в. Харизматический лидер, он вплотную приблизился к осуществлению планов гомруля, достиг немалого сплочения нации и оживления национального сознания.

[9] Сноски: 9

Гомруль, или хоумрул (*англ.* Home Rule, «самоуправление») — движение за автономию Ирландии на рубеже XIX–XX вв. Предполагало собственный парламент и органы самоуправления при сохранении над островом британского суверенитета, то есть статус, аналогичный статусу доминиона.

было других писателей, никого, кто читал его работы. Мужчины, собравшиеся после ужина ради анекдотов, занимали его не более, чем содержание их бесед. С другой стороны, женщины всегда были ему интересны, о чем бы они ни говорили. Леди Вулзли интересовала его чрезвычайно, поскольку она была само очарование — воплощение ума и симпатии, женщина с истинно американским обхождением и вкусом. Она имела обыкновение с интересом и неподдельным восхищением окинуть взглядом залу, полную гостей, а затем обратиться с улыбкой к тому, кто находится к ней ближе всех, и заговорить тихо и доверительно, будто по секрету.

Генри необходимо было уехать из Лондона, но он не вынес бы даже мысли о том, чтобы остаться в одиночестве где бы то ни было. Он не хотел обсуждать свою пьесу и сомневался, что сможет работать. Он решил, что если поедет в путешествие, то к его возвращению все переменится. Сознание его полнилось видениями и идеями. Он молился и уповал, что плоды его воображения найдут достойное воплощение на бумаге. И это все, чего он хочет, теперь он уже истово верил.

Он поехал в Ирландию, потому что до нее было рукой подать, и он счел, что поездка не потребует

от него нервного напряжения. Ни лорд Хотон — новоиспеченный лорд-лейтенант, отца которого он также знал, — ни лорд Вулзли, который стал главнокомандующим вооруженных сил ее величества в Ирландии, — не видели его пьесу. Генри пообещал провести неделю у каждого из них. Его наперебой приглашали и горячо спорили, сколько и с кем он пробудет, что немало удивило Генри. Только поселившись в Дублинском замке, он понял, в чем подвох.

Ирландия находилась в состоянии смуты, и правительство ее величества не только не сумело подавить беспорядки, но и было вынуждено пойти на уступки. То, что сравнительно нетрудно объяснить в парламенте, оказалось невозможно объяснить ирландским помещикам и местным гарнизонам, бойкотировавшим в этом сезоне все светские рауты, происходившие в Дублинском замке. Лорд Хотон очень зависел от «привозных» гостей, этим и объяснялся всплеск гостеприимства с его стороны.

В то время как старый лорд Хотон был человеком непринужденным как в поведении, так и в привычках, его сын держался официально и важно. Новая должность лорда-лейтенанта сделала его по-настоящему счастливым. Он гор-

деливо вышагивал по дворцу и, похоже, был единственным, кто не осознавал: сколько бы он ни пыжился, он не имеет никакого значения. Лорд Хотон представлял королеву в Ирландии и делал это со всей церемонностью и скрупулезным вниманием к деталям, на какую только был способен, посвящая свой день инспекциям, приемам и приветствиям, а вечера — балам и банкетам. Он присматривал за своими владениями так, словно сама королева жила в резиденции и в любую минуту могла явиться и воссиять во всем своем имперском величии.

Маленький вице-королевский двор при всей своей помпезности был в равной мере изнурителен как для плоти, так и для духа Генри. За шесть дней здесь дали четыре бала, а банкеты проводились ежевечерне. Их наводнял простой чиновничий класс и военные, а дополняла очень скучная, второсортная, хоть и многочисленная компания английских гостей. По счастью, большинство никогда о нем слыхом не слыхивало, и он даже не пытался это изменить.

— Мой вам совет, — сказала ему одна английская дама, — зажмите нос, зажмурьте глаза и, если получится, заткните чем-нибудь уши. Сделайте это в ту самую минуту, как ступите на

землю Ирландии, и до тех пор, пока не войдете в замок или резиденцию вице-короля или где вы там еще остановитесь.

Дама просто сияла от удовольствия. Он пожалел, что рядом нет его сестрицы Алисы, вот уже три года как покоившейся с миром, и некому устроить взбучку этой англичанке. Уж Алиса приберегла бы на потом целую речь и высказала бы все, что она думает о растительности на лице этой дамы, о ее зубах и о том, как она дала петуха, возвысив голос в назидательном раже.

— Надеюсь, я не слишком вас напугала? — улыбнулась дама. — У вас потревоженный вид.

Еще бы не встревожиться — ведь он специально уединился в этой комнатке с письменным столом, бумагой, чернильницей и парой книг, чтобы написать письмо. Внезапно ему пришло в голову, что наилучший способ отделаться от этой надоедливой дамы — замахать руками и шикнуть на нее, изгоняя, словно стаю гусей или кур.

— Но здесь очень мило, — продолжила она, — а балы в прошлом году давали просто ослепительнейшие, куда лучше, чем в Лондоне, скажу я вам.

Он уставился на нее с мрачным и, хотелось надеяться, тупым выражением на лице и ничего не сказал.

— Многим здешним обитателям есть чему поучиться у его светлости, — не унималась дама. — В Лондоне нас, знаете ли, регулярно принимали во многих именитых домах. Но мы не были знакомы с лордом Вулзли и, разумеется, не знали его жену. Лорд Хотон был настолько добр, что пригласил нас на вечер в узком кругу, который они устроили сразу после прибытия, и меня усадили рядом с ним, а мой супруг — человек очень добрый и состоятельный, позволю я себе заметить, и честный, — конечно, имел несчастье оказаться подле леди Вулзли.

Она умолкла, чтобы набрать воздуха в легкие и поднять свой негодующий тон на ступень выше.

— Так вот, лорд Вулзли, должно быть, обучился какой-то системе знаков на одной из своих войн и тайно науськал жену, чтобы она пренебрегала моим мужем, как сам он игнорировал меня. Неслыханная грубость с его стороны! И с ее тоже! Лорд Хотон со стыда сгорал. Эти Вулзли — крайне, крайне неучтивая пара, в этом я убедилась.

Генри считал, что разговор этот пора прекратить, но дама, судя по всему, весьма остро реагировала на грубость. Тем не менее он чувствовал, что грубость в данном случае не так страшна, как перспектива слушать ее болтовню

еще несколько минут.

— Прошу простить, но мне немедленно нужно вернуться к себе в комнаты, — сказал он.

— Подумать только, — ответила она.

Дама торчала в дверном проеме, загораживая собой выход. Когда он направился в ее сторону, она даже не шелохнулась. На лице ее застыла обиженная усмешка.

— И теперь нас, конечно же, в Королевский госпиталь не пригласят. Мой супруг говорит, что мы не пошли бы, даже если бы нас и позвали, но лично мне интересно посмотреть, а приемы, говорят, там бывают отменные, несмотря на грубость хозяев. И молодой мистер Уэбстер, член парламента, собирался туда — муж говорит, он подает большие надежды и однажды станет премьер-министром.

Она умолкла на мгновение, рассматривая его макушку, а потом ущипнула себя за щеку и продолжила:

— Но мы для них недостаточно хороши, я мужу так и сказала. Зато у вас огромное преимущество. Вы американец, и никто не знает, кем были ваш отец или дед. Вы можете быть кем угодно.

Он стоял и холодно наблюдал за ней с противоположного края ковра.

— Не хочу никого обидеть, — прибавила она.

Он по-прежнему молчал.

— Наоборот, я имею в виду, что Америка кажется весьма демократической страной.

— Вам там будут очень рады, — сказал он и поклонился.

Два дня спустя он совершил переезд через весь город из Дублинского замка до Килмэнхэма, где располагался Королевский госпиталь. Ирландию он видел и прежде, во время путешествия в Дублин из Куинстауна, что в графстве Корк. Он ненадолго останавливался и в Кингстауне. Ему понравился городок — море, маяк, общее ощущение покоя и порядка. Но теперешняя поездка напомнила Генри, как он проехал тогда через всю страну, наблюдая повсюду убожество — убожество одновременно жалкое и неистребимое. Во время той поездки он часто не мог отличить почти полностью развалившиеся хижины от землянок, в которых по-прежнему жили люди. Все вокруг казалось разрушенным — или почти разрушенным. Из полусгнивших труб сочился дым, и кто бы ни показался из дверей этих хижин, он непременно кричал что-то вслед проезжей карете или злобно устремлялся к ней, если она замедляла ход. Недобрые, обвиняющие взгляды

темных глаз преследовали его, и ни минуты он не чувствовал себя свободным.

Дублин в каком-то смысле был иным. Там разница между нищим классом и теми, кто обладал деньгами и воспитанием, была не такой разительной. Но и здесь ирландская разруха, подступавшая к самым воротам замка, терзала Генри и приводила в уныние. Теперь в окна служебной кареты, везущей его из замка в Королевский госпиталь, он явственно видел, как усилилась угрюмость ирландцев. Он и хотел бы отвести взгляд, да не мог. Последние несколько улочек были слишком узки, чтобы не замечать убожество лиц и жилищ, избавиться от ощущения, что каждую минуту дорогу могут преградить назойливые женщины и дети. Будь Уильям рядом, у него нашлась бы пара крепких словечек для этого заброшенного, обнищавшего подворья.

Он испытал облегчение, когда карета покатила по аллее, ведущей к Королевскому госпиталю, — его поразили величавость здания, благородная симметрия, изящество и ухоженность территории. Он усмехнулся возникшей вдруг мысли, что это подобно вхождению в райское царство после тяжкого и ухабистого пути из глубин чистилища. Даже челядь, вышедшая поприветствовать его и

позаботиться о багаже, выглядела иначе, сообразно райским меркам. Ему хотелось потребовать, чтобы слуги тотчас захлопнули ворота и спасли его от необходимости снова лицезреть городскую нищету хоть на какое-то время.

Генри знал, что госпиталь был построен в семнадцатом веке для старых солдат, и во время первой ознакомительной экскурсии ему сообщили, что сто пятьдесят постояльцев и сейчас населяют комнаты в этих длинных коридорах, выходящих на центральную площадь, счастливо доживая свой век в роскошном окружении. И когда леди Вулзли извинилась перед ним за такое соседство, Генри сказал ей, что он и сам в каком-то смысле старый солдат, или во всяком случае стареющий, так что здесь он непременно почувствует себя как дома, если для него найдется какая-нибудь кровать.

Окна его комнаты смотрели в противоположную сторону от госпиталя — на реку и парк. Утром, проснувшись рано, он увидел белый туман, стелившийся над лужайками. Он заснул снова, на сей раз глубоким и безмятежным сном, и пробудился оттого, что кто-то на цыпочках передвигался в полутьме комнаты.

— Я принес вам горячей воды для умывания,

сэр, и наполню ванну — в любое время, когда вам будет удобно. — Голос был мужской, с английским выговором, мягкий и успокаивающий. — Ее светлость сказали, что вы, если пожелаете, можете позавтракать у себя.

Генри попросил набрать ванну немедленно и подать завтрак в комнату. Он прикинул, как ее светлость воспримет его полное отсутствие вплоть до обеда, и решил, что его искусство может служить ему лицензией на уединение. Перспектива провести утро в компании пейзажа за окном и стройных пропорций комнаты очень его обрадовала.

Когда он спросил у слуги его имя, то оказалось, что тот не слуга вовсе, а капрал, один из огромного множества армейских, находившихся в распоряжении четы Вулзли. Капрала звали Хэммондом, у него был мягкий голос, от него веяло спокойствием и благоразумием. У Генри сразу же возникло ощущение, что капрал Хэммонд был бы нарасхват в качестве камердинера, если бы армия когда-нибудь перестала в нем нуждаться.

За обедом, как он и ожидал, разговор коснулся событий в Дублинском замке.

— И все-таки эти ирландцы кошмарны, — сказала леди Вулзли, — и слава богу, что они не

посещают светские рауты в этом сезоне, это большое облегчение. Угрюмые мамаши таскают за собой своих угрюмых дочек, надеясь подцепить хоть какую-нибудь партию для них. Суровая правда в том, что никто не хочет жениться на их дочерях, никто совершенно.

Присутствовали пятеро гостей из Англии, двоих он знал шапочно. Он отметил их молчание, улыбки на лицах и внезапные взрывы смеха, когда хозяин с хозяйкой развлечения ради пикировались друг с другом.

— Значит, лорд Хотон считает, — продолжила леди Вулзли, — что он королевское семейство в Ирландии, а у королевского семейства первым делом должны быть подданные. А поскольку ирландцы отказываются быть его подданными, он импортировал себе целый двор подданных из Англии. Я уверена, мистер Джеймс слишком хорошо знает об этом.

Он молчал и удержался на всякий случай от любых жестов, которые могли бы означать согласие.

— Он зазывает всех подряд. И нам пришлось выручать мистера Джеймса, — прибавил ее супруг.

Генри хотел было сказать, что лорд Хотон — отличный хозяин, но счел благоразумным не

участвовать в этом разговоре.

— А чтобы все это выглядело пристойно и весело, — продолжила леди Вулзли, — он устраивает балы и банкеты. Бедный мистер Джеймс приехал сюда совершенно обессилевшим. А лорд Хотон на прошлой неделе зазвал нас к себе в апартаменты на ужин. И вечер, само собой, выдался зверски задушевный. Меня усадили рядом с каким-то невежей, а лорд Вулзли оказался возле невежиной жены, очень грубой особы. Ее супруг хотя бы сообразил в итоге, что лучше ему помалкивать, но жена не была настолько хорошо вышколена. Нет, мы, конечно, ничего против них не имеем, отнюдь.

В тот вечер, когда он уходил к себе, леди Вулзли провожала его по одному из длинных коридоров. По ее тону Генри понял, что она готова поведать ему кое-что по секрету об остальных гостях.

— Довольны ли вы Хэммондом? — спросила она. — Простите, что не смогла лично встретить вас по прибытии.

— Он великолепен, лучше и быть не может.

— Да, я потому его и выбрала, — сказала леди Вулзли. — Он очень обаятелен и в то же время сдержан, правда? — Она изучала выражение его лица; он ничего не ответил. — Да, полагаю,

вы согласитесь со мной. Он служит только вам одному и, разумеется, полностью в вашем распоряжении в любое время. Думаю, он почитает за честь заботиться о вас. Я сказала ему, что, когда мы все умрем и канем в забвение, только вас будут помнить, читая ваши книги. И он сказал нечто очень милое, а голос у него такой тихий и приятный. Он сказал: «Я сделаю все, чтобы он был здесь счастлив». Так просто! Но в искренности его я не сомневаюсь.

Они подошли к подножию лестницы. Лицо ее, казалось, излучало измышления и намеки. Он кротко улыбнулся и пожелал ей доброй ночи. Поворачивая на следующий лестничный пролет, он заметил, что она по-прежнему внимательно смотрит ему вслед и странно улыбается.

Шторы в его гостиной были задвинуты, в камине пылал огонь. Вскоре пришел Хэммонд с кувшином воды.

— Посидите допоздна, сэр?

— Нет, я очень скоро лягу.

Хэммонд был высок, черты его лица при свете огня в камине теперь казались тоньше и мягче. Он подошел к окну и расправил шторы, а затем присел у камина и поворошил угли, чтобы огонь разгорелся сильнее.

— Надеюсь, я не беспокою вас, сэр, но уголь уж больно неподатливый попался, — произнес он почти шепотом.

Генри сидел в кресле у огня.

— Нет, продолжайте, пожалуйста, — сказал он.

— Принести вам вашу книгу, сэр?

— Книгу?

— Ту, которую вы читали. Я могу за ней сходить, сэр, она в другой комнате.

Карие глаза Хэммонда, внимательно изучавшие его лицо, глядели дружески, почти лукаво. Он не носил ни бороды, ни усов. Он стоял неподвижно в желтоватом свете газового рожка с таким непринужденным видом, словно то, что Генри не нашелся с ответом, было для него вполне ожидаемым.

— Пожалуй, я не стану читать перед сном, — медленно выговорил Генри. Он улыбнулся, поднимаясь с кресла.

— Я, кажется, побеспокоил вас, сэр.

— Нет, прошу вас, не тревожьтесь. Пора ложиться.

Он протянул Хэммонду полкроны.

— О, благодарю вас, сэр, но это совершенно излишне.

— Пожалуйста, возьмите, мне бы этого хоте-

лось, — сказал он.

— Очень признателен, сэр.

К обеду на следующий день прибыли еще гости, обжившие пустые комнаты и коридоры в апартаментах лорда и леди Вулзли. Вскоре повсюду зазвучал смех и веселые голоса. Чета Вулзли объявила, что они дадут собственный бал, а леди Вулзли прибавила, что он мог бы послужить для обитателей замка хорошим уроком, как устраивать пристойные балы, пребывая вдали от дома. Однако когда она упомянула о маскарадных костюмах, Генри запротестовал, сказав, что он слишком старомоден, чтобы наряжаться. Во время разговора с леди Вулзли, который состоялся ближе к вечеру, когда она продолжала настойчиво уговаривать его одеться в военную форму, а он настоятельно отнекивался, некий молодой человек из новоприбывших перебил их. Он был напорист, самоуверен и явно ходил в фаворитах у леди Вулзли.

— Мистер Джеймс, — сказал он, — моя жена хочет представлять Дейзи Миллер[10], возможно, вы могли бы дать нам совет насчет костюма?

---

[10] Сноски: 10

Дейзи Миллер — главная героиня одноименной повести Генри Джеймса (1878).

— Никто не может быть Дейзи Миллер, — сказала леди Вулзли. — Наше правило для дам: мы представляем портреты Гейнсборо, Ромни или сэра Джошуа[11]. И скажу вам, мистер Уэбстер, я собираюсь затмить всех.

— Как ни странно, — ответил молодой человек, — нынче утром моя жена сказала то же самое — слово в слово. До чего поразительное совпадение!

— Никто не может быть Дейзи Миллер, мистер Уэбстер, — грозно повторила леди Вулзли, будто разгневавшись, — и прошу не забывать, что мой муж командует армией, а также имейте в виду, что некоторые старые пансионеры бывают очень свирепы, если их раззадорить.

Чуть позже Генри отвел леди Вулзли в сторонку.

— Помилуйте, кто такой этот мистер Уэбстер? — спросил он.

— О, мистер Уэбстер — член парламента. Лорд Вулзли считает, что он далеко пойдет, если смо-

---

[11] Сноски: 11

Томас Гейнсборо (1727–1788) — английский живописец и рисовальщик, крупнейший мастер национальной школы живописи. *Джордж Ромни* (1734–1802) — видный английский художник-портретист и график. *Джошуа Рейнольдс* (1723–1792) — знаменитый английский исторический и портретный живописец, теоретик искусства; первый президент Королевской академии художеств, член лондонского королевского общества.

жет не умничать. А еще лорд Вулзли говорит, что он слишком много разглагольствует в палате лордов и это ему тоже следует прекратить. У него очень богатая жена. Зерно или мука, кажется, а может, и овес. Не важно, в любом случае — деньги. У нее есть деньги, а у него — все, что душа пожелает, кроме чувства такта. Вот поэтому я так рада, что вы здесь. Может, вы сумеете обучить его этому хоть чуть-чуть.

Хэммонд был ирландцем, но имел лондонский выговор, поскольку его еще ребенком вывезли в Англию. Казалось, его обязанности доставляли ему удовольствие, и он старался растянуть его, заводя разговоры во время уборки. Он извинялся всякий раз, когда входил или выходил, и Генри дал понять, что ему он нисколько не мешает.

— Мне нравится госпиталь, сэр, и его старые солдаты, — мягко произнес он. — Бóльшая часть их жизни прошла на войне, и некоторые до сих пор воюют день-деньской, сэр. Они думают, что окна и двери — это турки, или зулусы, или еще кто, и так и норовят им наподдать. Забавное тут место, сэр. Полу-Ирландия, полу-Англия, как и я сам. Может, поэтому я чувствую себя здесь совсем как дома.

Его присутствие по-прежнему оставалось

необременительным и желанным. Несмотря на высокий рост, он был проворен и передвигался легко и бесшумно. И никогда не опускал взгляд, глаза его всегда смотрели прямо, словно уравнивая своего обладателя с тем, что он видел, мгновенно воспринимая все и все понимая. Казалось, он выносит спокойные суждения прямо на ходу.

— Ее светлость сказала, что мне следует прочесть одну из ваших книг, сэр. Она говорит, они очень хороши. Я бы с удовольствием прочел их, сэр.

Генри пообещал Хэммонду, что пришлет ему книгу по возвращении в Лондон. На адрес Королевского госпиталя.

— Для Тома Хэммонда, сэр. Капрала Тома Хэммонда.

Каждый раз, когда Генри возвращался к себе в комнаты после трапезы или прогулки, Хэммонд находил предлог, чтобы зайти. И повод всегда был достойный. Он никогда не бездельничал, не создавал лишнего шума, но мало помалу, с течением времени, он становился все более непринужденным, беседовал неспешно, стоя у окна, задавал вопросы или внимательно слушал Генри.

— Вот вы прибыли из Америки в Англию, сэр. Большинство делает наоборот. Вам нравится Лондон, сэр? Наверняка нравится.

Генри кивнул и сказал, что любит Лондон, но постарался объяснить, что там ему порой бывает трудно сосредоточиться на работе — слишком много приглашений и всяческих отвлекающих моментов.

Сидя за столом во время трапез, посреди чужих разговоров и смеха, безуспешных попыток приятно провести время, он с замиранием сердца думал о том, как Хэммонд войдет в его комнату. Этого момента он ждал, и ожидание занимало все его мысли за обедом, пока леди Вулзли и мистер Уэбстер состязались друг с другом в остроумии. Он думал о Хэммонде, представлял, как тот стоит у окна гостиной и слушает. Однако, оказавшись у себя в комнатах, после нескольких вопросов Хэммонда или собственных попыток что-то ему объяснить, он снова затосковал о тишине, захотел, чтобы Хэммонд немедленно ушел.

Он знал, что все, что он сделал в жизни, и, конечно же, все, что он написал, история его семьи, годы, проведенные в Лондоне, показались бы Хэммонду странными до невероятности. И все же временами в присутствии Хэммонда он чувство-

вал, что они близки, чувствовал подъем во время беседы между ними. Но потом Хэммонд начинал рассказывать о своей жизни, о своих надеждах или взглядах на мир, и огромная даль возникала между ними, становясь еще более огромной, поскольку Хэммонд не осознавал ее и продолжал свои честные, откровенные и — Генри пришлось это признать — подспудно утомительные излияния.

— Если бы случилась война между Великобританией и Соединенными Штатами, кому бы вы остались верны, мистер Джеймс? — спросил его Уэбстер во время послеобеденного затишья.

— Я остался бы верен делу восстановления мира между ними.

— А если бы это не удалось? — не унимался Уэбстер.

— Я совершенно случайно знаю ответ, — вмешалась леди Вулзли. — Мистер Джеймс выяснил бы, на чьей стороне Франция, и присоединился бы к ней.

— Но в рассказе мистера Джеймса об Агате Грайс его американец на дух не переносит англичан и высказывает о нас преужаснейшие вещи. — Зычный голос Уэбстера теперь привлек внимание всех, сидящих за столом. — Думаю,

пора бы дать ответ за это, — продолжил Уэбстер.

Генри глянул через весь стол на мистера Уэбстера, у которого щеки раскраснелись в жаркой комнате, а глаза возбужденно блестели, ведь он заставил такую аудиторию сосредоточенно наблюдать за тем, как он ведет словесную дуэль.

— Мистер Уэбстер, — тихо произнес Генри, убедившись, что молодой человек наконец договорил, — я пережил войну, видел раны и разрушения, которые она принесла. Мой родной брат был на краю смерти во время Гражданской войны в Америке. Его раны невозможно описать словами. Я, мистер Уэбстер, не могу легкомысленно говорить о войне.

— Вот, слушайте, — сказал лорд Вулзли. — Золотые слова!

— Да я лишь задал мистеру Джеймсу простой вопрос, — сказал Уэбстер.

— И он дал вам очень простой ответ, который вы, по всей видимости, не вполне способны понять, — ответил лорд Вулзли.

Пока лорд и леди Вулзли завершали приготовления к балу, наставляя присутствующих гостей насчет деталей организации и рассадки и уделяя массу времени присмотру за украшением главной залы, начали прибывать новые пригла-

шенные, и среди них дама, которую Генри уже несколько раз встречал у леди Вулзли. Даму звали Гэйнор, ее покойный супруг прежде занимал какой-то важный армейский пост. Вдова Гэйнор приехала вместе с дочкой Моной, лет десяти или одиннадцати, и поскольку девочка оказалась здесь единственным ребенком, то ее красота и естественные манеры были у всех на устах и вызвали множество восторгов. Движения Моны были изящны, ей удавалось выглядеть вполне счастливой, хотя она не болтала без умолку, ничего не требовала, чем и очаровала всех вокруг.

В день накануне бала на Дублин обрушился сильный холод, заставивший Генри пораньше вернуться с прогулки. Ему случилось пройти мимо небольшой комнаты на первом этаже, принадлежавшей к апартаментам Вулзли. Леди Вулзли разбирала парики, чтобы дамы могли примерить их до обеда, с нею был мистер Уэбстер, и Генри остановился в дверях, собираясь заговорить с ними. Они были поглощены игрой — выбирали парик, внимательно рассматривали и со смехом передавали его друг другу, словно заговорщики в каком-то счастливом сне: леди Вулзли заставила Уэбстера примерить парик, а сама с хохотом отпрянула, когда он попытался надеть парик ей

на голову. Они были так увлечены друг другом, что Генри не решился их прервать. Внезапно он заметил, что в одном из кресел сидит девочка Мона. Она ничего не делала: не участвовала в забавах у круглого стола, не смеялась очередной шутке, из-за которой леди Вулзли развернулась к Уэбстеру, прикрыв ладонью рот.

Мона была само совершенство в девичьем облике, но, понаблюдав за ней, Генри заметил, как сосредоточенно она созерцает сценку, что разворачивалась перед ней. Во взгляде ее не было ни растерянности, ни обиды, но чувствовалось, что она прилагает усилие, чтобы сохранять милый и непринужденный вид.

Он попятился от двери как раз в ту минуту, когда леди Вулзли разразилась хохотом в ответ на какую-то реплику мистера Уэбстера. Бросив последний взгляд на Мону, Генри заметил на ее лице усмешку, как будто шутка имела удовольствие рассмешить ее; все в ней усиленно опровергало тот факт, что она находится там, где ей не следует быть, слушая словечки и инсинуации, не предназначенные для ее ушей. Генри вернулся к себе в комнаты.

Он обдумывал сцену, свидетелем которой стал, такую живую и знакомую, словно уже не раз

видел ее прежде, изучив до мельчайших подробностей. Он сел в кресле и позволил воображению нарисовать другие комнаты и другие дверные проемы, и как другие глаза безмолвно перемигиваются в его незаметном присутствии, и прочитывал во всем этом двусмысленный подтекст. Внезапно его осенило: он ведь только и делал, что описывал подобное в своих книгах, фигуры в окне или за приоткрытой дверью, незначительный жест, выдающий куда более значительные отношения, нечто тайное, вдруг ставшее явным. Он писал об этом, но лишь теперь впервые увидел наяву, и все равно не был до конца уверен, что это означает. Он снова представил всю картинку, девочку, столь невинную, что ее невинность резко контрастировала с окружающей сценой. Казалось, дитя было способно вобрать в себя все: малейший нюанс или крохотную деталь.

Он поднял глаза и встретил спокойный взгляд Хэммонда.

— Надеюсь, сэр, я вас не побеспокоил. В такую погоду нужно постоянно поддерживать огонь. Я постараюсь не шуметь.

Генри сообразил, что в миг, когда он очнулся от раздумий, Хэммонд беспрепятственно его рассматривал. А теперь наверстывал упущен-

ное, стараясь быстрее двигаться, делая вид, что собирается унести ведро с углем без лишних разговоров.

— Вы видели маленькую девочку — Мону? — спросил его Генри.

— В последнее время, сэр?

— Нет, вообще, с тех пор как она приехала.

— Да, я все время встречаю ее в коридорах, сэр.

— Непривычно видеть ребенка совершенно одинокого — здесь нет никого, близкого ей по возрасту. У нее имеется няня?

— Да, сэр. И няня, и мать.

— А чем же она занимается день напролет?

— Бог ее знает, сэр.

Хэммонд снова рассматривал его, изучая внимательно и настойчиво почти до неприличия.

Генри в ответ пристально посмотрел на него, стараясь сохранять невозмутимость, насколько это возможно. Когда Хэммонд наконец отвел глаза, вид у него был задумчивый и подавленный.

— У меня есть сестра Мониных лет. Такая же хорошенькая.

— В Лондоне?

— Да, сэр. Она у нас самая младшенькая, сэр. Наш свет в окошке.

— И Мона вам ее напоминает?

— Моя сестричка не бродит где ни попадя. Она настоящее сокровище.

— Но ведь Мона тоже под неусыпной опекой няни и, конечно же, своей матери?

— Уверен, так оно и есть, сэр.

Хэммонд потупился, вид у него был озабоченный, он будто хотел что-то сказать, но ему помешали. Повернувшись к окну, он застыл неподвижно. Свет выхватил половину его лица, а вторая осталась в тени. В комнате было так тихо, что Генри слышал его дыхание. Оба не двигались и молчали.

Генри явственно осознал, что если бы кто-то сейчас видел их со стороны, если бы этот кто-то остановился в дверях, как он сам стоял там чуть ранее, или умудрился бы разглядеть их через окно, то этим посторонним наблюдателям могло показаться, что между Генри и Хэммондом произошло нечто очень важное, а молчание повисло просто потому, что многое было сказано. Неожиданно Хэммонд коротко выдохнул и улыбнулся ему мягко и добродушно, а потом взял со стола поднос и вышел из комнаты.

В тот вечер за ужином Генри оказался рядом с лордом Вулзли и таким образом был избавлен, как он думал, от Уэбстера. Дама, сидевшая от

него по другую сторону, прочла несколько его книг. Ее весьма впечатлили концовки романов да и сама идея того, что американец живописует английскую жизнь.

— Должно быть, вы находите нас довольно маловыразительными по сравнению с американцами. Сестры лорда Уорбертона из вашего романа выглядят довольно маловыразительными. А вот Изабелла[12] вовсе не маловыразительна, и Дейзи Миллер тоже. Начни Джордж Элиот[13] описывать американцев, она бы тоже сделала их довольно маловыразительными.

Воистину, ей доставляло удовольствие словосочетание «довольно маловыразительные», и она втыкала его где только могла.

Уэбстер тем временем никак не унимался, стараясь возобладать над всем столом. Закончив дразнить всех женщин по поводу того, что́ те не смогут, не захотят или, возможно, не решатся надеть на бал, он взялся за романиста.

— Мистер Джеймс, а вы собираетесь навестить

---

[12] Сноски: 12

Лорд Уорбертон, Изабелла Арчер — персонажи романа «Женский портрет» (1881).

[13] Сноски: 13

Джордж Элиот (Мэри Анн Эванс, 1819–1880) — английская писательница, мастер психологического реализма; один из самых популярных авторов Викторианской эпохи.

кого-то из своих ирландских родственников, пока вы здесь?

— Нет, мистер Уэбстер, у меня нет подобных намерений, — ответствовал он холодно и твердо.

— Почему же, мистер Джеймс? Ведь дороги благодаря войскам под неусыпным командованием его светлости нынче стали совершенно свободными от мародеров. Уверен, ее светлость предоставит карету в ваше распоряжение.

— Мистер Уэбстер, я не имею таких намерений.

— Как там бишь его, это местечко, а, леди Вулзли? Бейлиборо, да-да, Бейлиборо в графстве Каван. Именно там находится резиденция семейства Джеймс.

Генри заметил, как леди Вулзли покраснела и отвела взгляд. А он смотрел только на нее, и ни на кого больше, а потом повернулся к лорду Вулзли и тихо произнес:

— Мистер Уэбстер все не угомонится.

— Да, пребывание в казармах могло бы в целом исправить его поведение, — ответил лорд Вулзли.

Уэбстер не слышал этого краткого диалога, но видел, как собеседники понимающе улыбнулись друг другу, и это порядком его взбесило.

— Мы с мистером Джеймсом, — пророкотал лорд Вулзли на весь стол, — сошлись во мнении, что вы, мистер Уэбстер, обладаете недюжинным талантом быть услышанным. Вам следует подумать над тем, чтобы с большей пользой употребить его. — Лорд Вулзли посмотрел на свою жену.

— Однажды мистер Уэбстер станет великим парламентским оратором, — вступилась леди Вулзли.

— Как только овладеет искусством молчания, он, конечно же, станет великим оратором, может быть, даже более великим, чем сейчас, — сказал лорд Вулзли и снова повернулся к Генри.

Оба прилежно игнорировали противоположный конец стола. Генри будто оглушило сильнейшим ударом, и он, делая вид, что слушает лорда Вулзли, тайком сконцентрировал всю свою энергию на недавно сказанных словах.

Его не волновала открытая враждебность Уэбстера. Он больше никогда, чаятельно, его не увидит, и лорд Вулзли четко дал понять, что Уэбстер больше рта не раскроет за этим столом. Но вот насмешку, промелькнувшую на лице леди Вулзли, когда Уэбстер упомянул Бейлиборо, Генри запомнил. Она быстро спохватилась, но он

заметил насмешку, и она видела, что он заметил. Случайно она возникла или намеренно, Генри был шокирован в любом случае. Он знал, что ничем ее не спровоцировал. А еще он знал, что Уэбстер и леди Вулзли обсуждали его самого и то, что его семья родом из графства Каван. Однако он не знал, откуда они получили эту информацию.

Жаль, что он не может уехать немедленно. Когда он оглядел стол, то мельком увидел леди Вулзли, усиленно общавшуюся со своим соседом. Действительно ли у нее был пристыженный вид, или он это вообразил, потому что ему просто хотелось, чтобы ей было стыдно? — терялся он в догадках. Осторожно кивнув, когда повествование лорда об одной из его военных кампаний подошло к концу, он улыбнулся тому как можно теплее.

Когда Уэбстер встал, по его взволнованному лицу Генри понял, что тот близко к сердцу воспринял реплику лорда Вулзли о молчании. Генри знал, да и Уэбстер, должно быть, тоже, что лорд Вулзли говорил настолько жестко, насколько был способен за пределами военного трибунала. К тому же слишком уж быстро подоспела защита леди Вулзли. Лучше бы она промолчала вовсе. Теперь для Генри было важно добраться до своих

комнат и не пересечься с Уэбстером или леди Вулзли, которые сейчас по-прежнему находились в столовой, держаться от обоих подальше и не оказаться напрямую вовлеченным в какой-либо разговор.

В его комнатах горели газовые рожки и ярко пылал камин. Хэммонд будто предвидел, что он рано вернется. До чего прекрасна была гостиная — старое дерево, мерцающие тени, длинные темные бархатные шторы. Удивительно, думал он, до чего прикипел он к этим комнатам, как нуждался он в их тишине и покое.

Генри только устроился в кресле у огня, как вошел Хэммонд с чаем на подносе.

— Я заметил вас в коридоре, сэр, у вас был неважный вид.

А он Хэммонда не заметил, и оттого, что тот видел его бредущим из столовой, почувствовал себя еще более несчастным.

— Вы выглядели так, словно увидели призрак, сэр.

— Смотрел я только на живых, — возразил Генри.

— Я принес вам чай, сэр, и проверил, хорошо ли топится камин в спальне. Вам необходим хороший ночной отдых, сэр.

Генри не ответил. Хэммонд придвинул маленький стол, поставил поднос и начал наливать чай.

— Хотите принесу вам книгу, сэр?

— Нет, благодарю вас. Пожалуй, я посижу здесь, выпью чаю и отправлюсь спать, как вы советуете.

— У вас озноб, сэр. Вы хорошо себя чувствуете?

— Да, большое спасибо.

— Я мог бы заглянуть ночью, если хотите, сэр.

Хэммонд направился в спальню. Он посмотрел через плечо с таким безмятежным видом, словно не сказал ничего необычного. Генри сомневался, понимает ли он сам, было ли сделанное ему предложение невинным или не было? Он был уверен лишь в собственной уязвимости и поймал себя на том, что затаил дыхание.

Поскольку Генри не ответил, Хэммонд остановился, и глаза их встретились. На лице Хэммонда было написано лишь умеренное участие, но Генри не мог определить, что под ним скрыто.

— Нет, спасибо, я утомился и, думаю, хорошо посплю.

— Вот и славно, сэр. Я проверю спальню и оставлю вас почивать.

Генри лег в постель и задумался о доме, в

котором находился, — доме, полном дверей и коридоров, странных скрипов и таинственных ночных шорохов. Он думал о хозяйке этого дома, о мистере Уэбстере и его насмешливом тоне. Как жаль, что он не может уехать немедленно, сей же час упаковать вещи и перебраться в городскую гостиницу. Но он знал, что это невозможно — бал назначен на завтрашний вечер и его преждевременный отъезд будет слишком оскорбителен. Он уедет наутро после бала.

Он знал, что хозяйка затеяла против него заговор, и эта рана больно саднила. Он подумал о том, что болтал Уэбстер. Генри никогда не упоминал о графстве Каван при ком-то из окружения леди Вулзли. В этом знании не было ни тайны, ни повода для стыда, хотя своим насмешливым тоном Уэбстер намекал именно на это. Просто в графстве этом родился его дед, и его отец в последний раз наведывался туда почти шестьдесят лет назад. Что оно значило для самого Генри? Его отец приехал в Америку в поисках свободы и нашел там даже больше. Он обрел огромное состояние, и это все изменило. Для Генри графство Каван не стоило даже упоминания.

Он заложил руки за голову. В спальне было темно, огонь в камине еле теплился. Его неотступно

тревожила мысль о том, как мучительно ему хочется, и теперь, в этом странном доме хочется даже больше, чем всегда, чтобы кто-нибудь обнял его, ничего не говоря, даже не двигаясь, — просто обнял бы его и остался с ним. Сейчас это было ему необходимо, и, заставив себя сказать это, он приблизил нужду, сделал ее более насущной и еще более несбыточной.

Назавтра поздним утром он сидел у окна, созерцая чистое голубое небо над Лиффи. Это был еще один зябкий день, но на лужайке, к своему удивлению, он увидел девочку Мону — без шляпки и совершенно одну. Сам он уже прогулялся с утра пораньше и был рад вернуться в дом. Он обратил внимание, что девочка кружится, раскинув руки. Генри окинул взглядом просторную лужайку в поисках няни или мамы, но их там не оказалось.

Если бы кто-то ее увидел, подумал Генри, он почувствовал бы то же самое. Ее надо уберечь — лужайка слишком велика, вокруг слишком широкое, никем не охраняемое пространство. Как ужасно, что она оказалась там этим холодным мартовским утром совершенно беззащитная. Она по-прежнему двигалась примерно в центре лужайки, то почти бежала, то останавливалась, следуя ею самой изобретенной траектории. Генри

заметил, что пальтишко на девочке распахнуто. Время шло, но никто не приходил, чтобы увести ее в дом, и ему стала мерещиться фигура, наблюдающая за ней из сумрака или уже выступающая из сумрака. Внезапно она остановилась как вкопанная лицом к нему. Он видел, что она дрожит от холода. Она взмахнула руками и тряхнула головой. И он сообразил, что она, вероятно, безмолвно общается с кем-то в другом окне, скорее всего с матерью или с няней. Она перестала кружиться и стояла на лужайке одна-одинешенька.

Мертвое, инертное молчание в ее пристальном взгляде поразило его. Она замерла — одновременно испуганная и покорная, и он даже представить не решился, на что намекал наблюдатель у другого окна. Генри сорвал пальто с вешалки у двери. Ему не терпелось проверить все самому, и он планировал выйти из-за угла и сразу же бросить случайный взгляд в окно, не теряя времени, как только окажется в пределах видимости. Он не сомневался, что особа, стоявшая за тем окном, кем бы она ни была, отпрянет, едва он появится. Всякому, думал он, должно быть совестно из окна наблюдать за юной девочкой, которая в любом случае должна находиться в доме. Он отыскал боковой выход, никого по пути не встретив.

Снаружи похолодало, и он дрожал, огибая дом по пути на лужайку. Он выждал секунду, прежде чем стремительно появиться из-за угла, и немедленно обшарил взглядом все окна на своем этаже, даже не проверив, здесь ли Мона.

В окнах он никого не увидел, никто не спрятался в тени, как он предполагал. Зато прямо перед ним — в синей шляпке и застегнутом на все пуговицы пальто — стояла Мона со своей няней. Дитя за руку подвели к нему. Он поприветствовал ее и няню и быстро прошел мимо. Когда он оглянулся, то увидел, что няня что-то мягко говорит Моне, а та улыбается в ответ — безмятежная и всем довольная. Он еще раз обшарил взором все окна на верхних этажах, но никаких наблюдателей там не было.

Проходя мимо главной залы, он увидел, что слуги уже приступили к работе — накрывали столы, устанавливали свечи в подсвечники и украшали помещение. Хэммонда среди них не было.

Уже во второй раз за утро он сказал леди Вулзли, что не станет надевать форму или маскарадный костюм, что он не лорд и не франт, а просто скромный литератор. Она предупредила, что он окажется в одиночестве на балу, что дамы все, как одна, подготовились и ни один кавалер не

придет как есть.

— Вы среди друзей, мистер Джеймс… — заверила она и умолкла, вдруг усомнившись, и явно решила не договаривать то, что было у нее на уме.

Он внимательно посмотрел ей прямо в глаза, пока на лице ее не появилось чуть ли не сконфуженное выражение, а потом сообщил, что уезжает рано утром.

— А как же Хэммонд? Разве вы не станете по нему скучать? — спросила она, пытаясь вернуть разговору непринужденный, игривый тон.

— Хэммонд? — удивленно посмотрел на нее он. — Ах, это мой слуга. Да, благодарю вас, он великолепен.

— Обычно он такой серьезный, но всю эту неделю он улыбался.

— Знаете, — сказал Генри, — я буду ужасно скучать по вашему радушию.

В тот вечер твердо вознамерился не разговаривать с Уэбстером, пусть даже ему придется все время его избегать. Впрочем, как только он вышел на лестницу, ведущую к бальному залу, Уэбстер оказался тут как тут. Он нарядился в охотничий костюм, который Генри счел дурацким, и размахивал каким-то конвертом с выражением

отвратительного торжества на лице.

— Не знал, что у нас с вами имеются общие друзья, — сказал он.

Генри поклонился.

— Я разыскивал вас утром, — продолжал Уэбстер, — чтобы сказать, что я получил послание от мистера Уайльда — мистера Оскара Уайльда, который передает вам свои наилучшие пожелания. По крайней мере, он так пишет — с ним никогда не знаешь наверняка. Жаль, говорит, что его с нами нет, и, конечно же, он был бы здесь очень кстати, ведь он большой любимец ее светлости. Его светлость, как я понимаю, наложил вето. Не думаю, что он хотел бы видеть мистера Уайльда в своем полку. — Уэбстер умолк и двинулся вниз по ступеням прямо на Генри; тот остался неподвижен. — Конечно, мистер Уайльд очень занят в театре. Он написал мне, что вашу пьесу сняли, освободив место для его второго успеха за сезон, и он, похоже, очень доволен подобной взаимосвязью. Пишет, вы, мол, почти что монах. Все ирландцы прирожденные писатели, как говорит моя жена, у них это в крови. Она обожает мистера Уайльда.

Генри не проронил ни звука. Когда Уэбстер замолчал, будто давая ему высказаться, он снова

поклонился, побуждая Уэбстера спускаться дальше по лестнице, однако тот не двинулся с места.

— Мистер Уайльд говорит, что жаждет увидеться с вами в Лондоне. У него много друзей. Вы знакомы с его друзьями?

— Нет, мистер Уэбстер, не думаю, что я имел счастье познакомиться с его друзьями.

— Ну, может, вы с ними и знакомы, только не знаете, что они его друзья. Леди Вулзли ходила с нами на пьесу про Эрнеста[14]. Вам надо будет пойти с нами на следующую постановку. Я сообщу леди Вулзли, что вы должны непременно.

Уэбстер слишком уж старался быть забавным. А еще каким-то образом он умудрился следить за тем, чтобы в разговоре не возникла пауза, во время которой Генри мог бы ретироваться. Ему явно было что сказать.

— Конечно, я считаю, что у политиков и писателей есть кое-что общее. Мы все расплачиваемся сполна, если только нам не повезет в тяжелой борьбе. У мистера Уайльда нелады с супругой. Для него сейчас настали тяжелые времена, я уверен,

---

[14] Сноски: 14

«Как важно быть серьезным» («The Importance of Being Earnest») — комедия Оскара Уайльда, впервые поставленная 14 февраля 1895 г. Название комедии представляет собой каламбур — слово «earnest», означающее по-английски «серьезный», созвучно имени Эрнест, которым представляются два героя пьесы, люди абсолютно несерьезные.

вы понимаете, о чем я. Леди Вулзли говорит, вы не женаты. Это может быть одним из решений. До тех пор, пока не войдет в моду, я полагаю.

Он повернулся и дал понять Генри, что они могли бы вместе спуститься по лестнице.

— Но, будучи холостяком, вы имеете возможность быть открытым для всякого рода… как бы это сказать?.. для всякого рода привязанностей.

Главная зала королевского госпиталя нежилась в сиянии тысячи свеч. Маленький оркестр играл приятную музыку, лакеи сновали среди гостей, предлагая шампанское. Столы были сервированы, как поведала ему леди Вулзли, серебряными приборами, которые недавно унаследовал лорд Вулзли. Ради такого случая серебро специально доставили сюда из Лондона. Пока что присутствовали только мужчины. Его просветили, что ни одна из дам не хочет появиться первой, так что все они отсиживаются по своим комнатам и ждут вестей от горничных, которые время от времени выбегают на лестничную клетку пошпионить за холлом. Лорд Хотон нарядился во все регалии представителя королевы в Ирландии и придерживался мнения, что лорду Вулзли придется организовать кавалерийскую атаку, чтобы заставить дам появиться. Леди Вулзли,

по всей видимости, оказалась самой упорной из всех и поклялась, что выйдет в бальную залу последней.

Генри наблюдал за Уэбстером, ни одно движение Уэбстера не укрылось от его взгляда. С него было довольно. Если только Уэбстер устремится в его сторону, Генри был готов немедленно отвернуться. Это означало, что он не мог ни при каких обстоятельствах участвовать в захватывающей беседе.

Пока Уэбстер, беспрестанно смеясь, двигался по залу, взгляд Генри следовал за ним, и таким образом он в первый раз приметил Хэммонда. На Хэммонде был черный костюм с белой сорочкой и черным галстуком-бабочкой. Его черные волосы блестели и казались длиннее, чем раньше. Он был свежевыбрит, отчего лицо его обрело утонченную, чистую красоту. Поймав его взгляд, Генри сообразил, что слишком пристально его разглядывает и что за одно мгновение отдал больше, чем за целую неделю. Хэммонд, похоже, ничуть не смутился и не отвел глаза. Он держал в руках поднос, но не двигался с места, и ему удалось выхватить взглядом Генри, стоявшего среди небольшой компании и вполуха слушавшего анекдот. Генри переключил свое внимание на

собеседников. Сумев отвести глаза, он старался больше не смотреть в ту сторону.

Лорд Вулзли поговорил с оркестром и организовал фанфары, через горничных он договорился, что каждая дама, включая его собственную жену, при первых же звуках музыки должна явиться в главную залу под гул всеобщего восхищения. Никому не позволено задержаться. Фанфары грянули, мужчины расступились, и двери торжественно распахнулись. Два десятка дам прошествовали в зал, на каждой красовался затейливый парик, лица покрывал толстый слой грима, а наряды их будто только что сошли с полотен Гейнсборо, Рейнольдса и Ромни. Джентльмены разразились аплодисментами, и оркестр заиграл вступительные аккорды вальса.

Леди Вулзли не зря сказала, что ее костюм ожидает настоящий триумф. Платье переливчатого синего и темно-красного шелка, перетянутое огромным кушаком, было украшено множеством оборок, рюшей и складок. Ни одна из присутствующих дам не рискнула надеть настолько короткое платье. Парика на леди Вулзли не было — она прибавила к прическе искусственные букли, которые было не отличить от ее натуральных волос. Лицо и глаза были накрашены так

искусно, что казалось — косметики на ней нет вовсе. Попросив оркестр умолкнуть, она жестом велела гостям отойти назад. Ее муж как будто не знал, что или кто находится по ту сторону дверей, которые закрылись, а потом снова начали медленно отворяться.

А за ними показалась инфанта Веласкеса — девочка Мона в платье с кринолином, который был впятеро шире ее самой. Она замерла на пороге, неотрывно глядя куда-то вдаль, безупречно играя принцессу, слишком благородную, чтобы разглядывать своих подданных. Поглощенная своей великой ролью, своим предназначением, она мягко улыбалась гостям, а те восхищенно рукоплескали ей, объявляли открытием, грандиозным успехом этого вечера.

Генри тотчас кольнула тревога за нее, выставляющую напоказ свою женскую природу, хладнокровно потворствующую собственному очарованию. Он вглядывался в лица других гостей, пытаясь понять, разделяет ли кто-нибудь его суждение о странном, не по годам развитом ребенке и неподобающем внимании к ней. Но они занимали свои места, и между ними царил дух невинности и веселья.

Когда Генри повернулся к даме слева от него,

то не сразу ее узнал. На голове у нее красовался необычайно огромный рыжий парик, лицо было сильно наштукатурено, но самое главное, пожалуй, — она молчала. Как только дама заговорила, он мигом признал в ней постоялицу Дублинского замка, ту самую, которую проигнорировала чета Вулзли.

— Мистер Джеймс, — прошептала она, — не спрашивайте, была ли я приглашена, потому что я вам скажу, что конечно же нет. Мой муж со мной не разговаривает и дуется, отсиживаясь с замке. Но лорд Хотон, которому претит грубость, настоял, чтобы я приехала сюда, и попросил другую даму позаботиться о моем костюме и сделать меня неузнаваемой. — Она быстро огляделась, не подслушивает ли кто. — Муж говорит, мол, без приглашения в гости не ходят, но вся суть костюмированных балов противоречит этому правилу.

Озабоченный тем, что их могут услышать соседи, он жестом попросил ее говорить потише.

Мона стала центром внимания — почетнейшей гостьей. Мистер Уэбстер, оказавшийся подле нее, расточал ей льстивые и двусмысленные комплименты. Леди Вулзли, сидя рядом с супругом, пребывала в полном восторге.

Хэммонд ходил по залу с бутылкой в руке, разливая гостям напитки. Он оставался спокоен и невозмутим, как бы ни был занят. Генри чувствовал, что у него самый замечательный характер из всех присутствующих в этом зале тем вечером.

Генри не танцевал, но, будь он танцующим кавалером, ему непременно пришлось бы станцевать с Моной, потому что так делали все джентльмены. Как только заканчивался очередной танец, ее тут же поджидал новый кавалер. Флиртуя с ней, обращаясь с маленькой девочкой как со взрослой, они преуспели, как думал Генри, в насмешках над ней. Они не обращали внимания на то, что она маленькая девочка — дитя, хоть и разряженное в пух и прах, которому уже пора в кроватку. Генри наблюдал за Хэммондом, который наблюдал за ней, и осознавал, что тот, возможно, единственный в этом зале, кто смотрел на шалости Моны без удовольствия.

Бóльшую часть времени Генри стоял в одиночестве или в компании одного-двух джентльменов, созерцая кружащиеся пары, медленно оплывающие свечи, наряды и парики, все более безвкусные с виду, разрумянившиеся щеки танцующих и явно подуставший оркестр. И внезапно он затосковал, что рядом с ним нет какого-ни-

будь американца, желательно жителя Бостона, соотечественника, который понимал или хотя бы признавал, в отличие от всех здесь присутствующих, чужеродность происходящего.

Это была Англия внутри Ирландии. Это здание было оазисом посреди хаоса, нищеты и разрухи. Чета Вулзли импортировала свое столовое серебро, своих гостей и свои обычаи. Ему нравился лорд Вулзли, и не хотелось сурово судить его. И тем не менее он хотел бы услышать суждение американца, воспитанного на идеалах свободы, равенства и демократии. Впервые за много лет он ощутил глубокую печаль изгнанника, одинокого чужака, слишком чуткого к иронии, щепетильного, слишком разборчивого в отношении манер и, конечно же, морали, чтобы быть способным соучаствовать.

Стряхнув с себя задумчивое оцепенение, он прямо перед собой увидел Хэммонда, по-прежнему излучавшего глубокое сочувствие, которым веяло от него весь вечер. Он казался необычайно красивым. Генри взял бокал воды с подноса и улыбнулся ему, но оба не сказали ни слова. При всей общности между ними, Генри осознавал, что они никогда больше не встретятся.

На другом конце зала Мона сидела на коленях

у Уэбстера. Он держал ее за руки и качал вверх-вниз. Генри усмехнулся, представив себе, как его воображаемый друг-американец входит сейчас в комнату и видит эту совсем не назидательную сценку. Уэбстер поймал его внимательный взгляд и беззаботно пожал плечами.

Было уже поздно, и Хэммонд присоединился к остальным слугам, уносившим бокалы и отскребавшим капли свечного воска со столов и с пола. Теперь он скучал по тому приязненному сиянию, которое излучало для него спокойное лицо Хэммонда. Очень скоро оно будет потеряно для него навсегда, и он почувствовал себя чужаком-чужестранцем, не имеющим ничего, способного удовлетворить его желания, человеком, разлученным с родиной, будто из окна наблюдающим за миром. Внезапно он покинул залу и быстрым шагом вернулся в свои комнаты.

Глава 3

Март 1895 г.

За эти годы он кое-что усвоил насчет англичан и старался спокойно и непреклонно приспособить эти знания для собственных нужд. По его наблюдениям, мужчины в Англии в основном с большим уважением относились к собственным привычкам. До такой степени, что окружающие их люди тоже усваивали это уважение. Один его знакомый не вставал с постели до полудня, другой любил после обеда подремать в кресле, третий ел говядину на завтрак, и Генри замечал, как эти обычаи становились частью обыденности и практически не обсуждались. Его привычки, конечно же, были безобидными и непринужденными, склонности были корректными, а идиосинкразии — умеренными. Таким образом, ему стало удобно отклонять приглашения, легко и просто ссылаясь на занятость, загруженность работой, служение искусству денно и нощно.

Он надеялся, что время его пребывания в качестве заядлого гостя больших лондонских домов подошло к концу. Он любил наслаждаться восхи-

тительной тишиной по утрам, зная, что ни с кем не встречается днем и никуда не приглашен вечером. Он считал, что раздобрел в одиночестве и научился не ждать от грядущего дня ничего, кроме — в лучшем случае — отупелого довольства. Порой эта отупелость выступала на первый план вместе со странной и назойливой болью, которую он какое-то недолгое время испытывал, но вскоре научился обуздывать. Впрочем, довольство он испытывал чаще. Неспешное освобождение и тишина с наступлением ночи могли наполнить его таким счастьем, с которым ничто — ни общество, ни компания какого-нибудь конкретного человека, ни блеск, ни очарование — не шло ни в какое сравнение.

В первые эти дни после злополучной премьеры и возвращения из Ирландии ему открылось, что он способен контролировать печаль — неизменную спутницу некоторых воспоминаний. Когда скорбь, страхи и кошмары являлись к нему сразу после пробуждения или посреди ночи, они были похожи на слуг, пришедших затеплить лампу или унести поднос. Тщательно вышколенные за долгие годы, они вскоре сами по себе исчезали, зная, что мешкать нельзя.

Тем не менее он не забыл потрясение и стыд,

пережитые на премьере «Гая Домвиля». Он сказал себе, что воспоминания померкнут, и с этим обещанием себе постарался выкинуть из головы мысли о своем провале.

Вместо этого он стал думать о деньгах, перебирая в уме, сколько он получил и какие суммы ему причитаются, думал о путешествии — куда он поедет и когда. Он думал о работе, об идеях, персонажах, о моментах истины. Он концентрировался на этих мыслях, ибо знал, что они подобно светочам ведут его сквозь мрак. Стоит ему утратить бдительность, и они погаснут от легкого дуновения, и он снова пустится рассуждать о поражениях и разочарованиях, которые, если их не одолеть, заведут его в мысленные дебри отчаяния и страха.

Иногда он рано просыпался, и, когда подобные мысли овладевали им, знал, что выбор у него только один — встать с постели. Он верил, что, действуя решительно, как будто он куда-то торопится, как будто поезд вот-вот тронется, а он опаздывает, можно их прогнать.

И все же он знал, что нужно отпускать разум на волю. Он жил за счет бессистемной работы ума, и теперь, с началом нового дня, он оказывался погружен в новые размышления и фантазии. Ин-

тересно, думал он, как легко идея меняет форму и предстает посвежевшей, в новом обличье. Он и не знал, как близко к поверхности затаилась эта история. Это был простой рассказ, еще более упрощенный отцом его друга Бенсона — архиепископом Кентерберийским, который старался развлечь его однажды вечером вскоре после провала его пьесы. Он слишком долго колебался и слишком часто останавливался, пытаясь рассказать историю о привидениях, но не зная ни середины, ни развязки, не уверенный даже в контурах зачина.

Генри определился с ними, как только вернулся домой. Он записал у себя в блокноте:

История о привидениях, рассказанная в Эддингтоне (вечером во вторник 10-го) епископом Кентерберийским: просто приблизительный набросок без деталей: история про маленьких детей (возраст и количество не определены), оставленных на попечение слуг в старинном сельском доме предположительно из-за смерти родителей. Челядь, злобная и развращенная, портит и развращает детей: дети дурны, исполнены злобы до крайней степени. Слуги умирают (причина смерти туманна), и их призраки возвращаются в дом, чтобы преследовать детей.

Ему не нужно было заглядывать в блокнот, чтобы вспомнить эту историю, все события были при нем. Он раздумывал о том, чтобы поместить действие в Ньюпорт, в уединенный дом среди скал, или в один из новых нью-йоркских особняков, но ни одна декорация не увлекла его, и постепенно он оставил идею об американской семье. Теперь это была английская история, действие которой происходит в прошлом, и в первоначальной неспешной разработке сюжета он сократил число детей до двух — мальчика и его младшей сестры.

Он часто думал о смерти своей сестры Алисы, ушедшей три года назад. Тогда он впервые прочел ее дневник, полный откровенных излияний. Теперь он чувствовал себя очень одиноко, как и она на протяжении всей своей жизни, и чувствовал близость к ней, хотя никогда не страдал от ее симптомов и ее недугов и был лишен ее стоицизма и смирения.

В самые мрачные часы он ощущал, что оба они были в каком-то смысле заброшены, когда семейство разъезжало по Европе и возвращалось, часто без всякой причины, в Америку. Они никогда не были в полной мере вовлечены в круговерть событий и мест, становясь лишь зрителями, но не участниками. Их братец Уильям, самый старший,

а также Уилки и Боб, родившиеся между Генри и Алисой, пришли в этот мир искусно вылепленными и готовыми к встрече с ним, а Генри и Алиса остались беззащитными и неискушенными. Он стал писателем, а она слегла.

Он очень явственно помнил, как впервые ощутил панический страх Алисы. В Ньюпорте их застал ливень: они так увлеклись, болтая и хохоча, что не заметили, как почернело небо. Алисе было лет четырнадцать или пятнадцать, но в ней не было ни капли той странной застенчивой уверенности, которая проявлялась у ее кузин, достигших этого возраста. Алиса не умела, как они, вдумчиво и с достоинством входить в комнату или заговаривать с незнакомцами, не умела легко и непринужденно общаться с семьей, не обладала их уверенностью в себе.

В тот жаркий летний день дождь обрушился внезапно, небо над морем стало скопищем фиолетово-серых туч. На нем была легкая курточка, а на Алисе — только летнее платье и хлипкая соломенная шляпка. И никакого укрытия поблизости. Несколько раз они пытались спрятаться под кустами, но ливень, подгоняемый ветром, был неумолим. Он снял куртку, они вместе накрылись ею и брели — медленно и молча, крепко

прижимаясь друг к другу — в сторону дома. Он чувствовал, что она счастлива, и счастье ее было невероятно сильным, почти пронзительным. Никогда прежде он не понимал, насколько остро она нуждается в полном внимании, сочувствии и защите — с его стороны, со стороны Уильяма или родителей. В эти минуты, пока они шли домой по мокрой песчаной дороге от моря в деревню, он чувствовал, что сестра пылает огнем от удовольствия близости к нему. Наблюдая ее сияние и восторг, когда они приблизились к дому, он впервые ощутил, как трудно ей придется в жизни.

Он начал наблюдать за ней. До сих пор он считал шутку, что Уильям собирается на ней жениться, просто легким поддразниванием, способом заставить ее улыбнуться, Уильяма рассмеяться, а все семейство — дружно хохотать вместе с ним. Вдобавок это был маленький спектакль для гостей. Уильям был на шесть лет старше Алисы. Как только Алиса стала появляться перед гостями в ярких платьицах и начала осознавать, какой эффект может произвести на взрослых, шутка о том, что она выйдет замуж за Уильяма, стала своеобразным ритуалом.

— О, она выйдет замуж за Уильяма, — говорила тетушка Кейт, и, если Уильям присутствовал,

он подходил к ней, брал ее за руку и целовал в щечку.

Алиса же ничего не говорила, только окидывала всех, улыбающихся и смеющихся, едва ли не враждебным взглядом. Отец брал ее на руки и обнимал.

— Ничего, это ненадолго, — говорил он.

Алиса никогда не верила, думал Генри, что выйдет замуж за Уильяма. Она была рациональной, и даже в подростковом возрасте в основе ее интеллекта лежала хрупкая злость. Однако, поскольку идея о том, что Уильям на ней женится, повторялась так часто, а никто посторонний не представлялся даже отдаленно возможным суженым, эта идея незаметно проникла в отдаленный уголок ее души и безмолвно, но прочно там разместилась.

За раздумьями в попытках придать форму истории о двух покинутых детях, рассказанной ему архиепископом, Генри поймал себя на том, что мысленно обратился к загадочному пребыванию его сестры в этом мире. Перед глазами пробегали сцены, когда она явственно демонстрировала домашним свой недюжинный интеллект и кровоточащую уязвимость. Она была единственной на свете маленькой девочкой, которую он знал, и

теперь, когда он попытался представить себе маленькую девочку, именно неугомонный призрак его сестрички посетил его.

Вспомнилась сценка, когда Алисе было, наверное, лет шестнадцать. Один из тех затянувшихся ужинов с парой гостей, как ему припомнилось, когда кто-то заговорил о жизни после смерти, о встречах с умершими родственниками: не то они и вправду происходили, не то на них надеялись и верили, что такое возможно. Тогда один из гостей, или это была тетушка Кейт, предложил помолиться о том, чтобы в будущей жизни увидеться со своими любимыми, но внезапно голос Алисы возвысился над всеми прочими, и все умолкли и обратили взоры к ней.

— Не надо ни о чем молиться, — сказала она. — Упоминание о тех, кого мы должны снова встретить, вызывает у меня дрожь. Это вторжение в их святыню. Своего рода личные притязания, против которых я решительно возражаю.

Она говорила, как тетя Эмерсона[15], как та, что погрузилась в философию жизни и смерти, как

[15] Сноски: 15

Мэри Муди Эмерсон (1774–1863) — самозваная пророчица, духовидица и мистик, тетя американского эссеиста, поэта, философа Ральфа Уолдо Эмерсона (1803–1882), оказавшая на него самое сильное духовное влияние.

та, что гордится независимостью своих суждений. Ее семейству был совершенно очевиден ее изобретательный ум, ее изрядное острословие, но она знала, что ей придется это скрывать, если она хочет быть похожей на других девушек ее возраста.

У Алисы были друзья, она принимала гостей и ходила на прогулки и пикники. Она научилась ладить с сестрами друзей своих братьев. Но Генри наблюдал за ней, когда в комнату входил какой-нибудь молодой человек, и замечал перемену в ее поведении. Она не могла расслабиться, а молчание давалось ей с огромным трудом. Она становилась словоохотливой, и в речах ее бессмыслица перемежалась с парадоксом. В ней чувствовались ужасный надрыв и беспокойство. Он видел, как изнуряют ее подобные светские события.

Даже семейные трапезы могли стать для нее испытанием, когда Боб и Уилки научились получать удовольствие, дразня ее и пользуясь ее беззащитностью. В те годы их отец буквально не находил себе места, и они пересекли Атлантику в поисках чего-то, не понятного никому из них, пытаясь отвлечься от страстного и нетерпеливого отцовского смятения. Их тащили из города в

город, из гостиниц в апартаменты, они все время меняли домашних учителей и школы. Они свободно говорили по-французски и знали, что они странные. Из-за этого они — все пятеро — сильно отличались от сверстников, зная больше и в то же время меньше других. Больше — о богатстве, истории, европейских городах, больше об уединении и неопределенности, о том, как оставаться в одиночестве и как быть независимым. Меньше — об Америке, о паутине связей и привязанностей, которую сплетали их современники. В те годы они научились опираться друг на друга, предлагать друг другу приватный язык, защиту и слаженность действий. Они напоминали старинный город-крепость. Никто, сколь бы упорной ни была осада, не мог разрушить их стены. И Алиса, взрослея, оказалась в западне за этими стенами.

Сам Генри плохо помнил визит Теккерея на их семейный ужин в Париже, хотя помнил, что́ о нем рассказывали другие. История повторялась и пересказывалась на все лады, и каждый член семьи, включая мать, обычно осмотрительную и сдержанную в высказываниях, считал, что ее следует поведать всем и каждому.

В то время Алисе было лет восемь или девять. Ее посадили рядом с писателем, и Генри знал, что

для нее это большое испытание. Она переживала из-за каждого своего жеста, каждого кусочка пищи, которого касались ее нож и вилка. Она провела всю трапезу, размышляя о том, что же подумает о ней этот великий человек. Генри знал, что в таких случаях пульс у нее учащался, а ее попытки произвести впечатление были затейливыми, застенчивыми и кропотливыми.

Он не помнил, чтобы Алиса носила в те времена кринолин, но история строилась именно на нем. Теккерей повернулся к ней и окинул взглядом ее наряд.

— Кринолин! — воскликнул он. — Никогда бы не подумал. Столь юное и столь порочное создание!

Это замечание, высказанное, скорее всего, добродушно, для сестры Генри стало внезапным ударом. В следующие долгие минуты она не чувствовала ничего, кроме стыда, как будто тайная, темная сторона ее была вдруг выставлена на всеобщее обозрение. Он представлял, какими неожиданными были эти слова, видел замешательство сестры, ее беспомощную попытку улыбнуться. Генри один понимал, как все это жестоко, но ничего не сделал, чтобы заставить умолкнуть остальных — всех тех, кто выставлял

напоказ эту историю перед каждым, кто соглашался слушать. Рассказчики испытывали еще большую радость, если Алиса при этом присутствовала и в который раз выслушивала историю о том, как ее унизил величайший романист того времени.

Уильям был самым старшим и самым неуязвимым. На него, похоже, никак не влияли ни долгие поездки, ни срывы и потрясения. Он был силен и популярен среди одноклассников, всегда уверен в своем праве принять участие в следующей игре. Он любил крики и гам, любил шумные компании. Любил грохот дверей и спортивные игры. Никто не замечал в нем книжного мальчика, и даже он сам, возможно, не заметил бы, если бы однажды бесстрашно не вступил в спор с отцом. Спорил он так самозабвенно и с таким наслаждением, что к подростковым годам начал обращаться со словами и фразами так же, как прежде он обходился с живыми изгородями и ухоженными газонами.

Ради Уильяма Алиса старалась быть утонченной, изысканной, женщиной мира, автором французской дневниковой прозы восемнадцатого века. Однажды мать упомянула, какое глубокое впечатление произвело на Неда Лоуэлла изобра-

жение Бостона в новом романе Хоуэллса[16]. Алиса явно хотела что-то сказать, и все повернулись к ней. Она не смогла начать. Лицо ее пылало.

— О бедняжка! — запинаясь, пробормотала она. — Если его так впечатлил роман, интересно, что он чувствует насчет Разграбления Рима, да и того, как флиртует его собственная жена.

И снова весь стол умолк. Мать отодвинула стул, словно собираясь встать. Все остальные удивленно смотрели на Алису. Уильям не улыбался. Она сидела, не поднимая глаз. Она неверно выбрала момент, и все поняли, какое странное впечатление может она произвести, если ее выпустить в свободное плавание.

Вот этот ее образ так и остался с ним навсегда. Пропасть между внутренней ее жизнью, во всей ее застенчивой уединенности, и жизнью, которая была для нее намечена, вызывала в нем замешательство. Когда начала отступать лондонская зима и дни стали удлиняться, он не стал писать романы, а вместо этого делал заметки для рассказов и создавал первые робкие наброски зачина. Преждевременная кончина сестры часто

---

[16] Сноски: 16

Уильям Дин Хоуэллс (1837–1920) — американский писатель и литературный критик; представитель «нежного реализма» в литературе США.

тревожила его мысли, и подробности ее странной жизни приходили ему на память, когда он меньше всего ожидал этого, усиливая его ощущение безвозвратности прошлого.

Ему вспомнился еще один вечер — сестре тогда было восемнадцать или девятнадцать лет. Он пришел домой с какой-то вестью — то ли о прослушанной лекции, которая могла заинтересовать его отца, то ли о своей очередной публикации. Полный радостных предвкушений, он открыл дверь, и тут же ему навстречу вышла тетушка Кейт и предупредила, что Алисе нездоровится.

Он сидел внизу и слышал, как Алиса зовет кого-то. Родители оба ухаживали за ней, а тетушка Кейт регулярно поднималась по лестнице, чтобы задержаться у двери в ее комнату или ненадолго присоединиться к родителям, а потом спускалась, чтобы вполголоса сообщить Генри, как обстоят дела. Генри не помнил, в каких именно словах описала она беду, приключившуюся с Алисой. Кажется, у нее случился приступ, а может быть, нервы расстроились, но он знал, что всю ночь родители по очереди приходили поговорить с ним, и он заметил их волнение из-за возникшей новой дилеммы. Их нервная дочь и ее странный недуг заслуживали их полного сочувствия и

внимания.

Той ночью, слушая неутихающие рыдания Алисы в комнате наверху и зная, что ее баюкают и утешают, Генри заметил также, что мать, которой Алиса часто пренебрегала из-за банальности ее домашних забот, теперь отчаянно нужна своей дочери, и при тусклом свете в старой гостиной, куда она спускалась, чтобы посидеть с Генри, казалось, что мать получает определенное удовлетворение оттого, что в ней так нуждаются.

Все было не тем, чем казалось. Он придумал для своего рассказа образ гувернантки — милейшей особы, умной и очень компетентной, взволнованной своими новыми непростыми обязанностями, заботами о подопечных — мальчике и девочке, о которых рассказал ему архиепископ. А еще его не отпускали видения матери и тетушки Кейт — вот они, встревоженные и измученные, одна из них с лампой в руке, входят к нему в гостиную, губы у матери поджаты, но глаза блестят и щеки разрумянились, и сидят вместе с ним, пока сверху доносятся приглушенные стоны и крики Алисы. Обе мрачно и прилежно сидят в своих креслах — куда более живые и куда более вовлеченные, чем ему доводилось видеть за много лет.

И еще видение: вот они с Алисой и тетушкой

Кейт в Женеве несколько лет спустя — тогда никто из них не осмеливался сказать Алисе или друг другу, что ее страдания кажутся почти преднамеренными.

Они пытались дать название ее болезни, и самое близкое описание, которое смогла найти мать, — это что Алиса страдала настоящей истерией. Генри понимал, что недуг ее неизлечим, поскольку она холила его и цеплялась за него, как за желанного гостя, в которого безнадежно влюблена. Пребывая в Женеве во время поездки по Европе, они, наверное, казались стороннему наблюдателю, а порой и самим себе редкостными образчиками жителей Новой Англии, прилежно любующихся достопримечательностями, наблюдающих Старый Свет умным и чувственным взглядом, братцем и сестрицей, что путешествуют вместе с тетушкой, коротая время, прежде чем где-нибудь осесть. Сестричка казалась ему тогда самой счастливой, самой остроумной и наиболее обнадеживающей.

Он вспоминал, как ежедневно после полудня они втроем ходили к озеру. Тетушка Кейт следила за тем, чтобы Алиса как следует отдыхала по утрам.

— Учебники географии умалчивают, — заме-

тила однажды Алиса во время такой прогулки, — что на озере есть волны. Придется теперь переписывать всю поэзию.

— С чего начнем? — спросил Генри.

— Напишу Уильяму, — ответила Алиса. — Он узнает.

— Тебе надо каждый день отдыхать, дорогая, и не следует писать слишком много писем, — заметила тетушка Кейт.

— А как же еще я смогу рассказать ему? — поинтересовалась Алиса. — Прогулки пешком утомляют сильнее, чем письма, а этот ваш свежий воздух, боюсь, меня убьет.

Она снисходительно улыбнулась тете, которая, как заметил Генри, нисколько не разделяла ее веселья по поводу смерти.

— Легкие любят отели, — сказала Алиса. — Они тоскуют по ним, особенно им нравятся фойе, лестницы, а также гостиные и спальни, если оттуда прекрасный вид, а окна заперты на щеколду.

— Ходи помедленнее, дорогая, — попросила тетушка Кейт.

Генри наблюдал, как Алиса подыскивает следующую реплику, которая повеселила бы его и возмутила бы тетушку Кейт, а потом, неспешно прогуливаясь, она на мгновение ощутила удо-

вольствие от своего молчаливого присутствия в их обществе.

— Сердце, — продолжила она вскоре, — предпочитает удобный, теплый поезд, а мозг взывает к океанскому лайнеру. Опишу это все Уильяму, как только мы вернемся в отель, и надо поторопиться, милая тетя, медленная ходьба — сущая анафема для памяти.

— Если бы Дороти Вордсворт[17] научила брата подобным премудростям, его поэзия была бы, наверное, куда более совершенной.

— А разве Дороти Вордсворт — не жена поэта? — удивилась тетушка Кейт.

— Нет, его женой была Фанни Браун[18], — сказала Алиса и лукаво улыбнулась Генри.

— Иди помедленнее, дорогая.

В тот вечер, когда она сошла к ужину, Генри отметил, как тщательно Алиса оделась и уложила волосы. Он знал, что для нее все могло бы сложиться иначе, будь она писаной красавицей, или не родись она единственной девочкой в семье,

---

[17] Сноски: 17

Дороти Вордсворт (1771–1855) — писательница, поэтесса, мемуаристка. Сестра поэта Уильяма Вордсворта, его близкий друг.

[18] Сноски: 18

На самом деле *Фанни* (Френсис) *Браун Линдон* (1800–1865) была невестой выдающегося английского поэта-романтика Джона Китса (1795–1821).

или не обладай она столь острым умом, или если бы ее детство было не настолько необычным.

— А могли бы мы отправиться в путешествие вокруг света — только мы втроем: останавливаться в чудесных отелях и писать домой письма, включая туда остроумные замечания, сделанные кем-то из нас? — спросила Алиса. — Можем мы уехать навсегда?

— Нет, не можем, — ответила тетушка Кейт.

Тетя Кейт, вспомнил Генри, взяла на себя роль строгой, но доброжелательной гувернантки, пекущейся о двух детишках-сиротах — послушном, вдумчивом и основательном мальчике Генри и девочке Алисе, взбалмошной, но также готовой выполнить то, что ей скажут. И все трое были счастливы эти несколько месяцев, до тех пор, пока не задумывались о том, что ждет Алису, когда они вернутся домой.

Глядя на них со стороны, никто бы не догадался, что Алиса уже превратилась в странного и остроумного инвалида. В их компании Алиса почти приблизилась к выздоровлению, но Генри знал, что, даже если и так, они не могут вечно странствовать по городам и весям. За этим улыбчивым лицом, за этой милой фигуркой, весело спускающейся по лестнице каждое утро, чтобы

встретиться с ними в вестибюле гостиницы, скрывалась тьма, готовая вырваться наружу, как только пробьет ее час.

К тому времени обреченность Алисы каким-то образом отразилась на всех аспектах ее существования и, несмотря на уравновешенные, счастливые деньки в Женеве, то, что ждало ее впереди, сложилось в историю, которая теперь очаровывала его и сбивала с толку, — о молодой женщине, кажущейся светлой и легкой, амбициозной и исполненной чувства долга, но вскоре ей суждено услышать леденящие кровь звуки в ночи и пугающие лица в окне и позволить дневным грезам превратиться в ночные кошмары.

Наихудшим стало для нее время перед самой женитьбой Уильяма и сразу после, когда она пережила тяжелейший свой нервный срыв и ее старые недуги дали о себе знать с новой силой. Уже в Англии, много лет спустя, она рассказала ему, что бóльшая часть ее умерла тогда. Тем отвратительным летом, когда Уильям женился на женщине — хорошенькой, практичной и необычайно здоровой, которую, что самое жестокое, тоже звали Алиса, — Алиса Джеймс погрузилась в морские глубины, и темные воды окутали ее и сомкнулись над ней.

Да, несмотря на ее страшные болезни, подрывающие остатки сил, она сохраняла странную умственную энергию. Ее поступки были непредсказуемы или преднамеренно исполнены иронии и противоречий. Когда умерла мать, вся семья с особым вниманием следила за ней, уверенная, что это непременно приведет к окончательному распаду. Генри оставался в Бостоне, пытаясь измыслить способы помочь ей и отцу.

Но у Алисы припадков больше не было. Она стала, насколько это возможно, умелой, послушной и любящей дочерью, с легкостью взялась за ведение домашнего хозяйства и общалась со всеми остальными членами семьи так, словно именно она держала все в руках. Однажды перед своим отъездом в Лондон он увидел, как она провожает гостя в холле, — сложив руки на груди, она просила его приходить снова, и глаза ее сияли. Он заметил, что ее теплая улыбка стала почти печальной, едва затворилась дверь. Все в ее облике в эту минуту — от позы до выражения лица, до жестов, когда она вернулась в коридор, — все было позаимствовано у матери. Генри видел, как ценой огромных усилий Алиса пытается быть хозяйкой дома.

В течение года скончался отец, и, как только

его похоронили, ее театр развалился. Она свела близкую дружбу с Кэтрин Лоринг, чей интеллект не уступал ее собственному и чья сила уравновешивала ее слабость. Мисс Лоринг стала ее компаньонкой, когда Алиса решила поехать в Англию, чтобы избавиться от чрезмерной заботы тетушки Кейт. Это был акт неповиновения и независимости и, конечно же, крик о помощи, обращенный к Генри. Она проживет еще восемь лет, но бóльшую их часть проведет главным образом в постели. Это было, как она часто говорила, просто сморщивание пустого горохового стручка, ожидающего итога.

Он вспомнил эти слова, пока ждал в Ливерпуле ее прибытия в Англию, и он знал, что ее упрямая целеустремленность и предпочтения, а также внушительное наследство от отцовского имения с помощью мисс Лоринг на некоторое время отсрочат этот итог. Он решил не потакать мысли о том, что она нарушит его одиночество и лишит плодотворности изгнание. И все-таки он испугался, увидев, как ее сносят по трапу корабля — беспомощную и больную. Когда он подошел к ней, она не могла говорить, только страдальчески закрыла глаза и отвернулась, когда ей показалось, что он хочет к ней прикоснуться.

Стало ясно, что ей не следовало путешествовать. Мисс Лоринг руководила размещением Алисы в подходящей квартире и поисками сиделки. У Генри возникло ощущение, что она так же зависит от беспомощности его сестры, как сама Алиса зависела от мисс Лоринг.

Она не желала выпускать мисс Лоринг из виду. Она лишилась семьи, утратила здоровье, но ее воля теперь объединилась с величайшей необходимостью иметь Кэтрин Лоринг исключительно в собственном распоряжении. Генри заметил, что состояние Алисы ухудшалось, вплоть до истерики, когда мисс Лоринг отсутствовала, но она спокойно, почти радостно ложилась в постель, стоило мисс Лоринг пообещать, что она останется и будет за ней ухаживать. Он написал об этой странной паре тетушке Кейт и Уильяму. Он старался выразить свою благодарность мисс Лоринг за ее преданность, такую щедрую и совершенную, но знал, что эта преданность зависит от того, останется ли Алиса прикована к постели. Генри не нравилась эта связь, не нравилось, что ее питало нездоровье. Он был недоволен унизительной зависимостью Алисы от ее самоотверженной подруги. Порой он даже верил, что мисс Лоринг причиняет вред его сестре, но не представлял,

кто в таком случае мог принести Алисе пользу, и в конце концов отступил.

Мисс Лоринг проводила с Алисой бóльшую часть суток — заботилась о ней, терпела ее, восхищалась ею так, как никто и никогда на свете. Алиса специализировалась на сильных суждениях и нездоровых разговорах, а мисс Лоринг, казалось, охотно слушала ее высказывания о смерти и удовольствиях, ей сопутствующих, об ирландском вопросе и беззакониях правительства, а также о мерзостях английской жизни. Когда мисс Лоринг уходила, пусть и очень ненадолго, Алиса печалилась и негодовала, что ей, сидевшей за одним столом с братьями и отцом — величайшими умами эпохи, — теперь только и осталось, что полагаться на поверхностное милосердие сиделки, которую наняла мисс Лоринг.

Генри навещал ее так часто, как мог, даже когда Алиса и мисс Лоринг снимали жилье за пределами Лондона. Иногда он слушал ее с интересом и восхищением. Она любила замысловатые шутки, силой своей личности превращая какое-нибудь маленькое недоразумение в нечто невероятно смешное. Например, ей очень нравилась тема преданности миссис Чарльз Кингсли своему

покойному мужу[19], и она имела склонность пересказывать эту историю снова и снова с негодующей насмешкой и требовала от посетителей согласия, что ее стоит начать пересказывать еще до того, как она закончила.

— Известно ли вам, — спросит она бывало, — что миссис Чарльз Кингсли чтила память своего покойного супруга?

Тут она делала паузу, как будто этого довольно и больше ничего сказано не будет. А затем, тряхнув головой, давала понять, что готова продолжать.

— Знаете ли вы, что она всегда сидела бок о бок с его бюстом? Нанося визит миссис Чарльз Кингсли, вам приходилось наносить визит и ее мужу. И они оба сердито на вас пялились.

Алиса и сама яростно зыркала на собеседников, словно изображая зло в чистом виде.

— Но это еще не все, — продолжала она. — Миссис Кингсли, ложась в постель, прикалывала фото своего покойного мужа на подушку рядом с собой!

Тут она закрывала глаза и смеялась — сухо и протяжно.

— О, добрый ночной сон миссис Чарльз Кингс-

---

[19] Сноски: 19

Чарльз Кингсли (1819–1875) — английский писатель и проповедник, один из основоположников христианского социализма.

ли! Можно ли представить себе что-нибудь более гротескное и отвратительное?

А еще были врачи. Их визиты и прогнозы вызывали у нее одновременно презрение и ликование, даже когда ей сообщили, что у нее рак. Малейшая глупая фраза какого-нибудь доктора обсуждалась несколько дней кряду. Однажды она объявила, что ее посетил сэр Эндрю Кларк со своей жуткой ухмылкой, словно эта жуткая ухмылка была хорошо известным придатком к нему. А потом, задыхаясь от смеха, рассказала историю о том, как один друг много лет назад долго ждал сэра Эндрю, а тот по прибытии представился, извинился за опоздание и сказал: «Будьте покойны!»

— И я сказала мисс Лоринг, пока мы его дожидались, что готова спорить на деньги, что спустя все эти годы, войдя в эту комнату, он произнесет ту же самую фразу. «Внимание!» — сказала я, и тут дверь открылась, вошел джентльмен в расцвете сил с жуткой ухмылкой на губах, и с этих губ слетело: «Сэр Эндрю Кларк. Будьте покойны!», словно он говорил это впервые, после чего последовал давно созревший всплеск веселья со стороны самого сэра Эндрю, даже перезревший, я бы сказала.

Она наблюдала за собой, с предвкушением

выискивая признаки умирания, казалось, она настолько же бесстрашна перед лицом смерти, насколько ее пугало все остальное. Она терпеть не могла священника, жившего в апартаментах этажом ниже, и делилась своими страхами, что, если ей станет совсем плохо среди ночи, он может явиться и отслужить при ее кончине до того, как его остановят.

— Ты только вообрази: открываешь глаза в последний раз и видишь этого священника, похожего на летучую мышь, — говорила она, величаво глядя куда-то вдаль. — Это совершенно испортило бы посмертное выражение лица, которое я тренировала годами! — Она горько хохотнула: — Как ужасно быть такой беззащитной.

С течением времени он понял, что его сестра больше никогда не встанет с постели, и сделал открытие: мисс Лоринг придерживалась такого же мнения. Она поклялась остаться с Алисой до конца. Эти бесконечные разговоры о «конце» тревожили его, и порой, наблюдая за общением этих двоих — перманентной пациентки и ее компаньонки, — таким веселым, шумным, оживленным, он чувствовал острую необходимость срочно оказаться подальше от них, сократить свое пребывание рядом с ними, возвратиться к

своему, тяжким трудом добытому уединению.

Пока Алиса жила в Англии, он написал два романа, и оба впитали своеобразную атмосферу мира, в котором пребывала сестра. Он понимал дилемму женщины эпохи реформ, женщины, разрывавшейся между правилами, в которых ее воспитали, и необходимостью менять эти правила, а также — и это была, по его мнению, еще более критическая дилемма — женщины, воспитанной в свободомыслящей семье и ограничивавшей свою свободу мышления, оставаясь респектабельной конформисткой во всех прочих отношениях. Приступая к написанию «Бостонцев», он без труда мог представить себе конфликт между двумя людьми, боровшимися за власть над третьим. Он сам пережил подобную, хоть и краткую, схватку с мисс Лоринг, пока не отступил и не оставил за ней поле боя. Во втором романе, «Княгиня Казамассима», также написанном после прибытия Алисы в Англию, он, сам того не осознавая, написал ее двойной портрет. В первой половине она была княгиней — утонченной, блестящей, обладающей мрачным могуществом, только что прибывшей в Лондон. В другой половине она, должно быть, себя узнавала: она была Рози Мьюниментт, лежачей больной, —

«прикованная к постели маленькая калека», «маленькая, старая, резкая, изувеченная, болтливая сестрица», «непоколебимое, яркое создание, словно бы отполированное болью».

Она читала все его работы и выразила свое огромное восхищение этим романом, ни разу не упомянув прикованную к постели сестру, которую очень не любят два главных героя. В своем дневнике она писала о деятельности Генри и об успехах Уильяма. «Это весьма неплохой показатель для одной семьи, — написала она, — особенно если я доведу себя до смерти, а это самая тяжкая работа из всех».

Таким образом, переехав в Лондон, Алиса, столько лет игравшая в умирание, начала умирать по-настоящему. Она страстно жаждала, как она сказала Генри, какой-нибудь осязаемой болезни и с огромным облегчением восприняла известие о том, что у нее рак. Ей было всего сорок три. Алисе приснилась лодка, которую швыряло по бурному морю, и, проплывая под черной тучей, она увидела свою умершую подругу Энни Диксвелл, которая оглянулась и посмотрела на нее. Алиса была готова отправиться к ней.

Генри и мисс Лоринг ухаживали за ней, пока она угасала, боли ее приглушались морфием.

Казалось, она ничуть не изменилась, и он думал, что вот так она, наверное, и ускользнет, умрет, как говорится, — и не заметит. Но смерть ее не была легкой.

Однажды он вошел к сестре в комнату и поразился произошедшей в ней перемене. Она была совсем плоха, дышала с трудом, а пульс ее, по словам мисс Лоринг, был слабым и прерывистым. Лихорадка сделала ее неразговорчивой, но время от времени у нее начинался страшный кашель — до рвоты, ее рвало и рвало, потом она падала без сил на подушки. Потом она пыталась что-то сказать, но кашель вернулся, выворачивая ее наизнанку, а после она утихла. Врач сказал, есть все основания считать, что это ее состояние может продолжаться не день и не два.

Генри не отходил от нее, отчаянно стараясь хоть как-то утешить. Он боялся за нее, уверенный, что, несмотря на все ею сказанное, она тоже боится. Каждое мгновение она могла уйти, и он ждал, зная, что ей нужно сказать что-то напоследок, прежде чем смерть поглотит ее.

А затем случилась новая перемена. Через несколько часов боль и мучения, казалось, утихли, кашель и даже жар отступили, а близость смерти еще сильнее заострила ее черты. Она не

спала. Он сидел у постели сестры, сожалея, что матери нет рядом, что она не может поговорить с ней, произнести те слова, что помогли бы ей, облегчили бы ее путь в мир иной. Он попытался представить себе, что мать находится в комнате, он почти прошептал свою просьбу: мама, приди, будь здесь, мама, помоги Алисе своей нежностью. Ему хотелось спросить сестру, чувствует ли она, что в комнате витает призрак их матери.

Было ясно, что ей осталось недолго, хотя Кэтрин Лоринг настояла, чтобы он не засиживался допоздна, и он согласился, что ничего не может сделать. Он собрался уходить. Но тут она снова заметалась в постели, не могла ни повернуться на бок, ни вдохнуть. А потом она прошептала что-то, и оба они — он и мисс Лоринг — пристально посмотрели друг на друга. Медленно, с явным усилием Алиса повторила громче, чтобы теперь они смогли ее расслышать.

— Еще один день я не выдержу, — сказала она. — Не просите, умоляю.

Эти слова помогли ему, когда он медленно брел по Кенсингтону к себе на квартиру. Он всегда боялся, что, когда придет конец, это окажется для нее самым ужасным, а все ее разговоры о желании умереть превратятся в обычную браваду. Он

почувствовал облегчение, что сестра говорила то, что на самом деле чувствовала. Он смотрел на нее, зная, что сам на ее месте пришел бы в ужас, но она была иной. Она не дрогнула.

Под покровом ночи, как рассказала ему Кэтрин Лоринг, она погрузилась в нежный сон. Заступая на дневное бдение у ее постели, он размышлял о ее снах и надеялся, что морфий сделал их золотистыми и разогнал весь мрак и страхи, клубившиеся вокруг ее жизни. Он так хотел, чтобы теперь она была счастлива. Но не мог заставить себя перестать желать, чтобы она снова начала дышать, вопреки всему, чтобы она не умирала. Он не мог представить ее мертвой, хотя так долго наблюдал ее умирание. Приехал доктор и отменил все назначения, поскольку она больше не нуждалась в дополнительной медицинской помощи.

Для Генри, в его почти пятьдесят, это была первая увиденная смерть. Он не присутствовал, когда умирали мать и отец. Он дежурил у материнской постели, но не был свидетелем ее последнего вздоха. Он описывал смерть в своих книгах, но ничего не знал об этом долгом дне ожидания, когда дыхание сестры становилось поверхностным, потом, казалось, затихало, а после

снова учащалось. Он силился представить, что происходит с ее сознанием, с ее великолепным остроумием, и чувствовал, что все, что от нее осталось, — прерывистое дыхание и слабеющий пульс. Не было ни воли, ни знания — просто тело, медленно сходящее на нет. И это вызывало в нем еще большую жалость к ней.

Его воображение всегда рисовало дом смерти как место безмолвное, неподвижное и настороженное, но теперь он знал, что тишины в этом доме нет, потому что воздух заполняли звуки дыхания Алисы — все изменения его интенсивности. Ее пульс участился, а затем ненадолго замер, но она еще не умерла. Он размышлял о том, так ли умирала их мать. Алиса единственная об этом знала, единственная, у кого он не мог спросить.

Он встал и коснулся ее, когда дыхание ее стало легче и выровнялось и она забылась спокойным сном. Это продлилось еще час. Она по-прежнему не была готова уйти, и он спрашивал себя, кто она теперь, которая ее часть еще существует в эти последние часы? Когда она перестала дышать, он встревоженно наблюдал. Несмотря на столько дней бдения у ее постели, он оказался не готов. Она снова вдохнула — трудно и поверхностно. Он снова пожалел, что матери нет рядом с ним,

что она не будет держать его за руку, когда Алиса наконец ускользнет. Мисс Лоринг начала считать ее вдохи — всего один вдох в минуту, сказала она. Когда настал конец, казалось, лицо Алисы прояснилось, и это было странно и трогательно. Он встал и подошел к окну, чтобы впустить в комнату немного света, а когда вернулся к постели, она вздохнула в последний раз. И в комнате наконец стало тихо.

Он остался рядом с ее телом, зная, что вот так безмятежно лежать в смерти — именно то, чего она жаждала. Она казалась красивой и величавой, и он верил, вопреки своим прежним сомнениям, что если бы она видела себя, свое тело, ожидающее кремации, то ощутила бы мрачное восхищение тем, чем она стала. Для него было очень важно, чтобы ее прах вернулся в Америку и упокоился в Кембридже[20], рядом с родителями. Его утешала мысль, что они не похоронят ее в Англии, не оставят ее в этой стылой земле вдали от дома.

Мертвые черты ее менялись с переменой света.

---

[20] Сноски: 20

То есть Кембридж в штате Массачусетс, около Бостона, на другом берегу реки Чарльз. Именно в Кембридже расположены Гарвардский университет (основан в 1636 г.) и Массачусетский технологический институт (основан в 1861 г.).

Она выглядела то юной, то старой, то измученной, то необычайно, исключительно красивой. Он улыбнулся ей — лежащей неподвижно, с бледным и осунувшимся, но изысканно прекрасным лицом. Он вспомнил, как она негодовала на тетушку Кейт, завещавшую ей теплую шаль и прочие мирские блага. Им с сестрой обоим суждено умереть бездетными, а все, чем они владели, принадлежало им, пока они были живы. У них нет прямых наследников. Оба отказались от помолвок, глубоких дружеских привязанностей, любовного тепла. Им никогда не хотелось всего этого. Он чувствовал, что их обоих отвергли, отправили в изгнание, оставили в одиночестве, в то время как их братья женились, а родители сошли в могилу друг за другом. Печально и нежно он погладил ее холодные, сложенные вместе руки.

Глава 4

Апрель 1895 г.

Однажды вечером, пока он трясся в пролетке на какой-то званый ужин, ему в голову пришла идея написать рассказ, в котором вся драма заключалась бы в особой и сильной привязанности между осиротевшими братом и сестрой. Он не сразу нарисовал себе портрет этой пары и не сразу представил конкретные обстоятельства, в которых они оказались. Все было так туманно и обрывочно, что вряд ли годилось даже для наброска в блокноте. Брат и сестра заключили союз симпатии и нежности, а это означало, что они считывали чувства и импульсы друг друга. Однако они друг друга не контролировали, скорее — слишком хорошо понимали. Смертельно хорошо, подумал он и записал это в блокнот, не имея четкого представления о сюжете или о происшествии, которое иллюстрировало бы эту сентенцию. Может, это было избыточно, но мысль о составном «я» не покидала его. Два существа с одной и той же чувствительностью, одним воображением, вибрирующие едиными нервами,

испытывающие одни и те же страдания. Две жизни, но почти один и тот же опыт. Например, оба остро переживали кончину родителей, безвозвратная потеря преследовала обоих, причиняя почти парализующие страдания.

Часто идеи посещали его вот так, случайно, без предупреждения. Часто они возникали в минуты, когда он был занят совершенно другими вещами. Эта новая идея рассказа о брате и сестре стала навязчивой, требовала от него немедленного воплощения на бумаге. Он не забывал о ней. В его воображении она оставалась по-прежнему свежей и ясной. Медленно, каким-то мистическим образом она начала сливаться с историей о привидениях, рассказанной ему архиепископом Кентерберийским, и постепенно он начал видеть нечто постоянное и явственное, как если бы процесс воображения сам по себе был призраком, мало-помалу обретающим плоть. Он видел их — брата и сестру, одиноких, отверженных, брошенных где-то в старом доме, давно забывшем, что такое любовь. У них общее сознание, одна душа, они одинаково страдают и в равной степени не готовы к великому испытанию, которое им уготовано.

Как только замысел окреп, зарождающийся

рассказ со всеми его ответвлениями сюжета и возможными последствиями вывел его из мрака неудачи. Теперь он был полон решимости трудиться гораздо больше. Он снова взялся за перо — то самое, что помнило все его усилия и священную борьбу. Именно сейчас, он был уверен, он создаст творение всей своей жизни. Он готов был начать заново, вернуться к старому высокому искусству художественного вымысла, и устремления его на этот раз были слишком чистыми и глубокими, чтобы облечь их в какое-либо высказывание.

Во время послеполуденного ничегонеделания он время от времени пробегал глазами страницы своего блокнота. Однажды он даже внутренне улыбнулся, увидев несколько строк, которые казались настолько многообещающими всего три года назад, что он позволил им заполнить его рабочий день и даже его мечты, те самые строки, что стали причиной долгих месяцев летаргии, от которой он пробуждался теперь. Он заставил себя прочесть их до конца:

> Ситуация с отпрыском жившего во время оно старинного венецианского семейства (забыл какого), который стал

монахом, а потом был чуть ли не силой забран из монастыря и водворен обратно в мирскую жизнь, чтобы его род не прервался. Он был *последним* – и было абсолютно необходимо, чтобы он женился. Надо как-то адаптировать это к современности.

Его взгляд быстро переместился на список имен — перечень призраков, взятых из некрологов и уведомлений о смерти, список персонажей и мест, названия, которые лежали мертвым грузом в блокноте или которые все еще можно было использовать. Он мог днями напролет вдыхать в них жизнь. *Биг — Вина (имя) — Дорин (тж.) — Пассмор — Траффорд — Норвал — Ланселот — Вайнер — Байгрейв — Хассон — Домвиль.* Последние семь букв были помещены на эту страницу безо всякой задней мысли. Он не мог вспомнить ни откуда взялась эта фамилия, ни каково точное происхождение всех предшествующих фамилий и имен. И не имел представления, почему это имя он использовал, а прочие — нет. Эта запись и это имя теперь казались такими далекими, и ему самому казалось невероятным, что его пьеса выросла из такого безнадежного начала

и, коль скоро ее заменили новой пьесой Оскара Уайльда, ее постиг столь же безнадежный конец.

Кончина родителей, как он думал, принесла ему некое странное облегчение. Возникло чувство, что это больше не повторится, мать могла упокоиться лишь однажды, и только один раз ее тело могло быть предано земле. И это событие, при всей его черной, жестокой печали, уже в прошлом. Со смертью родителей и долгим уходом Алисы он уверовал, что больше ничто не может его ранить. Посему провал на театральной сцене стал для него потрясением такой остроты и силы, с которыми он не ожидал столкнуться снова. Ему пришлось признать, что это было почти равносильно скорби, хотя и понимал: подобные признания сродни богохульству.

Он знал, что больше не потерпит унижений от театральной публики, — он посвятит себя, как и обещал, безмолвному искусству художественной прозы. Если бы он сейчас смог работать, его дни стали бы совершенством, полным наслаждения одиночеством и удовольствия от уже написанных страниц.

Вскоре после возвращения из Ирландии, когда он погрузился в рутину чтения, переписки и наведения домашнего порядка, его молодой друг

Джонатан Стерджес принес некую новость, а за ним последовал Эдмунд Госс, и с теми же самыми новостями. Они касались Оскара Уайльда.

За предыдущие месяцы Генри много думал об Уайльде. Две его пьесы до сих пор давали на Хеймаркет и в Сент-Джеймсе. Генри без труда подсчитал, сколько денег они ему приносят. Он писал об этом Уильяму, отмечая, что одним из новых явлений лондонской жизни стал вездесущий Оскар Уайльд — внезапно преуспевающий, а не абсурдный, внезапно трудолюбивый и серьезный, а не впустую растрачивающий свое и чужое время. Впрочем, Стерджес и Госс сообщили ему сведения, которых Генри не передал ни Уильяму, ни, конечно же, кому-то другому. Оба его друга обожали собирать и рассказывать свежие новости, и Генри позволил каждому думать, будто он явился первым. Ему не очень-то хотелось, чтобы оба узнали, как часто в стенах этого дома обсуждаются выходки Оскара Уайльда.

Еще до отъезда в Ирландию Генри слышал, что Уайльд потерял всякую осмотрительность. Он делал в Лондоне все, что заблагорассудится, и рассказывал об этом кому заблагорассудится. Он был повсюду, соря деньгами, выставляя напоказ свой новый успех и славу, а также сына маркиза

Куинсбери — юношу столь же глубоко неприятного, как и его отец, по мнению Госса, однако гораздо более миловидного, как позволил себе признать Стерджес.

Генри предположил, что новость, которую сообщили оба его посетителя, уже известна всем. Он слышал, что отношения между Уайльдом и сыном Куинсбери стали общим местом, но Стерджес и Госс, по-видимому, чувствовали, что они и еще кое-кто посвящены в подробности, а эти подробности, по их утверждению, были настолько ужасающи, что их едва ли можно было пересказать даже шепотом. Генри спокойно наблюдал за своими гостями, велел подать им чаю и внимательно выслушал их деликатные рассуждения о вещах, мягко говоря не очень деликатных.

Госс называл их «уличными мальчишками», но Стерджес позабавил Генри сильнее, упомянув вполголоса «молодых людей, чье местожительство не вполне постоянно».

— Он их нанимает, как вы нанимаете кэб, — наконец позволил себе Госс выразиться напрямую.

— За деньги? — невинно поинтересовался Генри.

Госс очень серьезно кивнул. Генри так и подмывало улыбнуться, но он тоже хранил се-

рьезность.

Его это не поразило и ничуть не шокировало. Все, что касалось Уайльда, с того самого момента, когда Генри впервые его увидел, даже когда они встретились в Вашингтоне у Кловер Адамс[21], предполагало глубочайшие залежи тайного и наслоения неизведанного. Поведай ему Госс и Стерджес, что Уайльд каждую ночь, переодевшись женой священника, раздает милостыню беднякам, это бы его ничуть не удивило. Он смутно припоминал рассказанные кем-то обрывочные сведения о родителях Уайльда, не то о безумии его матери, не то о ее революционных настроениях, а может — о том и о другом вместе, о распутстве его отца или, возможно, о *его* революционных настроениях[22]. Он полагал что

---

[21] Сноски: 21

Кловер Адамс (Мэриан Хупер Адамс, 1843–1885) — американская светская львица, хозяйка салона, неординарный фотограф-любитель; жена писателя и историка Генри Брукса Адамса.

[22] Сноски: 22

Мать Уайльда, Джейн Франческа Агнес Элджи, в замужестве Уайльд (1821–1896), действительно была неординарной личностью, очень образованной, чрезвычайно эмоциональной и пылкой, считала, что ее семья происходит от знатного итальянского рода Алигьери и называла себя потомком Данте, впрочем безосновательно. В юности Джейн Элджи участвовала в революционном движении «Молодая Ирландия» под именем Сперанца и была ярой патриоткой Ирландии. Отец великого писателя, офтальмолог и отоларинголог Уильям Уайльд (1815–1876), также был большим патриотом Ирландии, сделал блестящую карьеру, однако был обвинен в совращении юной пациентки;

в итоге его карьера рухнула, а он умер от алкоголизма.

Ирландия слишком мала для таких, как Оскар Уайльд, и все же тот всегда нес с собой непокорный ирландский дух. Даже Лондон не смог вместить одновременно его самого, две его пьесы и множество всевозможных слухов.

— А где жена Уайльда? — спросил он у Госса.

— Дома. Дожидается его с кучей неоплаченных счетов и двумя маленькими сыновьями.

Генри не смог нарисовать мысленный портрет миссис Уайльд, и вряд ли он вообще когда-нибудь встречался с ней. Он даже не знал, да и Госс тоже, ирландка она или нет. Но вот мысль о маленьких сыновьях — ангельской, как уверял Госс, наружности — больно его задела. Он вообразил двух ангелочков, ждущих возвращения своего чудовищного папаши, и подумал, хорошо, мол, что он не знает их имен. Он представлял, как они, знать не зная об отцовской репутации, все же медленно составляют о нем впечатление и тоскуют о нем, когда его нет рядом.

По мере того как до него доходили слухи, Генри полагал, что хорошо представляет себе Уайльдову натуру, но у него перехватило дыхание, и он молча прошелся по комнате, когда Госс рассказал, что Уайльд подал в суд на маркиза Куинсбери за то, что тот назвал его содомитом.

— Похоже, маркиз даже не знал, как пишется это слово[23].

— Он, как мне представляется, вообще не слишком силен в орфографии.

Генри стоял у окна и смотрел на улицу, словно ждал, что там внизу вот-вот появится Уайльд или маркиз собственной персоной.

Госс всегда умудрялся намекнуть, что его сведения поступают из самых высокопоставленных и надежных источников. Неким образом он давал понять, что связан с членами кабинета или офисом премьер-министра, а в особых случаях речь шла об информаторе, близком к самому принцу Уэльскому. Стерджес же, в свою очередь, опирался на самые свежие сплетни, полученные в клубе или от случайных, не слишком-то надежных собеседников, и не скрывал этого. В течение всех этих безумных недель визиты Госса и Стерджеса ни разу не совпали — и это большое везенье, думал Генри, потому что оба приносили совершенно одинаковые сведения.

Госс навещал его каждый день, Стерджес — только когда у него были новости, хотя с началом

---

[23] Сноски: 23

В феврале 1895 г. Альфред Куинсбери оставил в клубе визитную карточку с надписью «Оскару Уайльду, пародии на сомдомита», якобы нарочно сформулированную таким образом, чтобы избежать иска.

процесса Стерджес тоже начал приходить ежедневно. Всякий раз появлялось какое-то новое преувеличение или очередной фрагмент интриги. Госс встретил Джорджа Бернарда Шоу, и тот рассказал ему о своей встрече с Уайльдом, о том, что он остерегал его от подачи иска к маркизу Куинсбери. Уайльд согласился, сказал Шоу, что это было бы безрассудством, и все улеглось, но тут заявился лорд Альфред Дуглас, наглый и раздражительный, как описал его Шоу, и потребовал, чтобы Уайльд судился с его папашей, он набрасывался на всех, кто советовал Уайльду соблюдать осторожность, и настаивал, чтобы тот сию же минуту уехал с ним. Дуглас был багров от ярости, сказал Шоу, испорченный мальчишка. Но вот что странно — Уайльд, казалось, находился в полной его власти, следовал за ним по пятам и, похоже, уступил его настояниям. Он просто таял от жаркого гнева этого юнца.

Стерджес первым принес сообщение о том, что́ маркиз Куинсбери намеревался рассказать суду.

— У него, как мне сказали, имеются свидетели. Свидетели, которые не пощадят нас и раскроют все подробности.

Генри вгляделся в молодое лицо Стерджеса, его широко раскрытые глаза. Ему хотелось похлопать

его по плечу и сказать, что он охотно выслушает все подробности, как только они станут достоянием гласности, и что он не хочет пощады.

История Уайльда заполнила дни Генри. Он читал все, что печаталось об этом деле, и с нетерпением ждал новостей. Он писал о процессе Уильяму, давая понять, что не испытывает никакого уважения к Уайльду, что ему не нравятся ни его произведения, ни его деятельность на сцене лондонского высшего общества. Уайльд, настаивал он, никогда не был ему интересен, но теперь, когда тот отбросил всякую осторожность и, казалось, был готов превратить себя в публичного страстотерпца, этот ирландский драматург начал вызывать у него огромнейший интерес.

— Я слышал новость чрезвычайной важности, — выпалил Госс, не успев даже присесть и покачиваясь на ходу, словно у него под ногами палуба корабля. — Уверен, что папаша Дугласа представит немало прохвостов. Чумазая беспризорщина будет давать показания против Уайльда, и, как мне сообщили, свидетельства будут неопровержимыми.

Генри знал, что нет нужды задавать вопросы. Да и в любом случае он не знал, в какую форму облечь вопрос, который надо бы задать.

— Видел я имена этих свидетелей, — театрально закатил глаза Госс, — сколько же там ничтожеств! Судя по всему, Уайльд якшался с ничтожествами, ворами и шантажистами. Может, тогда цена и казалась небольшой, но теперь это, похоже, дорого ему обойдется.

— А что же Дуглас? — спросил Генри.

— Говорят, он замешан по самые уши. Но Уайльд хочет, чтобы он держался от этого подальше. Похоже, наигравшись со своими юными приобретениями, он передаривал их Дугласу и бог знает кому еще. Оказывается, существует список тех, кто снимал этих мальчишек.

Генри заметил, что Госс наблюдает за ним, ожидая реакции.

— Отвратительно, — сказал он.

— Да, список, — повторил Госс, как будто Генри ничего и не говорил.

Ни Стерджес, ни Госс не посещали заседаний суда, но оба, казалось, наизусть знали все обмены репликами. Уайльд, по их словам, держался самонадеянно и высокомерно. Он говорил так, утверждал Стерджес, будто сжигал все мосты, поскольку собирался уехать во Францию. Он был остроумен и надменен, беспечен и полон презрения. Всегдашние источники Госса однажды

вечером доложили, что Уайльд уже отчалил, но на следующий день выяснилось, что ничего подобного, и Госс предпочел об этом не упоминать. Тем не менее оба информатора Генри не сомневались, что Уайльд уедет во Францию, и у обоих имелись имена беспризорников, которые давали показания, и каждого они описывали как личность со своим характером и собственным досье.

На третий день процесса Генри заметил новую напряженность в голосах и Госса, и Стерджеса. Накануне они, независимо друг от друга, не спали допоздна и обсуждали дело. Ждали, пока не доведались, что Уайльд в тот день появился в суде, а значит, они могли прийти со свежими новостями. Госс провел часть предыдущего вечера с поэтом Йейтсом, который, как сказал Госс, единственный среди тех, с кем он говорил, восхищался Уайльдом и хвалил того за мужество. Поэт обрушился на публику, клеймя ее лицемерие, сообщил Госс.

— Я не знал, — прибавил он, — что публика любит возиться в сточной канаве, я так и сказал Йейтсу.

— Он знаком с Уайльдом? — спросил Генри.

— Все ирландцы заодно, — ответил Госс.

— Но хорошо ли он его знает? — настаивал

Генри.

— Он поведал мне удивительную историю, — сказал Госс. — О том, как однажды провел с Уайльдами Рождество. Дом, говорит, был еще краше, чем про него рассказывали, — весь белый, повсюду диковинные и красивые вещицы. А самой главной красотой в этом доме была сама миссис Уайльд — умная и весьма привлекательная, если верить Йейтсу. А еще два кудрявых мальчугана — воплощение невинности и очарования, совершенные создания. Все было превосходно, говорит, и дом — само совершенство, и там царит не только отличный вкус, но и величайшая теплота, красота и великая любовь.

— Выходит, недостаточно великая, — сухо заметил Генри. — Или, пожалуй, чересчур.

— Йейтс намерен нанести ему визит, — сказал Госс. — Я пожелал ему удачи.

Стерджес внимательно слушал, когда Генри впервые коснулся того, что рассказал ему Госс.

— Совершенно ясно, — сказал Стерджес, — что Бози — любовь его жизни. Он все бросит ради него. Уайльд нашел любовь своей жизни.

— Тогда почему он не увезет его во Францию? — спросил Генри. — Там таких людей принимают нормально.

— Он все еще может уехать во Францию, — заметил Стерджес.

— Невозможно объяснить тот факт, что он не сделал этого до сих пор, — сказал Генри.

— Мне кажется, я знаю почему, — ответил Стерджес. — Я много раз обсуждал это с теми, кто хорошо его знает или хотя бы думает, что хорошо его знает, и думаю, я понял.

— Пожалуйста, объясните, — попросил Генри, усаживаясь в кресло у окна.

— За один только короткий месяц, — медленно произнес Стерджес, словно заранее обдумывал следующее предложение, — он сидел в зрительном зале на премьере двух своих пьес, пережил триумфы, всеобщие похвалы и лицезрел свое имя, напечатанное огромными буквами. Это любого выбило бы из колеи. Никто не может осуждать человека, который только что опубликовал книгу или поставил пьесу.

Генри промолчал.

— А тут еще, — продолжал Стерджес, — он побывал в Алжире, и можете себе представить, слухи о некоторых его похождениях просочились и к нам. Похоже, ни он, ни Дуглас не ведали стыда, якшаясь с местными племенами, и возбуждение, должно быть, свело с ума и самого Уайльда, и,

конечно, местных, не говоря уже о ком-то еще.

— Могу себе представить, — кивнул Генри.

— А когда он вернулся, ему негде было жить, он скитался по гостиницам, и к тому же без гроша в кармане.

— Этого быть не может, — возразил Генри. — Я подсчитал его доходы в театре. Они очень высоки.

— Бози потратил их за него, — ответил Стерджес. — Да еще и задолжал слишком много. Уверен, у Оскара нет денег даже на то, чтобы оплатить номер в гостинице, и управляющий захватил все его пожитки как залог.

— Это не мешает ему уехать во Францию, — сказал Генри. — Мог бы купить там новые вещи, и даже получше прежних.

— Он абсолютно сорвался с якоря, стал неспособен мыслить здраво, — сказал Стерджес. — Неспособен принимать решения. Успех, любовь, отели — все это слишком для него. К тому же он уверен, что его отъезд станет ударом для Ирландии, и с этим я ничего не могу поделать.

Как только слушания завершились, для Госса стало совершенно очевидно, что, если Уайльд не сбежит, его арестуют. По словам Госса, полиции известно, где Уайльд находится, и с каждым ча-

сом возрастала вероятность, что ему предъявят обвинение в непристойном поведении, а то и в чем похуже, учитывая свидетелей, повылезавших из сточных канав Лондона.

— Помните, я говорил вам про список? И теперь в городе царит страх, а правительство, как мне сообщил весьма авторитетный источник, решительно настроено покончить с разгулом непристойности. Боюсь, последуют и другие аресты. Я даже слышал некоторые фамилии и был весьма шокирован.

Генри наблюдал за Госсом, обращая внимание на модуляции его голоса. Внезапно его старый друг превратился в ярого сторонника искоренения непристойности. Жаль, в комнате не было какого-нибудь француза, чтобы охладить пыл Госса, поскольку друг его, кажется, влился в воинственные ряды английской общественности, охваченной угаром фарисейства. Ему хотелось предостеречь его, что это пагубно отразится на стиле его прозы.

— Вероятно, временное одиночное заключение поможет Уайльду, — сказал Генри. — Но не мученичество. Такого никому не пожелаешь.

— Очевидно, Кабинет обсудил список, — продолжил Госс. — Полиция, похоже, уже опрашива-

ет людей и многим посоветовали пересечь Канал. И я уверен, пока мы с вами тут беседуем, многие уже сели на пароход.

— Да, — согласился Генри. — И помимо морального климата они найдут там диету получше нашей.

— Пока неясно, кто находится под подозрением, но ходит много слухов и предположений, — прибавил Госс.

Генри заметил, что Госс тайком за ним наблюдает.

— Думаю, каждому, кто был, так сказать, скомпрометирован, следует отправиться в путешествие как можно скорее. Лондон — большой город, и многое может происходить в нем тихо и тайно, но теперь тайна выплыла наружу.

Генри встал, подошел к книжному шкафу, расположенному между двух окон, и принялся рассматривать книги на полках.

— Я тут подумал, если вы, возможно… — Госс умолк.

— Нет, — резко обернулся к нему Генри. — Не думайте. Не о чем тут думать.

— Что ж, это большое облегчение для меня, должен признаться, — тихо пробормотал Госс, вставая.

— Так вы пришли, чтобы спросить об этом? — Генри впился взглядом в лицо Госса, и взгляд его был прямым и достаточно враждебным, чтобы предотвратить какой-либо ответ.

Стерджес продолжал навещать Генри и тогда, когда Уайльда уже заключили под стражу до вынесения приговора и всякая возможность его побега во Францию исчезла.

— Говорят, его мать торжествует, — сказал Стерджес. — Она уверена, что он нанес жесточайший удар Империи.

— Трудно представить, что у него есть мать, — сказал Генри.

Генри спрашивал и у обоих своих визитеров, и у всех, с кем общался за эти недели, знает ли кто-нибудь, что сталось со златокудрыми детишками, чье имя было опорочено навеки. Отличился Госс.

— Он теперь банкрот, однако его жена — нет. У нее есть собственные деньги, и она перебралась в Швейцарию, насколько мне известно. Она сменила фамилию себе и сыновьям. Фамилию отца они больше не носят.

— А знала ли она до суда, чем занимается ее муж? — спросил Генри.

— Нет, насколько я понял, не знала. Это был для

нее огромный удар.

— А что знают мальчики?

— Этого я не могу вам сказать. Я не слышал, — сказал Госс.

День-деньской он думал о них, настороженных, прекрасных созданиях, оказавшихся в стране, на языке которой не понимают ни слова, — их имена стерты, а отец повинен в каком-то мрачном, неназванном преступлении. Генри представил их в замкообразных швейцарских апартаментах, в комнатах наверху с видом на озеро, их няню, отказывающуюся объяснить, зачем они проделали такой долгий путь, почему вокруг так тихо, почему мама держится от них наособицу, а потом вдруг крепко прижимает к себе, словно им угрожает опасность. Он думал, как мало им нужно сказать друг другу об окружающих демонах, об их новом имени, о колоссальной изоляции, о тектоническом сдвиге, который привел к их каждодневному одиночеству в этих промозглых комнатах, будто в ожидании неминуемой катастрофы, о призрачной памяти отца: вот они карабкаются по ступенькам, а он стоит на голой, полуосвещенной лестничной площадке и улыбается им, и манит из тени.

Когда Уайльду вынесли приговор и взбала-

мученный ил мрачного лондонского дна осел, отношения Генри с Эдмундом Госсом вернулись в прежнее русло, потому что и сам Госс стал прежним. Сразу же после того, как Уайльда заключили в тюрьму, Госс перестал вещать как член палаты лордов.

Однажды днем, когда они сидели у Генри в кабинете и пили чай, вдруг всплыла одна старая тема, так сильно занимавшая мысли Генри. Речь зашла о Джоне Аддингтоне Саймондсе[24] — друге Госса, с которым тот вел постоянную переписку, умершем двумя годами ранее. Из всех тех, заметил Генри, кто упивался каждым мгновением дела Уайльда, ДжАС, как он его величал, был бы самым активным и заинтересованным. Ради этого он бы непременно вернулся в Англию.

— Он бы, конечно, возненавидел Уайльда, — сказал Госс. — За вульгарность и грязь.

— Да, — терпеливо ответил Генри, — но его бы захватило то, что вышло наружу.

Саймондс жил главным образом в Италии и с большой, пожалуй, даже чрезмерной чувственностью писал о ее ландшафтах, искусстве и

[24] Сноски: 24

Джон Аддингтон Саймондс (1840–1893) — английский писатель, поэт, переводчик, литературный критик, искусствовед; одним из первых открыто защищал права приверженцев однополых отношений.

архитектуре. Он сделался знатоком итальянского света и итальянской колористики, но помимо этого он стал экспертом в другом, более щекотливом вопросе, который он называл «проблемой древнегреческой этики», — вопросе любви между двумя мужчинами.

Десять лет назад Генри и Госс обсуждали Саймондса так же ненасытно, как обсуждали Уайльда во время судебного процесса. В то время Госс не так свободно вращался среди сильных мира сего, и между ними существовало негласное понимание, что озабоченность Саймондса касается каждого из них лично, — понимание, которое с годами уменьшалось.

В восьмидесятые годы Саймондс в письмах из Италии не скрывал своих пристрастий. Он писал откровенные послания всем своим друзьям и многим из тех, кто его друзьями не являлся. Он разослал свою книгу на упомянутую тему всем, кто мог, по его мнению, инициировать дебаты. Многие получившие книгу были возмущены и пристыжены. Саймондс хотел вывести эту тему из тени на свет, открыто ее обсуждать, и это, как заметил Госсу Генри тогда, был явный признак того, что он слишком долго не был в Англии, перегрелся за столько лет на итальянском солнышке.

Госс интересовался общественной жизнью и хотел обсудить последствия того, что говорил Саймондс, для законодательства и общественных взаимоотношений. А Генри, со своей стороны, был очарован Саймондсом. К тому времени Генри получил от него несколько писем об Италии, а несколькими годами ранее случайно оказался за обедом рядом с женой Саймондса. Он помнил, что она в основном молчала, была особой довольно скучной, и когда Генри заинтересовался ею в связи с ее супругом, то не смог припомнить ни единого сказанного ею слова.

Однако она произвела на него впечатление человека с твердыми взглядами, незыблемыми установками, и по мере того, как Госс продолжал рассказывать ему о Саймондсе, Генри, словно художник, начал работать над воображаемым портретом миссис Саймондс. Она, по словам Госса, не испытывала ни малейшей симпатии к тому, что сочинял ее муж, не одобряла восторженный тон, которым он описывал Италию, ее ужасала его гиперэстетическая манерность, и, наконец, она ненавидела всю эту его озабоченность любовью между мужчинами. По словам Госса, она изначально была косной, узкой, холодной кальвинисткой, и ее искания нравственной

цели были столь же болезненны, сколь и поиски абсолютной красоты, которым посвятил себя ее муж. Госс утверждал, что супруги усугубляли друг друга и с течением времени миссис Саймондс все больше алкала вретища, а ее супруг тосковал по древнегреческой любви.

Госс в своих праздных разговорах о Саймондсах даже не осознавал, насколько Генри увлекся. В любом случае, рассказ явился Генри настолько быстро и легко, что у него просто не было времени сказать об этом Госсу. Он взялся за дело.

А что, если бы у подобной пары был ребенок — мальчик, впечатлительный, умный, внимательный к окружающему миру и глубоко любимый обоими родителями? Какое воспитание получил бы этот ребенок? Какое отношение к жизни ему привили бы? Он слушал Госса и задавал вопросы, а из ответов начал конструировать сюжет рассказа. Его первые идеи впоследствии показались ему слишком радикальными, так что он отказался от амбиций родителей насчет их сына — одна мечтала, чтобы сын посвятил себя церкви, а другой, то есть отец, хотел сделать из сына художника. Вместо этого он сделал идею более драматичной — мать просто хотела спасти душу сына, а для этого ей нужно было оградить

его от писаний отца.

Поначалу он раздумывал, а не вырастить ли ему этого мальчика неотесанным невеждой, максимально далеким и от надежд матери, и от честолюбивых замыслов отца. Но, работая в одиночестве, вне бесед с Госсом, он решил иметь дело только с мальчиком, а временны́е рамки рассказа сделать максимально сжатыми и драматическими. А еще нужно ввести постороннего, американца. Пусть это будет поклонник отцовского творчества, один из немногих, кто понимает его истинный гений. Отца, решил он, можно сделать поэтом или романистом, или и тем и другим. Американца очень любезно принимают, он остается бок о бок с семейством несколько недель, и эти недели совпадают с болезнью и смертью ребенка. Американец понимает то, о чем не догадывается отец, — ночью у постели больного ребенка мать втайне решила, что будет лучше, если ее мальчик умрет. И она смотрела, как он гибнет, держа его за руку, но ничего не делая, и позволила ему угаснуть. Американец не способен передать эту информацию автору, которым он так восхищается.

Генри набросал костяк рассказа за одну ночь, сразу после ухода Госса, а потом работал стабиль-

но, ежедневно. Он знал, что эта тема требует невероятной деликатности подхода, и все равно, возможно, она покажется чудовищной и неестественной. Однако история его заинтриговала, и он решил попытаться, поскольку общая идея — морального разложения, пуританства, невинности — была также чрезвычайно интересна и во многом типична для определенных современных ситуаций.

Он вспомнил, как перепугался Госс, когда рассказ появился на страницах журнала «Инглиш иллюстрейтед». Тот сказал, что большинство узнает Саймондсов, а кто не узнает — вообразит, что речь идет о Роберте Льюисе Стивенсоне. Генри сказал ему, что рассказ написан и опубликован; он ни на миг не задумывается, увидит ли кто-то в его героях себя или других. Госс продолжал нервничать, зная, какой большой вклад внес в его создание. Он настаивал, что писать рассказы, используя фактический материал и реальных людей, нечестно, странно и в некоторой степени подло. Генри не желал его слушать. Госс в отместку перестал делиться с ним своим обычным запасом сплетен.

Впрочем, вскоре его друг забыл о своих возражениях против искусства художественного

вымысла как дешевой имитации настоящего и истинного и опять начал рассказывать Генри новости, которые ему удалось собрать со дня последней их встречи.

Когда Стерджес рассказал Генри, что жена Уайльда приехала из Швейцарии лично сообщить мужу-арестанту о смерти его матери, он снова задумался о судьбе детей, рожденных в союзе противоборствующих сил.

Перед мысленным взором его возникла картина: он и Уильям у окна отеля «Экю» в Женеве. Тогда ему было двенадцать, а Уильяму — тринадцать, и время, проведенное ими в Швейцарии, казалось ему вечностью скорби: бесконечные часы скуки, грязные улицы, дворы и переулки, черные от старости.

Он представил себе сыновей Уайльда, с чужими именами, с неизведанной судьбой, как они смотрят в окно вслед уходящей матери. Он спрашивал себя, чего они боялись больше всего с наступлением ночи — двое испуганных детей в неумолимом городе, с его густыми и мрачными тенями, два малыша, не понимающие до конца, почему мама покинула их, оставив на попечение слуг, во власти безымянных страхов, едва уловимых знаний и памяти о злодее-отце, которого

изолировали от мира.

Глава 5

Май 1896 г.

Болела правая рука. Когда он спокойно писал, не делая росчерков, то не чувствовал даже легкого дискомфорта, но когда прекращал писать, когда просто шевелил кистью — брался за дверную ручку, например, или брился, — то ощущал мучительную боль в запястье и в районе кости, идущей к мизинцу. Поднять со стола лист бумаги для него теперь стало чем-то вроде пытки средней тяжести. Уж не повеление ли это богов, думал Генри, чтобы он не переставал писать, не выпускал перо из пальцев?

Каждый год с приближением лета им овладевала одна и та же настойчивая, безотчетная тревога, рано или поздно перерастающая в панику. Поскольку трансатлантические путешествия стали более легкими и комфортабельными, популярность их тоже выросла. С течением времени его многочисленные кузины и кузены, казалось, обзавелись множеством собственных кузенов и кузин, а друзья — сонмами новых друзей. В Лондоне все они желали посетить Тауэр, Вестмин-

стерское аббатство и Национальную галерею, а со временем и его имя было внесено в этот список великих местных памятников, которые необходимо обозреть. Когда вечера стали более долгими и ласточки вернулись с юга, к нему косяками потянулись письма — письма-рекомендации и, как он их называл, письма-дерзновения от самих туристов, уверенных, что их визит будет лишен должного блеска, если они упустят исключительную возможность встретиться со знаменитым писателем и не воспользуются благом его общества и его советами. Если его ворота окажутся для них заперты, подразумевалось в их письмах — на самом деле они часто настаивали и умоляли, — они не получат полного удовлетворения, ибо их деньги будут потрачены зря, а это, как ему открылось, становилось все более и более важным для его соотечественников на исходе столетия.

Он вспомнил одну сцену, записанную им в блокноте в прошлом году. С тех пор она не выходила у него из головы. Джонатан Стерджес рассказал ему о встрече в Париже с Уильямом Дином Хоуэллсом, которому было под шестьдесят. Хоуэллс сказал Стерджесу, что не узнает города, все здесь для него ново и каждое впечатление он испытывает впервые. Хоуэллс выглядел пе-

чальным и задумчивым, будто намекая, что для него уже слишком поздно, он на склоне жизни и теперь ему остается лишь впитывать ощущения и сожалеть, что молодость прошла без них. А потом, в ответ на какую-то фразу Стерджеса, Хоуэллс положил руку ему на плечо и воскликнул:

— О, вы же так молоды! Живите и радуйтесь жизни, живите на полную, большая ошибка этого не делать. Не так уж и важно, что именно вы делаете, — просто живите.

Стерджес по ролям разыграл их диалог и вложил в его слова странный и жалостный призыв, внезапный трагический всплеск, словно Хоуэллс впервые говорил правду. Генри знал Хоуэллса тридцать лет и регулярно с ним переписывался. Когда бы Хоуэллс ни приехал в Лондон, он чувствовал там себя как дома, как повидавший мир космополит. Генри крайне удивило тогда, что своей реакцией на Париж Хоуэллс создал у Стерджеса впечатление, будто он вообще не жил и ему уже поздно начинать.

Генри хотел бы, чтобы его американские гости чувствовали себя в Лондоне так, как Хоуэллс в Париже. Чтобы эти визиты вызывали в них благоговейный трепет или сожаление или заставляли бы понимать мир и свое место в нем, как никогда

прежде. А вместо этого он выслушивал от них, что, дескать, таких тауэров и в Соединенных Штатах полно, а некоторые их исправительные учреждения уж по крайней мере размерами выгодно отличаются от лондонского Тауэра. И кстати, их река Чарльз, похоже, куда лучше служит своей цели, нежели Темза.

И тем не менее каждое лето он с интересом созерцал Лондон глазами своих визитеров, воображал, будто он один из них, будто видит Лондон впервые, так же, как представлял жизнь, которой мог бы жить, когда ездил в Италию и обратно в Соединенные Штаты. Новый уличный пейзаж, даже одно-единственное здание могли наполнить его мыслями о том, кем он мог бы стать, кем он мог бы быть сейчас, если бы остался в Бостоне или проводил свои дни в Риме или Флоренции.

В детстве для него и для Уильяма, а возможно, и для Уилки с Бобом или даже для Алисы причины переезжать из Парижа в Булонь, или из Булони обратно в Лондон, или вообще из Европы назад в Соединенные Штаты никогда не казались такими прочными, как вечное беспокойство их отца, его сильнейшее возбуждение, которого они так никогда и не смогли понять. Все его детство семья Генри обретала пристанище только

затем, чтобы вскоре снова быть вырванной с корнем, или, поселившись, как это часто бывало, в неудачном жилище, они сидели на чемоданах, ожидая скорого отцовского объявления, что им опять придется уехать. Это вызывало у Генри острую жажду защищенности и оседлости. Он не мог понять, зачем его семья перебралась из Парижа в Булонь. Ему было двенадцать или тринадцать лет, и, наверное, тогда грянул кризис на фондовой бирже, или какой-то арендатор не внес арендную плату, или пришло тревожное письмо о дивидендах.

Живя в Булони, они часто гуляли с отцом по берегу моря. Генри запомнилась одна из таких прогулок — безветренный и спокойный день в начале лета, уходящее вдаль песчаное пространство, широкая морская гладь. Они зашли в кафе с большими прозрачными окнами и посыпанным отрубями полом, что, по мнению Генри, придавало ему шарм цирковой арены. В кафе было пусто, не считая пожилого господина, с перекошенным лицом ковырявшегося в зубах, и еще одного посетителя, макавшего булочки с маслом в кофе и, к вящему восторгу Генри, уничтожавшему их в крошечном промежутке между носом и подбородком. Уходить Генри не хотелось, но отец

настаивал на ежедневной прогулке по пляжу, посему пришлось лишиться удовольствия созерцать пищевые обычаи французов.

Должно быть, отец что-то рассказывал, пока они шли домой. Во всяком случае, перед его мысленным взором сейчас предстал яркий образ — бурно жестикулируя, Генри Джеймс-старший обсуждает какую-то лекцию, книгу или новый круг идей. Ему нравилось слушать отца, особенно если рядом не было Уильяма. Они не шли по мелководью и вообще не подходили к волнам слишком близко. Ему запомнилось, что шли они очень быстро. Возможно, у отца в руках даже была трость. Это была картинка счастья. И для стороннего зрителя она, наверное, такой и осталась — идиллической сценкой общения отца и сына, беззаботно гуляющих вместе поздним утром по пляжу в Булони. В море купалась какая-то женщина — молодая женщина, за которой присматривала женщина постарше, сидя на песке. Купальщица была дама дородная, даже, пожалуй, чересчур, но элементы купального костюма надежно защищали ее телеса. Она очень умело плыла, позволяя волнам вынести себя на берег. Затем она стояла в море спиной к берегу и плескала руками по воде. Генри не обратил на

нее внимания поначалу, когда отец остановился и сделал вид, что ищет глазами некую точку далеко на горизонте. Затем отец в полном молчании сделал несколько рассеянных шагов вперед и повернулся, чтобы снова обшарить взглядом горизонт. На этот раз Генри сообразил, что отец рассматривает купальщицу, изучает ее яростным, голодным взглядом, а потом отворачивается к невысоким дюнам у него за спиной и притворяется, что они интересуют его в той же степени.

Когда отец отвернулся в очередной раз и направился в сторону дома, он затаил дыхание и молчал. Генри хотел придумать отговорку, чтобы побежать вперед, оторваться от него, но затем отец снова повернулся, и выражение лица у него было оживленное, лицо покрылось пятнами, а взгляд стал колючим, словно от злости. Теперь отец застыл на берегу и, дрожа от возбуждения, разглядывал пловчиху, стоявшую спиной к нему в облегающем ее тело купальном костюме. Отец больше не прилагал усилий, чтобы казаться небрежным. Его взгляд был преднамеренным, целенаправленным, но никто другой этого не заметил. Женщина не оборачивалась, ее компаньонка уже удалилась. Генри знал, что для него было важно сделать вид, что ничего особенного в

этом нет. Не было и речи о том, чтобы упомянуть или как-то прокомментировать все это. Отец не шевелился и, казалось, не замечал его присутствия, но, должно быть, знал, что он здесь, думал Генри. Как бы там ни было, он слишком упивался разглядыванием купальщицы, чтобы обращать внимание на сына. Наконец, развернувшись, отец направился в сторону дома. И все время оглядывался на ходу с затравленным видом неудачника. А женщина снова уплыла в море.

Генри любил мягкость красок на побережье вблизи Рая[25], любил переменчивый свет, сливочные облака, плывущие по небу словно с какой-то целью, известной лишь им одним. Последние годы он летом всегда приезжал сюда. И это лето не стало исключением. Он шел быстрым шагом, пытаясь хоть раз насладиться днем, ничего не загадывая, но не переставал спрашивать себя, чего же он хочет сейчас, и отвечать, что хочет самого большего — спокойной работы, спокойных дней, маленький и красивый дом и этот мягкий летний свет. Перед отъездом из Лондона он купил себе велосипед, который теперь

[25] Сноски: 25

Рай — небольшой исторический город в Англии, расположенный вблизи морского побережья в графстве Восточный Суссекс.

лежал, дожидаясь его, на тропинке, ведущей к пляжу. Он поймал себя на том, что даже не хочет возвращать прошлое, что научился не просить об этом. Его мертвые не вернутся. Избавившись от страха, что они умрут, он испытал странное удовлетворение и теперь как будто хотел только одного — чтобы время замедлилось.

Каждое утро он стоял на террасе и жалел, что не имеет возможности запечатлеть эти мгновения красоты и сохранить их при себе.

Мощеная терраса была изогнута, словно нос корабля, и с нее открывался чудесный вид, одновременно чистый и переменчивый, как морской простор. А внизу раскинулось местечко Рай — самое неанглийское во всей Англии — с красными черепичными крышами, меандрами мощеных булыжниками улиц и сгрудившимися на них домами. Типично итальянский городок на холме, он обладал особой атмосферой — чувственной и одновременно аскетичной. Теперь он ежедневно гулял по улочкам Рая, разглядывая дома, лавочки с решетчатыми переплетами витрин, квадратную колокольню, выдержанную красоту кирпичной кладки. А дома Генри ждала терраса — его оперная ложа, из которой он мог обозревать все царства мира. Его терраса, ду-

мал он, дружелюбна, как человек, и даже более дружелюбна. Он сожалел, что не может купить этот дом, и уже начал роптать по поводу планов владельца вернуть себе дом в начале июля.

В июне ночей почти не было. Он допоздна задерживался на террасе, пока медлительный туман наползал на долину и опускалась мягкая, прозрачная мгла. А спустя несколько часов уже начинал брезжить рассвет. Его единственный гость в эти дни праздности и трудолюбия еще раз написал, подтвердив даты своего приезда и отъезда. Оливер Уэнделл Холмс-младший[26] был его старым другом, теперь отдалившимся, частью группы единомышленников, молодых людей, которых он знал по Ньюпорту и Бостону. Уже в тридцать с небольшим они стали выдающимися людьми и теперь оказывали ведущее влияние на эпоху. Когда они приезжали в Англию, то казались ему непостижимыми — такие уверенные, они всегда так умело завершали фразу, так привыкли, что их слушают. И все же в сравнении с

[26] Сноски: 26

Оливер Уэнделл Холмс-младший (1841–1935) — американский юрист и правовед, многолетний член Верховного суда США. О. У. Холмс родился в семье известного врача и писателя О. У. Холмса-старшего. С 1850-х гг. он включился в аболиционистское движение. С началом Гражданской войны в США в 1861 г. прервал учебу в университете и ушел добровольцем в армию северян.

мужчинами их круга из Англии и Франции они, как ни странно, выглядели зелеными юнцами, их дерзость была сродни невинности. Его брат Уильям тоже был таким, но то была лишь одна его половина. Другая же состояла из глубочайшего самосознания, где вся его незрелость и свежесть были погребены под толстым слоем иронии. Уильям знал, какой эффект может произвести его зрелая и сложная личность, но это лежало в той области, о которой их современники, обладающие влиянием в литературном мире Соединенных Штатов или в юриспруденции, ровным счетом ничего не знали. Они оставались естественными, и это для Генри представляло огромнейший интерес.

Именно поэтому Уильям Дин Хоуэллс мог влюбиться в Париж, поскольку не выстроил никакой защиты от чувственного мира, защиты, которую любой европеец его возраста давно бы развил, тщательно и усердно. Хоуэллс был готов поддаться соблазну красоты и сожалеть, что красота прошла мимо него в Бостоне. Генри любил жадную открытость американцев, их готовность испытать что-то новое, их глаза, горящие надеждой и предвкушением. Работая над романами об английских обычаях и нравах, он прочувствовал

сдержанную природу английского жизненного опыта — уверенная в своем месте и не готовая к переменам, пропитанная основательностью и светскостью, эта поведенческая система развивалась без особых перерывов добрую тысячу лет. С другой стороны, образованные и могущественные американские визитеры казались такими сияющими, готовыми к обновлению, такими уверенными, что именно сейчас настал момент, — и, сидя в сумерках на своей любимой террасе, он ощущал их силу, их огромный потенциал и то, как мало внимания он уделял им последние несколько лет. Он был рад, что пригласил Оливера Уэнделла Холмса остановиться в Пойнт-Хилл, и пообещал, что увидится с ним в Лондоне, если сможет. И хотя его ужасали подобные вторжения, оказалось, что именно эта встреча ему как раз весьма интересна.

Он начал рисовать себе портрет Холмса, мысленно вернувшись в то время, когда они познакомились, и вспомнил ауру надежности и определенности, которая окружала его друга. Даже в двадцать два года он верил, что мир, в котором он живет, станет миром его процветания. Он был сформирован по образу и подобию некой машины, которая, пыхтя, прокладывала

глубокую колею в жизни во имя собственного блага. Он заботился о том, чтобы каждый новый опыт, возникавший на его пути, был богатым, вознаграждал его и доставлял ему удовольствие. Однако, по мере того как Холмс учился думать, его разум стал подобен сжатой пружине. Таким образом, он оказался затиснут между корыстолюбием и взыскательностью, что делало его общество нервным и возбуждающим. Он обрел свой голос в обществе, научился держать себя в руках, строить предложения и формулировать стратегию и суждения, дабы гарантировать, что личное и плотское будут держаться в узде и не вырвутся на всеобщее обозрение. Он мог быть напыщенным и грозным, когда ему заблагорассудится. Генри слишком хорошо его знал, чтобы это как-то на него воздействовало, однако — по наущению Уильяма — уделил достаточно внимания Холмсу в его роли судьи и глубоко впечатлился ею.

Уильям же рассказал Генри о тех сторонах Холмса, которые тот старался при нем не демонстрировать. Похоже, Холмс любил поболтать со старыми приятелями о женщинах. Это немало позабавило Уильяма, особенно когда он узнал, что Холмс никогда не позволял себе подобного в присутствии Генри. Еще Уильям утверждал, что

в компании Холмс любил описывать сражения Гражданской войны и распространяться перед собравшимися о своих ранениях.

— Когда становилось поздно, — сказал Уильямс, — Холмс начинал напоминать своего отца — старого доктора-самодержца. Тот тоже обожает собственные бородатые анекдоты и любит слушателей.

Уильям выразил недоверие по поводу того, что за все предыдущие тридцать лет Холмс ни разу при Генри не упоминал о Гражданской войне.

— «Это длится весь день, а потом всю ночь напролет, — цитировал Уильям. — Свист пуль, стрельба из винтовок, солдаты идут в атаку и повсюду лежат убитые и раненые. Ужасное, неописуемое зрелище». И конечно же, его собственные раны, даже в присутствии дам он рассказывал о своих ранах. Просто чудо, что он от них не умер. Неужели он тебе не показывал свои шрамы?

Генри хорошо помнил этот разговор, который происходил в кабинете Уильяма. Он видел, что Уильям наслаждается своим тоном, в общении с братом позволяя себе свободу, какую он обычно приберегал только для жены. Генри с удовольствием вспомнил конец того разговора.

— О чем же вы тогда беседуете с ним вдвоем? — спросил Уильям. Казалось, ему нужна конкретная информация, ответ по существу.

Генри помедлил, глядя куда-то вдаль, а затем сосредоточил взгляд на кожаных корешках книжных томов, выстроившихся на дальней полке, и тихо ответил:

— Боюсь, Уэнделл устроен таким образом, что способен вещать исключительно о себе.

После ужина он сидел у себя на террасе и ждал наступления ночи. Холмс, насколько он помнил, в основном рассказывал ему о своей карьере, о своих коллегах, новых делах, новых событиях в юриспруденции и политике и, наконец, о своих новых завоеваниях в среде английской аристократии. Он сплетничал о старых друзьях и бахвалился новыми, выражаясь свободно и важно. Генри нравилась его светскость, его искусные, отрывистые предложения, а затем — внезапные всплески чего-то иного, когда он позволял себе использовать слова, не входившие в лексикон войны или закона, скорее им было место в лекции с кафедры или в эссе. Холмс любил размышлять, спорить с самим собой, объясняя собственную логику, словно это была сторона в битве с противодействующими силами и большая внутренняя

драма.

Генри был совсем не против сентенций Холмса. Он редко с ним виделся и знал, что их объединяет очень простая вещь. Они были частью старого мира, вполне респектабельного и странно пуританского, управляемого пытливым, разносторонним умом их отцов под присмотром бдительного и зоркого ока матерей. Они оба остро ощущали свое предназначение. Если более точно: они принадлежали к группе молодых людей, окончивших Гарвард, которые знали и любили Минни Темпл, сидели у ее ног и искали ее одобрения, те, кого ее образ преследовал, когда они достигли зрелого возраста. В ее обществе они знали, что их опыт не значит ровным счетом ничего, как и их невинность, поскольку она требовала от них чего-то другого. Она внушала им восторг, и они с пронзительной ностальгией вспоминали те времена, когда водили с ней знакомство.

Минни была двоюродной сестрой Генри — одной из шестерых младших Темплов, осиротевших, когда умерли их родители. Для Генри и Уильяма отсутствие родителей у кузин Темпл делало их загадочными и романтичными. Их положение казалось завидным, потому что всякая власть над ними была расплывчатой и

временной. Они выглядели раскованными и свободными, и только много позже, когда каждой из них пришлось бороться и, конечно же, страдать, он понял невосполнимую природу и глубокую печаль их потери.

Между тем временем, когда он завидовал им, и тем, когда он им глубоко сострадал, пролегла огромная пропасть. Когда он впервые после долгой разлуки снова встретился с Минни Темпл, которой в ту пору было семнадцать лет, его чувства к ней по-прежнему были восторженными, близкими к благоговейному трепету. Он мгновенно понял, что она, единственная из всех сестер, станет для него особенной и останется таковой навсегда.

Описать ее можно было многими словами: она была легкой и любознательной, непосредственной и — что очень важно — естественной. Еще он чувствовал, что, возможно, отсутствие родительского давления придавало ей какую-то непринужденность и свежесть. Она никогда никому не подражала, не пыталась быть на кого-то похожей, ей не приходилось бороться с подобными влияниями. Возможно, думал он впоследствии, в тени такого большого количества смерти, она выработала в себе то, что стало

ее наиболее яркой чертой, — вкус к жизни. У нее был неугомонный ум. Она желала все знать, не было темы, над которой ей не захотелось бы поразмыслить. Ей удалось, думал Генри, сочетать пытливую внутреннюю жизнь с быстрым восприятием жизни общественной. Она любила входить в комнату и заставать там людей. Больше всего ему запомнился ее смех — внезапный, звучный и в то же время легкий, странный и трогательно звенящий.

Когда она впервые нанесла ему удар со всей своей моральной силой, то уже не казалась такой уж эфирной. Минни приехала в Ньюпорт с одной из своих сестер — обе девушки были с виду красивые, ясноокие и свободные, за ними в то время вполглаза присматривали тетушка с дядюшкой. В тот свой первый приезд Минни поспорила с отцом Генри. Сколько Генри помнил — и дня не проходило, чтобы с отцом кто-нибудь не поспорил. Едва научившись слушать, он стал свидетелем глубокой дискуссии отца с Уильямом, сопровождавшейся повышением голоса и резким расхождением во взглядах. Похоже, что большинство гостей мужского пола и некоторые гостьи тоже приходили в этот дом специально, чтобы поспорить. Свобода во всех ее проявлениях, осо-

бенно религиозная свобода, была любимой темой отца, однако существовало и множество других тем. Он не признавал самоограничений — таков был один из отцовских принципов.

Минни Темпл сидела в саду и поначалу молча слушала отца Генри, который адресовал большинство своих реплик Уильяму, иногда кивая в сторону Генри или сестер Темпл. На низком садовом столике стоял кувшин с лимонадом и бокалы; наверное, это было обычное легкомысленное летнее собрание кузенов, резвящихся у ног старшего поколения. Все, что говорил отец, было говорено уже много раз, и тем не менее Уильям ободряюще ухмыльнулся, когда отец пустился в рассуждения о глубокой неполноценности женщин, о том, что им необходимо быть не только покорными, но и терпеливыми.

— От природы, — говорил он быстро и напористо, — женщина находится на более низком уровне, чем мужчина. Она уступает мужчине в страсти, уступает ему в интеллекте, уступает в физической силе.

— У нашего отца много убеждений, — дружелюбно сказал Уильям и улыбнулся Минни, но та не ответила на улыбку.

Взгляд ее был неподвижен и серьезен. Она се-

ла совершенно прямо и подалась вперед, будто собиралась что-то сказать. Их отец заметил ее беспокойство и нетерпеливо глянул на нее.

Несколько секунд все молчали, давая ей время высказаться. Когда она наконец заговорила, голос у нее был тихий, так что старику пришлось напрячься, чтобы ее расслышать.

— Наверное, именно моя личная неполноценность, — произнесла она, — побуждает меня усомниться.

— Усомниться? И в чем же?

— Вы действительно хотите знать? — спросила она и едва не засмеялась.

— Скажите вслух, — подбодрил ее отец.

— Все очень просто, сэр: я сомневаюсь, что сказанное вами — правда.

Внезапно голос ее окреп и зазвучал отчетливо.

— Ты хочешь сказать, что не согласна с этим? — спросил Уильям.

— Нет, я не это имела в виду, — ответила Минни, — иначе я так бы и сказала. А я сказала: сомневаюсь в том, что это правда.

Тон ее обрел резкость.

— Разумеется, это правда! — Глаза старика гневно сверкнули. — Мужчина физически сильнее женщины. Это настолько же правда, насколько

это очевидно, если тебе нужно слово «правда». И в страсти мужчина сильнее, как я уже сказал. И интеллектуально. Платон не был женщиной. Софокл и Шекспир — тоже.

— А откуда мы знаем, что Шекспир не был женщиной? — вставил Уильям.

— Вас удовлетворил мой ответ, мисс Темпл? — спросил отец.

Минни не ответила.

— Такова женская работа, — продолжил он. — Быть в подчинении. Рукоделье, приготовление пищи и готовность стать неусыпной попечительницей детей ее супруга. Мы судим о женщине по ее покорности и вниманию к долгу.

Голос его звучал враждебно, он явно был раздражен.

— «Так говорил наш отец», — продекламировал Уильям.

— Значит, решено? — спросил Минни старик.

— Вовсе нет, сэр. Ничто не решено, — улыбнулась ему она. Ее выражение лица было почти снисходительным, когда она продолжила: — Все очень просто: я не знаю, почему то, что мы физически слабее мужчин, должно означать, будто мы хуже соображаем или живем в этом мире менее разумно. Видите ли, у меня под рукой имеются

доказательства слабости моего собственного разума, но я не думаю, что он слабее, чем у кого-либо другого.

— Женщина должна жить в христианском смирении, — сказал Генри-старший.

— Это сказано в Библии, сэр, или это одна из заповедей, или, может, вас этому научили в школе? — спросила Минни.

К ужину новость облетела весь дом. Миссис Джеймс, тетушка Кейт и Алиса были предупреждены о случившемся безобразии.

— Однако она не возражает против того, чтобы женщины готовили для нее и вели домашнее хозяйство, — сказала Генри мать, когда они встретились в холле. — Ей не привили дисциплину, ее не воспитывали, и мы должны ее пожалеть, потому что будущее ее мрачно.

Летом 1865 года Гражданская война закончилась, были опубликованы два его первых рассказа, и Генри собирался провести август с Темплами в Нью-Гэмпшире. Оливер Уэнделл Холмс, ответивший отказом на приглашение в Ньюпорт, согласился поехать в Норт-Конвей, где обосновались Темплы, как только узнал, что там его ждет многочисленное женское общество. Он собирался поехать туда вместе с Генри, а Джон

Грей, только что вернувшийся с войны, обещал прибыть следом. Генри написал Холмсу, что Минни Темпл ценой нечеловеческих усилий удалось выискать одноместную комнату — единственную во всей округе, и что негодяй-хозяин отказался, несмотря на настойчивые просьбы и очарование Минни, меблировать ее двумя кроватями. Вытащим, сказал Генри, из-под этого парня его собственную койку. А тем временем Минни присмотрит другую кровать или, само собой, другую комнату. Холмса, казалось, привела в восторг сама идея, что можно заставить врага уступить собственную кровать визитерам.

Всю поездку до Норт-Конвея он перечислял тактические приемы, которые они могли бы использовать, упоминая множество технических терминов. Себя он поместил на переднем плане, назначив вожаком и героем, Генри же, который был на два года младше и не являлся ветераном ни одной из войн, отводилась роль ложной цели. Похоже, его совсем не смутило, что в процессе Генри заснул.

Они были приглашены на ужин в дом, где обитали девушки Темпл под надзором двоюродной бабки, которая выглядела, по мнению Генри, как вылитый Джордж Вашингтон. Но первым

делом по прибытии в Норт-Конвей они решили найти дорогу к собственному временному пристанищу и после недолгих плутаний наткнулись на дородного и угрюмого домовладельца, который умудрился немедленно выразить личную неприязнь ко всем, кто родился и вырос не в Норт-Конвее или его ближайших окрестностях. Ни военный мундир Холмса, ни его усы, казалось, совсем его не впечатлили. На Генри он даже не взглянул. Одна кровать, молвил он, как я и говорил той леди, кровать-то одна, но зато имеется хороший, чистый пол, можете тут хоть всем полком ночевать, надменно прибавил он и вручил им ключ.

В комнате было совсем голо, если не считать умывальника, кувшина и тазика, стенного шкафа и узкой железной койки, покрытой, как ни странно, красивым цветным стеганым одеялом, не гармонирующим с общей спартанской обстановкой.

— Я считаю, что надо вызвать подкрепление и сходу его атаковать, — сказал Холмс.

Генри опробовал кровать — сетка проседала посредине.

— Наверное, эта комната из тех, чье главное преимущество в том, что их обитатели чаще

бывают на свежем воздухе, — заметил Генри. Он поднял с пола маленькую лампу. — Боюсь, все нью-гемпширские мотыльки посетили это святилище. Ее принесли сюда еще отцы-основатели, не иначе.

— А твоя кузина Минни — разумная девушка? — поинтересовался Холмс.

— Да, весьма, — ответил Генри.

— В таком случае она несомненно найдет нам другую комнату.

Генри подошел к единственному окну и выглянул на улицу. День был по-прежнему яркий, в воздухе пахло сосновой хвоей.

— А пока что, — смеясь, повернулся он к Холмсу, — «я не возражаю, если ты не станешь», как сказала дама, когда щенок лизнул ее в нос.

— Боюсь, месяц обещает быть долгим.

Минни и две ее сестрицы сидели в креслах на лужайке за домом, когда прибыл их кузен со своим другом. Генри отчетливо сознавал, как должна выглядеть Минни в глазах Холмса. Она не была красивой, пока не заговорит или не улыбнется. И вот тогда ей удавалось завоевать расположение всей компании, излучая глубокую серьезность и высокоразвитое чувство юмора одновременно. Генри мгновенно понял, что Холмс отдает

предпочтение ее сестрам — Китти и Элли, более хорошеньким в общепринятом смысле, более обходительным и застенчивым, чем Минни.

Как только они сели в кресла, Генри заметил, что Холмс мигом преобразился в вояку, ветерана Гражданской войны, понюхавшего немало пороху и побывавшего на краю гибели. Внезапно военная тактика перестала быть шуткой. Все три девицы Темпл, чей брат Уильям погиб на войне, а также их двоюродная бабушка не сводили с солдата печальных и восхищенных глаз. Генри украдкой наблюдал за Минни, пытаясь разгадать, так ли уж впечатляют ее все эти Холмсовы разговоры, как кажется со стороны, но она ничем себя не выдала.

После ужина юноши вернулись к себе на квартиру, обрадованные известием, что Минни нашла им новую, куда они смогут перебраться, как только приедет Джон Грей. Холмс пребывал в приподнятом настроении. Он наслаждался девичьим обществом и знал, что обрел восприимчивую аудиторию — молодую, грациозную и жизнерадостную — до конца своего пребывания. Он шутил и смеялся, прорабатывая очередные способы победить домовладельца и выиграть битву за лишнюю кровать.

Никто из них не заговаривал о том, как, собственно, они будут ночевать, придется ли одному из них обживать пол, лягут ли они валетом или бок о бок. Генри знал, что решать Холмсу, и смотрел в окно, ожидая, пока он это сделает. Холмс же тем временем храбро пытался зажечь лампу.

Когда загорелся свет, комната, при всей своей пустоте и тенях по углам, показалась просторнее и гостеприимнее, а лоскутное одеяло заиграло новыми красками. Холмс посерьезнел, будто сосредоточившись на некоем трудном предмете. Он направился к тазу с куском мыла и полотенцем, извлеченными из его дорожной сумки. Налив воды из кувшина, он быстро разделся догола. Генри удивился, до чего ширококостным и сильным, почти мясистым, казался Холмс в мерцающем сумрачном свете. На мгновение, когда его друг замер неподвижно, он мог бы сойти за статую юноши, высокого и мускулистого. Наблюдая за ним, Генри забыл о его усах, о резких чертах лица. Он никогда не думал, что увидит его вот таким. Наверное, в том, чтобы раздеться вот так, как разделся Холмс, нет ничего особенного для человека, который долго был солдатом. И все-таки он ведь знает наверняка, что раздеться догола перед другом, в молчании ночи, в этой странной,

пустой комнате — не совсем то же самое? Генри рассматривал его мощные бедра и ягодицы, линию позвоночника, шею, тронутую бронзовым загаром. Наденет ли Холмс исподнее перед тем, как лечь в постель? Он тоже начал раздеваться, и, когда уже почти полностью обнажился, Холмс открыл окно и выплеснул грязную мыльную воду. Холмс поставил таз и голый направился к кровати, передвинув лампу поближе к себе.

Генри стоял голый возле умывальника. Он не знал, разглядывает его Холмс или нет. Он остро ощущал, как недостает ему той непринужденной уверенности, которую только что продемонстрировал Холмс. Он медленно мылся, а когда Холмс заговорил, повернулся к нему вполоборота и увидел, что друг лежит на кровати, закинув руки за голову.

— Надеюсь, ты не храпишь. У нас с храпунами разговор был короткий.

Генри попытался изобразить улыбку и отвернулся. Когда он вытерся насухо и выплеснул воду за окно, он знал, что ему придется повернуться лицом и что на этот раз Холмс бесстрастно и небрежно наблюдает за ним. Ему было неловко, и он не знал, предполагает ли Холмс, что Генри тоже ляжет нагишом в постель рядом с ним. А

спросить как-то не решался.

— Не мог бы ты погасить лампу? — попросил Генри.

— Стесняешься? — спросил Холмс, но лампу не выключил.

Генри повернулся и медленно подошел к кровати. Полотенце свободно свисало с одного плеча, наполовину прикрывая торс. Холмс смотрел на него веселыми, заинтересованными глазами. Когда Генри сбросил полотенце, Холмс наклонился и выключил лампу.

Они молча лежали рядом. Генри почувствовал, как его тазовая кость уперлась в Холмса. Он раздумывал, не предложить ли Холмсу перелечь головой к изножью кровати, но каким-то образом понял, что Холмс взял власть в свои руки и безмолвно отказал ему в разрешении что-либо предлагать. Он слышал собственное дыхание и чувствовал, как колотится сердце, когда закрыл глаза и повернулся спиной к Холмсу.

— Доброй ночи, — произнес он.

— Доброй ночи, — отозвался Холмс.

Холмс не отвернулся — так и лежал на спине. Чтобы не свалиться с кровати, Генри придвинулся к нему, но потом отпрянул, стараясь держаться на краю, но все равно касаясь Холмса, бесстраст-

но лежавшего рядом.

Он спрашивал себя, доведется ли ему когда-нибудь еще быть столь отчетливо живым. Каждый вздох, каждый намек на то, что Холмс может пошевелиться, сама мысль о том, что Холмс тоже может не спать, прожигали его сознание. Спать было совершенно немыслимо. Наверное, думал он, Холмс лежит, сложив на груди руки, причем лежит совершенно беззвучно. Сама эта его неподвижность предполагала, что он лежит без сна, начеку. Генри изнывал от желания выяснить, осознает ли Холмс так же ясно, как он сам, касание их тел или же просто лежит как ни в чем не бывало, не подозревая, какая жаркая масса свернулась клубком, прижавшись к нему. На следующий день они переедут, и больше такого с ними не повторится. Это не было спланировано, да и у Генри не возникло ни единой посторонней мысли, пока он не увидел обнаженного Холмса возле умывальника при свете лампы. Даже сейчас, будь у него выбор, появись здесь свободная кровать, он тут же перебрался бы на нее, выскользнув отсюда в темноте. И тем не менее он ощущал собственное бессилие как некое облегчение. Он был доволен, что не нужно двигаться или говорить, и мог при необходимости притвориться

спящим. Он знал, что его молчание и неподвижность оставляют Холмсу свободу выбора, и ждал, что сделает Холмс, но тот не шевелился. С самого своего отъезда из Бостона вместе с Холмсом он чувствовал странное отсутствие напряжения, и это ощущение длилось весь вечер. Он знал почему. С ними не было Уильяма, который уехал с научной экспедицией в Бразилию. Он знал, что отсутствие старшего брата позволяет ему увидеть все в более ярком свете, исчез источник постоянного давления, которое часто угнетало, при всей своей мягкости. Холмс был другом Уильяма, будучи старше его на год, однако Холмс не обладал способностью принижать Генри, подрывать его авторитет, внушать, что каждое слово, каждый жест могут быть исправлены, осмеяны или подвергнуты порицанию.

И тут внезапно Холмс передвинулся ближе к центру кровати. И Генри показалось, что это похоже скорее на изъявление воли, чем на неосознанное движение во сне. Быстро, не оставив себе времени на раздумья, Генри придвинулся к Холмсу, и так они лежали какое-то время, не шевелясь. Он чувствовал дыхание Холмса, его крупное, крепкое тело, теперь такое близкое, но старался дышать максимально тихо и неглубоко.

Когда Холмс повернулся к нему спиной — так же неожиданно, как до этого придвинулся, — Генри понял, что судьба его теперь — лежать без сна всю ночь, лихорадочно размышляя о лежащем рядом человеке, который, возможно, даже не замечал его, привыкнув к мужскому соседству в тесном помещении. Теперь он был уверен, что Холмс крепко спит. Генри не знал, расстроен он или испытал облегчение, но ему тоже хотелось провалиться в бесчувствие, чтобы не пришлось снова думать об этом до самого утра.

Однако вскоре он убедился, что Холмс не спит. Пока они лежали спина к спине, Генри чувствовал рядом его осторожное, настойчивое присутствие. И ждал, зная, что Холмс неизбежно повернется и неизбежно случится то, что разрушит эту безмолвную, тягучую, зашедшую в тупик игру. Он чувствовал, что Холмс, как и он сам, осознает, что может произойти.

Поэтому он не удивился, когда Холмс повернулся к нему, обхватил его всем телом и положил одну руку ему на спину, а другую — на плечо. Он знал, что не следует поворачиваться или двигаться, но в то же время стремился дать понять, что он не против. Он по-прежнему оставался неподвижен, однако незаметно устроился поудобнее

в объятьях Холмса, закрыл глаза и перестал сдерживать дыхание.

Он забывался кратким сном, просыпался ненадолго, снова впадал в дрему. Когда он окончательно пробудился, комната сияла от солнечного света — Холмс уже проснулся, но, что удивительно, не боялся встретиться с ним взглядом или снова приблизиться к нему. Генри воображал, что случившееся между ними — достояние потаенной ночи, приватности, которую обретаешь только в темноте. Он знал, что это никогда не будет упомянуто между ними, что никто из них не расскажет об этом кому-то еще, и поэтому предполагал, что при дневном свете все будет по-другому. А еще он знал, через что довелось пройти Холмсу на войне, знал, что тот спокойно смотрел в лицо смерти, перенес болезненные ранения и, что важнее, в возрасте двадцати одного — двадцати двух лет научился стальному бесстрашию. Генри и не предполагал, что это бесстрашие может проявиться в личной жизни, но оно проявилось сейчас, в этой съемной комнате в Нью-Гемпшире, ясным солнечным утром.

К одиннадцати часам мужчины уже умылись, оделись, упаковали багаж, расплатились с хозяином комнаты и были готовы предстать пред ясны

очи сестер Темпл. Там, снова расположившись в креслах, все вместе строили планы прогулок и пикников. Когда подали чай и начался разговор, Генри почувствовал, будто его во что-то окунули с головой. То, что произошло, томило его, словно навязчивая идея, отражаясь на всех его ощущениях. Оно наполнило собой каждое мгновение, каждый предмет и сделало все вокруг неуместным и безвкусным, все, кроме себя самого. Это окатило его с такой силой, когда он пил чай, что ему пришлось напомнить себе: продолжения не будет, новый день принес новые дела и обязательства.

Некоторое время спустя он заметил, что Минни не участвует в обсуждении планов и кажется непривычно тихой и сдержанной. Он поговорил с ней наедине, пока остальные продолжали болтать и смеяться.

— Я не спала, — сказала она. — Не знаю, почему я не спала.

Он улыбнулся ей, испытав облегчение оттого, что ее отстраненность от них оказалась чем-то преодолимым.

— А вы-то спали? — спросила она.

— Это было нелегко, — признался он. — Кровать оказалась очень неудобной, но нам удалось

вздремнуть. Скорее вопреки кровати, чем благодаря ей.

— Достославная кровать! — засмеялась Минни.

Когда пополудни приехал Джон Грей, Генри обратил внимание, что Холмс, который даже за короткое время вдали от других солдат утратил часть своего армейского блеска, теперь снова продолжил играть роль вояки-ветерана, и Грей делал все возможное, чтобы всячески поддерживать эту роль и сам, конечно же, охотно играл ее. Их препроводили в старый фермерский дом, где дружелюбная молоденькая жена фермера отвела каждому из них комнатку на чердаке. Половицы скрипели нещадно, койки были древние, потолок нависал низко, зато цена была разумной, а хозяин дома, появившийся вскорости, предложил молодым джентльменам подвозить их по округе, если им понадобится транспорт. Конечно, прибавил он дружелюбно и серьезно, если им вообще что-либо понадобится, он, если сможет, предоставит им это по самым разумным ценам во всем Норт-Конвее. Так начался их отпуск, два человека действия окунулись в мир легкой гражданской жизни. Это было маленькое царство непринужденного и веселого обмена мнениями, интересных бесед, где вольности допускались

при соблюдении такта, что позволяло обсуждать сотни общечеловеческих и личных тем на лоне прощальной щедрости уходящего американского лета.

Генри смаковал послевкусие своего знакомства с Норт-Конвеем. Это место в его глазах играло роль сокровища, хранимого дома в целости и неприкосновенности, которое он всегда мог по возвращении найти там же, куда положил. Он наблюдал за друзьями и выжидал, когда проявится неизбежная закономерность, осознавая свое острое желание, чтобы два его гостя оценили Минни по достоинству, как он сам ее оценивал, выделяя на фоне двух ее сестер, какими бы милыми и очаровательными те ни были, поскольку знал, что Минни рядом с ними — блистающий дух. Он поймал себя на том, что негласно ее продвигает, стараясь ускорить их осознание, насколько она хороша. Видя, как Холмс общается с нею, он чувствовал глубочайшую причастность к тому, что зарождалось между ними, и больше всего на свете хотел стать свидетелем их возрастающего интереса друг к другу.

Грей в общении был суховат. Очевидно, что и в полку, и в домашнем окружении к нему часто прислушивались, а его нынешние юридические

штудии обогатили его словарь множеством латинских выражений, которые с течением времени нравились ему все сильнее. Он много мог порассказать о книгах, и ежедневно, положив ногу на ногу и прочистив горло, он вещал перед девушками о Троллопе, о том, как забавны и чудесно прорисованы его персонажи, какими захватывающими показаны ситуации, как здорово он понимает богатую и разнообразную жизнь общества, и как жаль, что до сих пор так и не появилось ни одного американского романиста, способного соперничать с ним.

— Но понимает ли он, — вмешалась как-то раз Минни, — понимает ли он хитросплетения человеческой души? Постигает ли он великую тайну бытия?

— Вы задали два вопроса, и я отвечу на них по отдельности, — отозвался Грей. — Троллоп с точностью и чувством пишет о любви и браке. Да-да, могу заверить вас в этом. Ну а второй вопрос немного иного плана. Троллоп, я полагаю, придерживался бы мнения, что это функции проповедника или теолога, философа или, возможно, поэта, но совершенно точно не писателя-романиста — не его это дело копаться в том, что вы называете «великой тайной бытия». И я склонен

с ним в этом согласиться.

— О, тогда я не согласна с вами обоими, — сказала Минни, и лицо ее горело от возбуждения. — Когда переворачиваешь последнюю страницу «Мельницы на Флоссе», к примеру, ты знаешь гораздо больше о том, как странно и чудесно быть живым, чем если бы прочитал тысячу проповедей.

Грей не читал Джордж Элиот, и, когда восторженная Минни подарила ему «Мельницу на Флоссе», рассудительно пролистал страницы.

— Она, — сказала Минни, — личность, которой я безмерно восхищаюсь, та, с которой я больше всего на свете хотела бы познакомиться.

Грей посмотрел на нее вопросительно, даже подозрительно.

— Она понимает, — продолжила Минни, — характер великодушной женщины, а именно — женщины, которая верит в великодушие и остро чувствует, как трудно на практике… — она умолкла, задумавшись на мгновение, — ну, как претворять это в жизнь, проявлять это.

— Проявлять это? — переспросил Грей. — Что «это»?

— Великодушие, как я и сказала, — ответила Минни.

Еще она вручила Грею мартовский номер «Норт-Американ ревью», в котором был напечатан рассказ Генри под названием «История одного года». Она сообщила, что, хотя им с сестрами запретили читать предыдущий рассказ Генри, поскольку там, как им сказали, полно истинно французской порочности, этот новый рассказ был допущен к прочтению юными девицами. Все предыдущие дни Генри, новичок по части публикаций, ждал, что скажет Холмс о его рассказе. Он знал, что Холмс якобы сказал Уильяму, будто он уверен: мать из рассказа списана с его матери, а солдат — с него самого. И внезапно Уильям обзавелся новым интересным способом подтрунивать над Генри. Холмсы всем семейством, сказал он ему, пришли в ярость, а старый папаша Холмс даже собирался пожаловаться отцу Генри.

Позднее Уильям сознался, что выдумал все, кроме изначального замечания Холмса. Холмс ничего не сказал. Теперь Генри наблюдал, как Грей идет по саду с креслом в одной руке и «Норт-Американ ревью» — в другой, выискивая тенистое местечко, где можно было бы сесть и почитать рассказ. Генри нервничал, ожидая реакции Грея, однако ему было приятно, что о рассказе теперь можно упоминать. Он вообра-

жал, как Грей читает его придирчивым взглядом ветерана войны и находит, что в нем слишком мало военных действий и слишком много рассуждений о женщинах. Было трудно, почти невыносимо, сидя в другом кресле на некотором отдалении, наблюдать из этой точки сада за тем, как Джон погружается в чтение, как продолжает читать. Вскоре Генри не выдержал — с него было довольно — вскочил и предпринял долгую прогулку вплоть до самого ужина.

А когда все расселись за стол, Минни спросила:

— Итак, мистер Грей, что вы думаете о рассказе? Вы даже представить не можете, какой это восторг, когда у тебя кузен — писатель, это просто потрясающе!

Генри осознавал и терялся в догадках, понимает ли Минни, как подействовали ее слова на двух молодых людей, которые жертвовали своими жизнями за родину. Для них война была еще саднящей, незатянувшейся раной, и само их присутствие было напоминанием об их великих потерях и героизме. А Минни, без меры восторгаясь его рассказом, казалось, принижала важность того потрясающего — да, именно потрясающего факта, что с ними за одним столом сидят два солдата.

— Интересный, — только и сказал он и, похоже, больше не собирался продолжать эту тему.

— А нам всем он страшно понравился, мы очень гордимся Генри, — сказала Элли, сестра Минни.

— Если бы рассказ не был подписан его именем, я бы решил, что его сочинила женщина, но, возможно, таков был отчасти твой план.

Грей повернулся к Генри, однако тот смотрел на него и молчал.

— Он написал рассказ, а не план, — возразила Минни.

— Да, но когда размышляешь о войне, говоришь с теми, кто участвовал в ней, или даже просто читаешь о ней, то рассказы очевидцев, я уверен, куда более интересны, потому что правдивы и жизненны.

— Но этот рассказ не о войне, — сказала Минни. — Он о девичьем сердце.

— Да разве не довольно вам женских рассказов на эту тему? — спросил Грей, а Холмс закинул руки за голову и рассмеялся:

— Все не могут быть солдатами.

Разговоры между троими гостями и сестрами Темпл то и дело возвращались к войне. Поскольку на войне погибли брат девушек и их общий с Генри кузен — Гас Баркер, двум солдатам при-

ходилось быть осмотрительными и не слишком радоваться тому, что они выжили, или похваляться храбростью. И тем не менее было трудно избежать обсуждения беспримерных подвигов или невероятного феномена раненых солдат на примере брата Генри Уилки, самого Холмса и Гаса Баркера, которые, только-только залечив раны, настояли на возвращении на передовую. Уилки и Холмс выжили, были ранены снова и снова поправились. А вот Гаса Баркера убил снайпер на реке Раппанок в Вирджинии двумя годами ранее — ему тогда едва исполнилось двадцать. Повисло тягостное молчание, когда было упомянуто его имя и место его гибели.

Генри встречался с ним в детстве — каждый раз на обратном пути семейства в Америку они заезжали к бабушке в Олбани, в ее доме они также встречались с Темплами. Потом они виделись в Ньюпорте. Стоило другим заговорить о Гасе, и Генри мысленно вернулся на пять лет назад, когда Гражданская война казалась невозможным кошмаром и семейство Джеймс возвратилось из Европы в Ньюпорт, чтобы Уильям мог изучать искусство.

Однажды осенью 1860 года Генри зашел в художественную студию и увидел своего кузена

Гаса — тот стоял обнаженный на пьедестале, а старшие студенты делали с него эскизы. Рыжеволосый, белокожий Гас был строен и мускулист. Он стоял неподвижно, без тени смущения, пока пятеро или шестеро студентов, включая Уильяма, делали эскизы, словно они совершенно незнакомы с натурщиком. Как и Темплы, Гас Баркер рано потерял мать, и его сиротство придавало ему такую же таинственность и независимость. Не было матушки, что могла бы прийти и запретить сыну вот эдак бесстыдно красоваться, некому было велеть ему немедленно одеться. Его тело было прекрасно и мужественно, и Генри удивился собственному неотвратимому желанию созерцать это тело, хотя и притворялся, что его интерес имеет отстраненный и сугубо академический характер, как и у прочих студентов. Он пристально изучал набросок Уильяма, чтобы потом перевести взгляд на натурщика и разглядывать совершенную атлетическую наготу кузена, ощущать его силу и спокойную чувственную ауру.

И теперь, годы спустя, его поразило, что он думал тогда о чем-то таком, чем не мог бы поделиться ни с Греем, ни с Холмсом, ни даже с Минни, что те несколько минут его мысли блуждали вокруг воображаемой сцены, смысл

которой оставался для него тайной. Он просто не представлял, чтобы Грей мог вообразить себе нечто подобное, или Холмс, или сестры Темпл. Он не знал даже, вторгается ли разум его брата Уильяма в те области, которые всегда должны оставаться скрытыми от окружающих. Генри пытался представить, что будет, если он откроется кому-нибудь, со всей возможной искренностью поведав, какие воспоминания рождает в нем имя Гаса Баркера. Просто удивительно, как, общаясь друг с другом ежедневно, каждый из них берег свой внутренний, глубоко личный мир, в который он мог вернуться при упоминании одного только имени или же вообще без всякой причины. Думая об этом, он на секунду поймал взгляд Холмса, и обнаружил, что не смог полностью скрыть свои мысли — сквозь светскую маску Холмс разглядел его разум, блуждавший в сферах, которыми нельзя было поделиться ни с кем. Но теперь у них появилось нечто общее — негласное, мимолетное, то, что остальные даже не заметили.

Постепенно, с течением времени, Минни сделала свой выбор. Она выбирала незаметно и осторожно, так что поначалу никто не видел этого, но то, что было неочевидно для Грея, Холмса

или ее сестер, стало совершенно ясно для Генри, поскольку она хотела, чтобы он все понял. Она избрала Генри своим другом и наперсником, тем, кому она больше всего доверяла, с кем могла говорить легко и непринужденно. И она, вероятно, выбрала Холмса для какой-то другой цели, поскольку никогда не обделяла его вниманием и всегда больше других озаряла его своим светом. Но Грея она выбрала в качестве объекта влияния, потому что он больше всех нуждался в ней. Она пропускала мимо ушей его солдатские речи, его грубоватые, практичные замечания и неповоротливые остроты. Она возжелала изменить его, и Генри наблюдал, как она мягко умасливает его, не позволяя себе переступить грань.

Однажды она принесла Грею какие-то стихи Браунинга, а тот вернул ей книгу и попросил, чтобы она прочла их вслух.

— Нет, я хочу, чтобы ты самостоятельно прочел их, — ответила она.

— Я не могу читать поэзию, — сказал Грей.

Генри, Холмс и обе сестры примолкли. Генри понял, что настал решающий момент в борьбе Минни за то, чтобы придать Грею приемлемую для нее форму.

— Конечно можете, — сказала она. — Просто

надо забыть словосочетание «читать поэзию» и сосредоточиться на местоимении «я» и найти для него новые полномочия, тогда очень скоро вы станете другим человеком и юность к вам вернется. Но если вы на самом деле хотите, чтобы я прочитала вам эти стихи вслух, я прочту.

— Минни, не будь такой резкой с мистером Греем.

— Мистер Грей собирается стать великим адвокатом, — вставил Холмс. — Чувствуется, что он учится защищать себя самого, чтобы со временем научиться защищать других — тех, кто, возможно, более нуждается в защите.

— С нетерпением предвкушаю, как вы прочтете это вслух, — сказал Грей.

— А я предвкушаю наступление того дня, когда вы прочтете это сами — спокойно и без эмоций, — ответила Минни, беря книгу.

В воображении Генри начала вырисовываться наследница состояния, недавно осиротевшая, за которой ухаживают три кавалера. Молодая женщина, чей терпеливый ум окружающие никогда не оценивали по достоинству. Ему не хотелось делать ее такой же красивой, какой была Минни в тот памятный август, наоборот, он создал героиню явно бесцветную, если бы не волшебная

улыбка, которая часто озаряла лицо девушки. Генри придумал ей двоих ухажеров-военных, а третьим, заглавным героем рассказа стал Бедный Ричард, человек сугубо штатский, нервозный и своевольный, которого неразделенная любовь приводит на грань отчаяния. Ричард обожает Гертруду Уиттакер, но она не принимает его чувства всерьез, предпочитая ему двоих вояк. Один из них, капитан Северн, добросовестный, вдумчивый и серьезный. Он сдержан и решительно движется к заранее намеченной цели. С другой стороны, майор Латрелл, который вполне мог бы играть роль Грея, приятен и невыносим одновременно. Все трое начинают осаду, чтобы добиться любви мисс Уиттакер и взять ее в жены. В итоге она не выбирает никого из них.

Для Генри рассказ начался с того краткого мгновения, когда Ричард видит, что капитан Северн погружается в глубокое молчание, почти такое же беспомощное, как и его собственное, пока они наблюдают за оживленным диалогом между мисс Уиттакер и майором Латреллом. Так же как и для самого Генри с Холмсом в Норт-Конвее это стало обычным делом, пока Минни вела битву за смягчение Грея, пытаясь заставить его осознавать вперед мундира свою душу, признать свои

потаенные страхи и чаяния, не прикрываясь солдатскими байками, отцензурированными для употребления в дамском обществе. Поначалу Холмс решил, что девушке Грей не нравится, и это его порадовало, а потом ему стали слышаться тревожные звоночки, что Грей, мол, побеждает. Минни, ее сестры или Грей, слишком вовлеченные в происходящее, не слышали этих тихих звоночков, но Генри легко распознал их, собрал в кубышку и обдумывал на досуге, когда оставался один.

Ни тогда, ни даже в течение многих лет он не мог постичь, что этих нескольких недель в Норт-Конвее — этих нескончаемых бесед в компании, собравшейся под шуршащими соснами, — ему будет довольно, что, в сущности, это было все, что ему следовало знать о жизни. И все последующие годы он как писатель тщательно вырисовывал сцены, которые пережил сам или которым стал свидетелем в то время: два честолюбивых отпрыска почтенных новоанглийских семейств, уже готовые к ожидающему их триумфальному взлету, и американские девушки под предводительством Минни, юные и открытые навстречу жизни, столь любознательные, исполненные и безграничного живого интереса, и очарования,

и ума. И многое между ними должно было бы остаться недосказанным, неузнанным никем и никогда. Там, на лужайке позади дома, в котором поселились на лето сестры Темпл, уже зародились секреты и негласные союзы, уже возникло ощущение, что Минни Темпл ускользнет ото всех и воспарит над ними, хотя никто понятия не имел, как скоро это случится и насколько печально это будет.

Он не помнил, когда именно узнал, что она умирает. Очевидно, что тем летом не было ни единого признака какой-либо болезни. Помнил только, что некоторое время спустя его мать упомянула о плохом самочувствии Минни, причем с неодобрением в голосе, словно полагала, будто своей болезнью Минни пытается привлечь к себе внимание.

Компания встретилась в том же составе еще раз — в гостиной его родителей в конце следующего года. Помнится, он страшно удивился, узнав, что Минни переписывается и с Греем, и с Холмсом. Его матери нравился Грей, она считала его очень милым, предпочитала его Холмсу. Позднее она сообщила Генри, что Минни, по ее собственным словам, совершенно разочаровалась в Холмсе, жаловалась на его эгоизм, однако

заметила, что глаза у него красивые. Генри удивился, что Минни, оказывается, стала вести доверительные беседы с его матерью.

Теперь он сидел у себя на террасе за тысячи миль оттуда, много-много лет спустя. Когда появился молодой месяц, он вгляделся его причудливые, тонкие, неумолимо прекрасные очертания и вздохнул, вспомнив, как Уильям пришел к нему в комнату с известием, что у Минни опухоль в легком. Он не помнил точно, было ли это первое упоминание об опухоли, но тогда о ней впервые заговорили в полный голос. Генри вспомнил, что весь последующий месяц пребывал в депрессии, не мог пошевелиться и не видел Минни, но был в курсе новостей благодаря своей матери, которая живо интересовалась болезнями, особенно болезнями молодых женщин на выданье, и теперь относилась к недугу Минни со всей серьезностью.

Он попытался вспомнить, когда Джон Грей впервые рассказал ему о длинных письмах, которые писала ему Минни. Грей находил их тяжелыми, воспаленно-откровенными, говорил, что порой они заставляли его краснеть, но он отвечал на них, и так она непрерывно слала ему письма весь последний год своей жизни. В одном

из них она написала слова, которые Грей пересказал ему, и Генри думал, что теперь эти слова, пожалуй, значат для него больше, чем любые другие, включая всё когда-либо написанное им самим или кем-то еще. Эти слова преследовали его неотступно, и теперь, шепча их в ночном безмолвии, он ощущал рядом ее требовательное присутствие. Всего одно предложение. Минни написала тогда: «Ты должен сказать мне то, что для тебя — несомненная правда». Именно этого, думал Генри, она хотела, пока была жива и счастлива, хотела так же сильно, как и накануне смерти, но только болезнь, знание, что время на исходе, заставило ее в отчаянии сформулировать фразу, подытожившую ее великие и великодушные искания. «Ты должен сказать мне то, что для тебя — несомненная правда», — зазвучал у него в ушах ее нежный голос, и теперь, сидя во тьме на террасе, он размышлял о том, как бы ответил он, если бы она адресовала эту фразу ему.

Он спрашивал себя, а что, если мощь ее личности и несомненная оригинальность ее устремлений, столкнувшись с серостью, банальностью и бедностью, которые ее окружали, поколебали ее волю к жизни? Особенно остро он это почувствовал, когда ее сестры повыходили замуж не

по любви, а скорее ради безопасности, и когда Минни была вынуждена зависеть от их супругов, поскольку у нее началось легочное кровотечение и здоровье ее резко ухудшилось. Он вспомнил, как они в последний раз увиделись в Нью-Йорке, за два дня до его отплытия в Европу — он тогда впервые ехал туда один, и ему стоило больших усилий скрывать неподдельную радость, жадное предвкушение грядущих событий. Он понимал, что ей бы тоже пошло на пользу такое путешествие и с его стороны недостойно плыть в Европу без нее. Несмотря на ее болезнь и зависть, они провели вместе яркий час, полный веселых разговоров. Они условились встретиться в Риме будущей зимой, обсудили его планы пребывания в Лондоне, с кем он повидается, куда сходит. Только раз зависть ее хлынула через край: когда он проговорился о возможной встрече с миссис Льюис — ее обожаемой Джордж Элиот. Минни тряхнула головой и рассмеялась над тем, какая она чудовищная ревнивица.

Было совершенно ясно, что она больна, и оба понимали, что больна она неизлечимо, хотя никто из них об этом не упоминал. Тем не менее на прощание он спросил ее, хорошо ли она спит.

— Сплю… — произнесла она. — Я не сплю. Бро-

сила это дело.

Но потом она храбро и легко засмеялась, и улыбка ее старательно притворялась, что в ней нет ни капельки пустоты или фальши. А потом она его покинула.

В Англии, когда в воскресенье пополудни Генри явился на Норт-Бэнк с визитом к миссис Льюис, получив допуск к писательнице благодаря протекции друга семьи, он воображал, что Минни рядом, и задавал Джордж Элиот такие вопросы, какие никто из круга самой Минни ни за что не задал бы и уж тем более не стал бы отвечать на них. Он представлял себе ее голос, трепещущий от благоговения, но постепенно крепнущий в стенах этой богатой комнаты. В минуту прощания он вообразил, что его кузина встает и тогда романистка вдруг замечает ее присутствие, впечатляется и протягивает ей руку, та тепло отвечает на рукопожатие и получает приглашение приходить еще. В письме к Минни он постарался описать миссис Льюис — ее выговор, спокойную суровость во взгляде, ее странное уродство, смешение проницательности и мягкости, ее достоинство и характер, ее снисходительность и отстраненное безразличие… Хотя сейчас об этом проще было написать отцу; писать Минни было

теперь все равно что писать призраку.

Минни умерла в марте, через год после того, как он видел ее в последний раз. Он по-прежнему был в Англии. Он ощутил ее уход как конец собственной юности, зная, что смерть в итоге была для нее ужасна. Она отдала бы что угодно, лишь бы остаться жить. Все последующие годы он с тоской думал о том, как бы ему хотелось знать, что думает Минни о его книгах и рассказах, о тех решениях, которые он принимает в жизни. Это глубокое чувство утраты, нехватки ее погруженного и требовательного участия давало о себе знать и Грею, и Холмсу, и Уильяму тоже. Все они в своем нервном честолюбии и безмерном перевозбужденном эгоизме задавались вопросом: а что сказала бы о них Минни? Что бы она о них подумала? Генри тоже спрашивал себя: какой была бы ее жизнь и как ее изысканная способность бросать вызов справилась бы с миром, который непременно попытался бы ее обуздать? В конце концов он утешался тем, что знал ее так, как никто другой на свете, и боль от жизни без нее — это не более чем расплата за привилегию быть молодым рядом с нею. То, что когда-то было жизнью, думал он, остается жизнью всегда, и он знал, что образ ее господствует над его интеллек-

том как своеобразное мерило, эталон яркости и непринужденности.

Было бы нечестно утверждать, что Минни неотвязно преследовала его все последующие годы. Скорее, это он не мог с ней расстаться. Он вызывал ее дух повсюду — и когда вернулся в родительский дом, и позднее, путешествуя по Франции и Италии. Под сенью величайших соборов ему являлось видение — хрупкое, элегантное и до чрезвычайности любознательное, готовое замирать в немом изумлении перед каждым произведением искусства, а затем пытаться подыскать слова, которые соответствовали бы моменту и позволили бы новой чувственной жизни укорениться и дать ростки.

Вскоре после ее смерти он написал рассказ «Попутчики», в котором Уильям, приехав из Германии в Италию, случайно встречает ее в Миланском соборе перед «Тайной вечерей» Леонардо. Он с наслаждением описывал ее белый зонтик с фиолетовой подкладкой, ощущение интеллектуального наслаждения, сквозившее в ее движениях, в голосе. Теперь, когда она была мертва, он мог управлять ее судьбой, предложив ей то, чего она страстно хотела, и продолжить драматический ход жизни, которая так жестоко

оборвалась. Интересно, думал он, а с другими писателями, которые творили до него, такое случалось? Могли ли Готорн или Джордж Элиот воскрешать к жизни мертвых, трудясь денно и нощно, словно некроманты или алхимики, бросая вызов судьбе и всем неумолимым стихиям, чтобы воссоздать священную жизнь?

Он не мог перестать придумывать, как бы она жила, что бы она делала. В присутствии Алисы нельзя было упоминать о Минни, поскольку его сестра завидовала всему, что было у Минни при жизни: завидовала ее странной красоте, очарованию, уверенности в себе, глубокой серьезности, воздействию на мужчин. А позднее Алиса стала завидовать Минни, потому что Минни умерла.

А вот Уильяма рассуждения о Минни очень интересовали, и в процессе бесед они с Генри вместе пришли к выводу, что, останься Минни жива, она бы так и не решила, за кого ей выйти замуж, что ее выбор был бы слишком идеалистичным, или слишком импульсивным, или слишком неестественным. Они сошлись во мнении, что ее замужество было бы ошибкой, и казалось, что ее сложный организм понимал это, знал, что ее будущее умной женщины без гроша за душой стало бы, увы, неразрешимой проблемой. Братья

чувствовали, что на каком-то уровне — на большинстве уровней — узкая жизнь не оставляла для нее места. Вся ее повадка, ее характер, думал Генри, будто указывали на то, насколько ничтожной по сравнению с ее прошлым могла оказаться дальнейшая жизнь Минни.

Он часто воображал ее замужем за Греем, Холмсом или Уильямом, каким унижением был бы для нее брак — битвой, которую она проиграла бы. В «Бедном Ричарде» он отправил ее в Европу, где она так и не вышла замуж. В «Дейзи Миллер», где он так ярко описал ее дерзость, отвагу, пренебрежение к условностям, она умерла в Риме. В «Попутчиках» он сочинил для нее брак в театральных декорациях Италии, где она встречается с супругом. Он не мог допустить, чтобы она погрязла в рутине, в обыденности, омраченной присутствием скучного, невзрачного мужа.

Во время чтения «Даниэля Деронды»[27] ему пришла в голову мысль, которая никогда не посещала его прежде, — трагическая вероятность того, что энергичная, одаренная женщина может погибнуть в удушающих рамках супружества. Так совпало, что в это же самое время он читал

---

[27] Сноски: 27

«Даниэль Деронда» (1876) — роман Джордж Элиот.

троллоповского «Финеаса Финна», главным образом в качестве снотворного, и там его тоже поразил брак леди Лоры Кеннеди и тот откровенный интерес, который вызывал такой союз у читателя, чьи симпатии были на стороне яркой, храброй героини, столкнувшейся лицом к лицу со своей судьбой и иллюзией свободы.

Он взялся за работу. К тому времени он прожил в Англии уже несколько лет и чувствовал, что более ясно видит Америку, и ему больше всего на свете хотелось воплотить в жизнь дух американки — молодой и свободной, готовой к жизни и уверенной только в своей безмерной открытости другим людям, новым ощущениям и опыту. Было совсем нетрудно поместить эту юную женщину в дом его бабушки в Олбани — тесные, старомодные комнаты, из которых богатая и властная миссис Тачетт могла вызволить Изабель Арчер и отправить ее в Англию, столь вожделенную для многих его героинь. В Англии он легко окружил бы ее все тем же старым добрым, тщательно выписанным трио поклонников: прямолинейного и серьезного, более мягкого и аристократичного и третьего — того, кто стал бы ее другом и очарованным исследователем ее судьбы, слишком неказистого, или слабого здоровьем, или слиш-

ком ироничного, чтобы стать ее возлюбленным.

Он работал над книгой во Флоренции и, просыпаясь по утрам сперва в гостинице на берегу реки, а позднее — в съемной квартире на Беллосгуардо, чувствовал, что ему уготована великая миссия провести Минни по этим улицам, позволить солнцу Тосканы ласкать ее нежное лицо. Но это еще не все. Он стремился воссоздать ее нравственное присутствие тоньше и драматичнее, чем когда-либо прежде. Он хотел предложить этой американской девушке без гроша в кармане прочную, старую вселенную, в которой можно дышать. Он дал ей деньги, поклонников, виллы и дворцы, новых друзей и новые ощущения. Он никогда не чувствовал себя таким всемогущим и исполненным долга. Он шел по улицам Флоренции, взбирался по извилистым дорожкам на крутом склоне холма Беллосгуардо с непривычной легкостью, и эта новая легкость нашла свое отражение в книге. Книга продвигалась — элегантно, легко и свободно, словно сама Минни покровительствовала ему, защищала его. Бывало, он писал некоторые сцены, все представив себе и все зафиксировав, но не был уверен, произошло это на самом деле или же воображаемый мир в конце концов заменил реальность.

И все же Минни оставалась для него такой же реальной и годы спустя, более реальной, чем новые люди, с которыми он встречался и поддерживал отношения. Она была той частью его самого, которую он особенно яростно оберегал, его тайной сущностью, о которой никто в Англии не знал и которую никто не понимал. Было легче сохранить ее под английскими небесами, в краю, где никто не вспоминал своих умерших так, как вспоминал он свою кузину, где царило настоящее, насаждая свой порядок. Именно там он позволил ей уйти, оставив по себе могучий и неотвязный отзвук старой песни, эхом разносящейся сквозь годы, звучащей печальными нотами, куда бы он ни подался.

Он уже и забыл, пока снова не встретился с Холмсом, как сильно его старый друг любит англичан. Как только Холмс сошел с поезда в Рае, он без умолку принялся рассказывать, кого он видел, да как они поживают, каким глухим стал Лесли Стивен с тех пор, как умерла Джулия, до чего изменилась Марго Теннант после замужества, как очаровательна и величава его новая приятельница леди Каслтаун. Генри даже не пытался вставить слово, он знал, что, если попробует заговорить, его тут же перебьют. Глаза у Холмса

были ясные, почти пылкие, он, несмотря на годы, выглядел еще красивее, чем прежде, стал еще более щеголеват. Возможно, так на него повлияло время, проведенное в обществе леди Каслтаун, подумал Генри.

— Боюсь, — сказал он, когда ему наконец удалось отыскать прореху в повествовании Холмса, — боюсь, что в Рае ты не сыщешь ни лордов, ни леди. Это очень тихое местечко. Просто *очень* тихое.

Холмс хлопнул его по спине и улыбнулся, словно только что заметил его присутствие. Получив повышение на должность судьи, он, похоже, стал гораздо менее сдержан, если уж на то пошло. Может быть, именно так, размышлял Генри, и ведут себя нынче выдающиеся американцы, преодолевшие пятидесятилетний рубеж, но потом он мысленно нарисовал себе Уильяма Дина Хоуэллса и своего брата Уильяма и понял, что это просто Холмс, и никто другой, ведет себя подобным образом. Он попытался растолковать Холмсу, что работает не над одним, а сразу над двумя романами и в предыдущие месяцы мало с кем общался, кроме слуг. Холмс же увлеченно расхваливал пейзаж и был слишком занят, чтобы слушать, и Генри даже внезапно возрадовался,

что тот остановится в Пойнт-Хилле всего на одну ночь. От Уильяма, от Хоуэллса и прочих людей он слышал, что Холмс стал знаменитым судьей, чьи теории и гипотезы обсуждаются в высших кругах юристов и политиков, так же как теория Дарвина обсуждается представителями науки и религии. Помнится, он спросил Уильяма, в чем же состоят эти теории, и Уильям прямо заявил, что Холмс ни во что не верит и сумел сделать так, что эта точка зрения казалась одновременно разумной и популярной. Его позиция, сказал Уильям, заключалась в полном отсутствии какой-либо позиции. Хоуэллс-де, со своей стороны, не был склонен к прямолинейности и просто объяснил, что Холмс стремился, и весьма настойчиво, применить в области права чисто человеческий и практический подход, а не исторический, теоретический или же нравственный. Подобно Дарвину, сказал Хоуэллс, Холмс развивал теорию победителей, но одержала верх главным образом его острая и незамысловатая риторика.

Как часто, признался Холмс, пока они бродили вместе по окрестностям Рая, — как часто он раздумывал о том, чтобы поселиться в Англии. Он не предполагал, прибавил он, что его примут с распростертыми объятиями, реши он остаться.

Генри кивнул в знак согласия, но вскоре мысли его были где-то далеко.

Они поужинали на террасе, а после трапезы сидели, объятые покоем, и наблюдали за широкой равниной, раскинувшейся внизу в меркнущем вечернем свете. Холмс со стоном вытянул ноги, словно собираясь провести долгий и уютный вечер, а Генри сожалел о том, что сейчас не на час позже и он не может под каким-нибудь предлогом ретироваться. Диалог между ними тек довольно бессвязно, поскольку они старательно избегали тем, которые могли бы их разделить, — Уильяма, с которым Холмс, похоже, поссорился, миссис Холмс, томящуюся в Бостоне, романы Генри, о которых у Холмса имелось *определенное* мнение, и Генри об этом знал. А темы, которые они могли обсуждать — сплетни о частной и общественной жизни Америки, законы и политика, — вскоре иссякли. Генри заметил, что задает слишком много вопросов о слишком многих старых друзьях, а Холмсу слишком часто приходится отвечать, что он почти не видится с ними и мало что о них знает. Несколько раз Холмс сказал, будто подозревает, что Генри знает о них куда больше, чем он.

Сумерки сгущались, оба погрузились в молчание и молчали до тех пор, пока у Генри не

возникло ощущение, что они уже больше никогда не придумают, что бы еще такого сказать. Он передвинул свое кресло так, чтобы иметь возможность рассмотреть Холмса, и теперь сквозь сумерки видел его — всецело довольного собой, вольготно расположившегося, словно у себя дома, и почувствовал легкое отвращение к этой ауре добродушного самодовольства, которую излучал Холмс.

— Странные нынче настали времена, — заметил Холмс.

— Да, — сказал Генри, потянувшись. — Раньше я думал, что в Англии время идет медленнее, но, прожив здесь довольно долго, я понял, что это иллюзия. Теперь я очень рассчитываю на Италию как на место, где время течет гораздо медленнее.

— Я вспоминал то лето, когда мы собрались все вместе, — сказал Холмс.

— Да, — сказал Генри. — Славное, героическое лето.

Генри предполагал, что Холмс теперь скажет, что, мол, с тех пор много воды утекло или что это было как вчера, и обдумывал, как он ответит на Холмсову банальность. Он уже мысленно готовил послание Уильяму о том, что Холмс как собеседник был положен им на обе лопатки.

— Я помню каждое мгновение того месяца. Гораздо лучше, чем вчерашний день, — сказал Холмс.

Оба молчали. Генри не знал, как скоро сможет вернуть себе свою жизнь, чтобы при этом не скатиться до грубости. Холмс прокашлялся, будто собрался говорить, но снова умолк. Потом вздохнул.

— Для меня время как будто пошло вспять, — сказал он, повернувшись к Генри, дабы убедиться, что тот внимательно его слушает. — Когда лето закончилось, я, как я уже говорил, помнил все до мельчайших подробностей, но те долгие дни — все эти наши разговоры, наша компания — существовали как будто за некой огромной завесой. Порой я ощущал, что нахожусь под толщей воды, вижу только неясные очертания вверху и отчаянно пытаюсь прорваться на поверхность, чтобы глотнуть воздуха. Я не знаю, что со мной сделала война, кроме того, что я выжил. Но я точно знаю, что страх, шок, мужество — это только слова и они не скажут нам, ни одно из них, что, испытывая подобное изо дня в день, ты теряешь часть себя и никогда не вернешь ее обратно. После войны я уменьшился, точно знаю. Часть моей души, моего образа жизни и чувств была

парализована, и я не могу сказать, какая именно часть. И никто не заметил утраты, какое-то время даже я сам не осознавал ее. Все тогдашнее лето я хотел измениться, перестать наблюдать со стороны, выжидая. Мне хотелось присоединиться, участвовать, испить жизнь, которая была тогда нам предложена, испить ее вместе с тремя замечательными сестрами. Я страстно желал быть живым, и по-прежнему страстно желаю этого, и прошедшее время помогло мне, помогло мне ожить. Когда мне было двадцать один — двадцать два, естественные чувства пересохли во мне, и с тех самых пор я пытался это исправить и жить, просто жить, как живут другие.

Голос Холмса звучал теперь почти ожесточенно, но как-то странно — совсем негромко, будто издалека. Генри знал, чего ему стоило сказать все это, а еще он знал, что все сказанное — правда. Они снова вместе молчали, но молчание это было исполнено сожаления и осознания.

Генри не решился что-либо сказать. Он не сделал ответного признания. Его война была глубоко личной — внутри его семьи и глубоко внутри его самого. О ней нельзя было упомянуть, ее невозможно было объяснить, но она опустошила его так же, как описал это Холмс. Порой

он чувствовал, что живет так, словно его жизнь предназначена кому-то другому, — как ненаписанный рассказ, как не до конца продуманный персонаж.

Он думал, что Холмс высказал все, что хотел, и был готов задержаться на некоторое время в знак уважения к его откровенности и дать возможность улечься волнению Холмса после признания. Однако постепенно — по тому, как смотрел на него Холмс, как наливал бренди себе в бокал, словно собирался просидеть вот так всю ночь, — он понял, что его гость хочет сказать ему еще кое-что. Он ждал, и наконец Холмс снова заговорил, и тон его на этот раз изменился. Он снова вошел в роль судьи, публичной фигуры, светского человека.

— А знаешь, в конце концов, — сказал Холмс, — «Женский портрет» стал ей отличным памятником, хотя концовка… должен сказать, что концовка мне не понравилась.

Генри уставился в наползающую ночную тьму и ничего не ответил. Он не собирался обсуждать концовку своего романа, но тем не менее он был удовлетворен, ему было приятно, что Холмс все-таки упомянул его книгу, чего никогда не делал ранее.

— Да, — сказал Холмс, — она была очень благородна, и, думаю, ты это уловил.

— Думаю, мы все ее обожали, — ответил Генри.

— Она и сейчас остается для меня пробным камнем, — сказал Холмс, — и очень жаль, что ее нет в живых и я не могу узнать, что она обо мне думает.

— Да, конечно, — кивнул Генри.

Холмс отхлебнул из бокала.

— Ты никогда не сожалел, что не взял ее с собой в Италию, когда она болела? — спросил он. — Грей сказал, что она несколько раз тебя просила.

— Едва ли «просила» — верное слово, — отозвался Генри. — Она была очень больна. Грей не все знает.

— Грей говорит, что она просила тебя, а ты не предложил ей помощь… что та зима, проведенная в Риме, могла бы ее спасти.

— Ничто не могло ее спасти, — сказал Генри.

В голосе Холмса он почувствовал неумолимую размеренность, медленную жестокость. Ему показалось, что старый друг допрашивает и судит его без тени сочувствия или расположения.

— Не получив от тебя весточки, она отвернулась лицом к стенке. — Холмс произнес это так, словно заготовил эту фразу заранее и уже

давно хотел ее сказать. Он откашлялся и продолжил: — Когда она поняла наконец, что никто ей не поможет, она отвернулась лицом к стенке. Ей было очень одиноко, и она была одержима одной идеей. Ты ее кузен и мог взять ее с собой в поездку. Ты был свободен, по сути, ты уже был в Риме. Это ничего бы тебе не стоило.

К тому времени, когда они снова заговорили, наступила ночь, и темнота казалась странно угрюмой и беспроглядной. Генри сказал слуге, что лампа им не нужна, потому что они уже собрались расходиться. Холмс смаковал напиток, то скрещивая ноги, то вытягивая. Генри не помнил, как добрался до постели.

Утром он все еще обдумывал, в какой момент ему следовало стать на собственную защиту или в какой точке прекратить дискуссию. Очевидно, что эта тема не выходила у Холмса из головы, и тот явно обсуждал ее с Греем, и оба юриста были едины во мнении — осуждать и приговаривать им было не впервой. Теперь Холмс сможет сообщить Грею, что было сказано.

За завтраком Холмс был спокоен и непоколебим, как будто накануне ночью он вынес трудный, но взвешенный вердикт и теперь больше уважал себя за то, что сделал это. Они условились,

что он вернется на следующие выходные, а Генри тут же начал обдумывать, как он отменит эту договоренность. Он не хотел видеть Холмса, и не скоро еще захочет.

Всю следующую неделю он исступленно трудился, даже несмотря на боль в руке, которая временами становилась совершенно невыносимой. Он обходил стороной террасу и покидал письменный стол только чтобы поесть и поспать. Спустя несколько дней он написал Холмсу, что сроки поджимают и он вынужден много работать над рассказом и не сможет, к сожалению, принять его на выходных. Написал, что надеется увидеться с Холмсом в Лондоне перед его отъездом в Соединенные Штаты.

Несколько дней он наслаждался одиночеством, отвоеванным для него этим письмом, но все равно продолжал прокручивать в уме разговор с Холмсом. Много раз он принимался сочинять письма Холмсу, но ни одно даже не записал. Он был уверен, что его обвинили несправедливо и безосновательно, а Холмс говорил с ним так холодно и безапелляционно, и это все совершенно возмутительно.

Он не знал, не мог знать, о чем его кузина писала Грею в последний месяц своей жизни. Он

знал, что Грей хранил ее письма, да и у него в лондонской квартире лежали в укромном месте все письма, которые Минни присылала ему в последний свой год. Он знал, что Минни ни в чем его не обвиняла, но теперь ему хотелось знать, в каких выражениях она столько лет назад высказывала свое желание приехать в Рим. Работа его замедлилась и остановилась. Часы бодрствования были поглощены воспоминаниями о его первых днях в Лондоне и в Италии, о том, как он получил эти письма. Он воображал, как отыскивает их — он прекрасно знал, где они хранятся, — как открывает конверты, перечитывает, и мысли эти были настолько неотступны, что он понимал: придется ехать в Лондон. Точно призрак, он войдет в квартиру в Кенсингтоне, минует анфиладу комнат, подойдет к шкафу, где лежат ее письма, и прочтет их все, а потом вернется в Рай.

В ожидании поезда он боялся, что встретит кого-нибудь знакомого и придется делать вид, будто у него в Лондоне неотложное дело. Он испытывал ужас при мысли о разговоре — даже то, что ему пришлось сообщить слугам о своем отъезде, разговаривать с кэбменом и кассиром на станции, взвинтило нервы до предела. Как ему хотелось бы день-другой побыть невидимкой. Он

осознавал, и это сильнее всего давило на него, пока он ехал в Лондон, что письма могут ничего ему не дать, что придется еще сильнее мучиться неизвестностью. Перечитав эти письма, он мог и не узнать ничего нового.

По пути со станции его ошарашила мысль, до чего спокойной стала опять его жизнь после катастрофы с постановкой пьесы. Впервые с тех пор равновесие, достигнутое им с таким трудом, нарушилось. У него возникло предчувствие, что, когда он войдет в свою квартиру и откроет шкаф, где хранятся письма его кузины, оттуда появится нечто осязаемое, и попытался убедить себя, что это просто плод его лихорадочного воображения, разыгравшегося не на шутку, но все было тщетно.

Письма он нашел сразу и удивился, какие они хрупкие и краткие, как складки бумаги словно бы смазали чернила с обеих сторон и некоторые слова невозможно прочесть. И все-таки они были от нее, и на каждом стояла дата. Он начал читать, невольно шевеля губами:

> Я буду скучать по тебе, дорогой мой, и все-таки мне очень радостно знать, что у тебя все хорошо и ты наслаждаешься

> жизнью. Не будь ты моим двоюродным братом, я предложила бы тебе жениться на мне и взять меня с собой, но, поскольку я не могу этого сделать, буду утешаться хотя бы мыслью о том, что в случае чего ты мог бы и не принять мое предложение.

Он читал дальше: «Если бы я, не мытьем, так катаньем, собралась провести зиму с друзьями в Риме, смогли бы мы с тобой встретиться?» А потом, в одном из последних писем, которые он получил от нее: «Подумай, мой дорогой, как хорошо было бы нам с тобой вместе в Риме. Схожу с ума при одной мысли об этом. Я все бы отдала, чтобы провести зиму в Италии».

Он отложил письма и сидел, обхватив голову руками. Он не помог ей, не подбодрил ее, а она ни разу так и не попросила о помощи напрямую. Если бы она настаивала на своем приезде — сейчас он принудил себя довершить эту мысль, — он бы отстранился, или держался на расстоянии, или активно препятствовал ее поездке; не одно, так другое. В том году он совершил побег в яркий старый мир, о котором мечтал. Он писал рассказы, поглощал впечатления и постепенно, не спеша

задумывал сюжет первых своих романов. Он не был больше членом многочисленного семейства Джеймс, а жил один в теплом климате, его устремления были ясны, а воображение свободно. Мать написала ему, что он может тратить для этого пиршества свободы столько денег, сколько понадобится. Ему не нужна была его больная кузина. Да и будь она даже здорова, он не был уверен, что обрадовался бы ей, брызжущей своенравным очарованием и любопытством. Нет, в ее обществе ему пришлось бы наблюдать жизнь или воображать мир сквозь призму ее взглядов. А ему нужно было сделать это самому, увидеть все своими глазами.

Он подошел к окну и выглянул на улицу. Даже сейчас он чувствовал, что имел полное право оставить ее позади и пойти стезей собственного таланта, своей собственной натуры. И все-таки ее письма наполнили его скорбью и виной с привкусом чего-то вроде стыда, когда он осознал, что она, должно быть, сообщила остальным, по крайней мере Грею, о том, что он отказал ей в гостеприимстве. Фраза Холмса «Она отвернулась лицом к стенке» теперь эхом отзывалась в его сознании и боролась с его ощущением собственной безжалостности и с его желанием выжить.

И наконец, снова развернувшись к комнате, он ощутил, как на него уставилась пронзительная, невыносимая мысль; словно нечто живое, свирепое и хищное, эта мысль витала в воздухе и нашептывала ему, что он предпочел мертвую кузину живой. Он знал, что с ней делать, когда у нее отнимут жизнь, но отверг ее, когда она мягко попросила о помощи.

Остаток дня, бóльшую его часть, он просидел на стуле в гостиной, погружаясь мыслями в глубины, скользя и снова всплывая на поверхность. Он подумывал, а не сжечь ли ему эти письма, ведь в будущем они ничего хорошего не сулят. Он отложил их на время, вернулся к шкафу, где они хранились, и рылся там среди бумаг, пока не обнаружил красную записную книжку. Он знал, что искомое было изложено на первых страницах несколькими годами ранее. Общий смысл оставался свеж в его памяти, но подробностей он не помнил. Он поднес блокнот поближе к свету.

С Холмсова визита, в самый разгар его метаний, тревог и страданий, его интерес к набросанной здесь картине медленного умирания молодой американки только усилился. Это была история молодой женщины с большим состоянием, на пороге жизни, казавшейся безграничной в своих

возможностях. Она приехала в Европу, чтобы жить, жить страстно и насыщенно, пусть и совсем недолго.

Он перечитал свои заметки о молодом англичанине — бедном, умном и красивом, который любит и любим, но перед которым возникает задача — спасти эту американскую девушку, любить ее, помочь ей жить, несмотря на то что он безнадежно скомпрометирован, о чем умирающая девушка ничего не знает. Его суженая, тоже без гроша в кармане, также дружит с этой девушкой.

Читая эти свои наброски, он пришел в ужас от незамутненной бессердечности сюжета. Молодой человек притворяется, что любит девушку, и, вероятно, получает ее деньги, его любовь — своего рода предательство, и его настоящая возлюбленная наблюдает все это, зная, что они могли бы пожениться, если бы раздобыли денег. История вульгарна и уродлива, думал он, но до чего же явственно, с какой силой все представляется.

Он снова взял в руки письма, вгляделся в доверчивый и чистый почерк Минни — это была рука человека, который ожидал от мира только добра. Он явственно представил, как она приезжает в Европу, чтобы бросить на жизнь прощальный

взгляд. Он наделил ее деньгами, он вообразил, что она унаследовала большое состояние, и увидел рядом своего героя — одна его половина полна любви и сострадания к ней, а другая — ожесточена, нуждается и готова предать. История вульгарна и уродлива, только если таковы и мотивы, — но что, если мотивы смешанные и неоднозначные? Внезапно он выпрямился, сидя на стуле, а потом встал и подошел к окну. В ту же секунду он увидел другую женщину, ухватил резкие очертания ее странного морального нейтралитета, осознал, сколь многим она пожертвовала, позволив умирающей девушке познать любовь, но как много могла и приобрести, и до чего же была осмотрительна и практична, никогда не позволяя этим соображениям оказаться на противоположных чашах весов.

Теперь они у него были — все трое, и он обнимет их, будет за них держаться и позволит им совершенствоваться со временем, стать более сложными и менее вульгарными, менее уродливыми, более цельными, более звучными, более правдивыми не с точки зрения жизни, как она есть, а с точки зрения жизни, какой она могла быть. Он снова пересек комнату, собрал письма и блокноты, отнес к шкафу, быстро положил

их на полку и запер дверцу. Больше они ему не понадобятся. Теперь ему необходимо работать, задействовать разум. Он вернется в Рай, решил он, и, когда почувствует, что пора, еще раз исследует жизнь и смерть своей кузины Минни Темпл.

Глава 6

Февраль 1897 г.

Руке лучше не становилось. Теперь он носил ее как заморскую диковину, доверенную его попечению, — неприятную, нежеланную и временами ядовитую. Он мог еще писать по утрам, но к полудню боль в косточке, идущей от кисти к мизинцу, а также в нервах и сухожилиях вокруг нее становилась чересчур уж сильной. Не двигая рукой, он не ощущал боли, но когда писал — особенно когда останавливался, чтобы подумать, а потом возобновлял работу, — чувствовал невыносимые муки, и ему приходилось откладывать перо.

От безысходности он перечитывал последние несколько страниц и делал мысленные заметки, какие нужно внести правки. Он с удивлением обнаружил, что мысли его несутся вскачь и повествование легко развивается у него в голове, слова одно за другим сами выстраиваются в целые предложения. Оказалось, он мог поставить воображаемую точку, а затем закончить еще одно предложение. Он не произносил их вслух, даже шепотом, но они приходили готовыми, и

ему не составляло никакого труда припомнить содержание всех предыдущих предложений или как начиналось каждое из них. Сейчас, сидя у стола, он захотел написать Уильяму об этом поразительном феномене, но вспомнил с горечью, что не может написать письмо; он действительно какое-то время не писал никаких серьезных писем, тщательно экономя энергию правой руки для романа, выходившего теперь частями каждый месяц, и с болью или без, но он должен был поставлять главы без опозданий. Те несколько утренних часов, когда мог работать безболезненно, он посвящал своему детищу, но со временем и эти несколько часов стали даваться все труднее.

Уильям, обожавший технические новинки и современные изобретения, написал ему о преимуществах стенографии, убеждая его, что диктовать гораздо быстрее и легче и, сосредоточившись как следует, он легко достигнет наилучших результатов. Генри скептически относился к этому, да и с деньгами у него было туговато. К тому же ему нравилось уединение, собственный жесткий контроль над словами на странице. Но когда боль распространилась на всю руку и каждое божье утро он выносил ужасные пытки, чтобы серия выходила вовремя и чтобы в типографию

поступали свежие страницы, он понял, что так больше продолжаться не может. Он был измучен, силы на исходе.

Он решил, что будет использовать стенографиста для переписки, а ее уже накопилось немало. Сперва он обеспокоился насчет своей приватности, но потом убедил себя, что ничего сугубо личного в его корреспонденции не содержится. А если обнаружится — он сразу же удалит. Стенографист, которого порекомендовал ему Уильям, — шотландец по имени Уильям Макалпайн, приходивший каждое утро к нему на квартиру, — казался деловитым, заслуживающим доверия и компетентным, но это второстепенные характеристики по сравнению с его суровой молчаливостью и отсутствием видимого интереса к чему-либо, кроме текущего задания.

Таким образом, Генри диктовал письма, а Макалпайн угрюмо и послушно стенографировал его слова, а позднее вручал ему отпечатанный чистовик. Вскоре Генри начал диктовать стенографисту, чтобы тот сразу печатал, и частенько спрашивал себя: кто больше интересуется словами, которые он произносит, — Макалпайн или его модная машинка?

Его рука, как сообщал он своим друзьям, была

низведена до постоянной недееспособной безвестности. Постепенно стенографист стал таким же вездесущим и, что удивительно, прозрачным, как сам воздух, особенно когда Генри открыл для себя, что практика диктовки подходит для художественной литературы точно так же, как и для эпистолярного искусства, если не больше. По мере того как рука заживала, он начал писать письма сам по вечерам, пока стенографист отдыхал, а машинкой и ее безмолвным хозяином пользовался в течение дня для создания более важных повествований.

Вначале он осторожничал и не слишком распространялся о своем новом методе, но вскоре пожалел, что вообще упомянул о нем. Те, кто узнал, что он теперь доверил свои слова машине, что искусство художественной литературы стало индустриализированным, скептически восприняли его решение и, конечно же, усомнились в его будущем. Он заверил их, что никакими спрямлениями пути его не упростишь и никакой техникой не фальсифицируешь и что на самом деле, коротко говоря, его общению с музой появление шотландца с машинкой пошло только на пользу.

Ему нравилось расхаживать по комнате, начи-

ная новое предложение, позволяя тому скользить вперед, останавливать его на миг, добавлять тот или иной оборот, делать краткую паузу, а затем отправлять фразу скакать во весь опор к элегантному и уместному завершению. Вставая по утрам, он с нетерпением ждал прихода своего пунктуального, безответного, с виду совершенно равнодушного помощника, для которого слова, изреченные романистом, по важности были как будто сопоставимы с предыдущей работой в коммерческой области.

Теперь Генри казалось, что все его прошлые труды вели к этой звучной свободе, и несколько месяцев спустя он понял, что уже не сможет вернуться к перу и бумаге, к немеханическому одиночеству. Куда бы он ни направлялся, всюду за ним на буксире следовал его шотландец со своей громоздкой пишущей машинкой, которая вскоре полностью вытеснила стенографию. Но машинку надо было возить, а шотландца — кормить. Таким образом, переезды усложнились и обходились дорого. Теперь плавания через Ла-Манш и обратно, поезда и отели подошли к концу. Зов иного климата и роскошных городов как-то сам собой потонул в деловитом стуке машинки и звучании его собственного голоса.

За эти годы он так много и в таких ярких, драматических подробностях описывал домá, что его друг, архитектор Эдуард Уоррен, предложил ему сделать иллюстрации: нарисовать Гарденкорт или Пойнтон, Истхед или Баундс — дома, в которых он описал комнату за комнатой, тщательно воссоздавая атмосферу, драгоценную лепнину и выцветшие гобелены. Уоррен утверждал, что можно выпустить его книги специальным архитектурным изданием. Каждый раз, навещая Уоррена, Генри рассматривал рисунок садового домика у Лэм-Хауса в Рае, вид с улицы, и восхищался английской атмосферой, старой кирпичной кладкой и ощущением уюта вековой выдержки.

Генри мечтал о собственном доме в окрестностях Лондона. Он воображал, как сидит вечерами при щедром свете лампы в старинной, обшитой деревом комнате. Покрытые темным лаком половицы устланы коврами, в камине горит огонь, дрова истекают смолой и потрескивают, задернуты тяжелые шторы, долгий трудовой день на исходе, и общественный долг не довлеет над ним.

Когда настало лето, он проводил время, бродя по деревушкам на побережье Суффолка и восхи-

щаясь их названиями: Грейт-Ярмут, Бландсон, Саксмандем, Данвич — от них веяло древностью, узловатой историей наследования. Он думал, что каменный коттедж на здешнем побережье, что-то простое и тесно связанное с окружающей культурой мореплавания, был бы для него идеальным решением. Переезжая с места на место вместе со своим шотландцем и ремингтоном, болтаясь между плохими съемными комнатами и дорогими отелями, он надеялся, что это будет его последнее бесприютное лето. Но он знал, что такая лоскутная, с хлеба на воду, неприкаянная жизнь будет мучительно продолжаться до тех пор, пока Генри не обзаведется собственным прекрасным убежищем, которого с течением времени он вожделел больше и больше.

В деревнях Суффолка он спрашивал всякого, с кем встречался, объясняя свои нужды и чаяния, предлагая оставить свой лондонский адрес в знак серьезности его намерений. Несколько раз ему предлагали взглянуть на то или иное обиталище, но ничто из увиденного им даже отдаленно не походило на его мечту. Все они были уродцами, пусть и на свой невинный манер, и оказывались доступны только потому, что никому больше и даром не были нужны.

В Рае он тоже дал понять, что мечтает о собственном постоянном жилище. Он заприятельствовал с местным кузнецом — тот, можно сказать, вырос до продавца скобяных изделий и постоянно торчал на пороге своей лавки в ожидании новых лиц, чтобы поболтать на досуге. Во время одной из своих прогулок по Раю Генри остановился у двери мистера Мильсона, который чуть ли не с первой встречи стал называть его мистером Джеймсом. Для мистера Мильсона он был американским писателем, совершающим прогулки по улочкам Рая, который уже успел полюбить. Во время второго или третьего разговора с мистером Мильсоном, когда Генри еще проживал в Пойнт-Хилле, он упомянул, что страстно мечтает о своем уголке — в деревне или где-нибудь в самом городке, разумеется. Поскольку мистер Мильсон любил поговорить, поскольку он совершенно не интересовался литературой, никогда не был в Америке, не был знаком с другими американцами и поскольку познания Генри в области скобяных изделий находились в зачаточном состоянии, они обсуждали дома — те, которые сдавались в аренду в прошлом, и те, которые были выставлены на продажу, или проданы, или сняты с продажи, а также те, самые желанные,

которые не покупались, не продавались и не сдавались в аренду никогда и никому, сколько себя помнили обитатели этой округи. Каждый раз, когда он приходил, стоило им коснуться этой темы, как мистер Мильсон показывал ему карточку, на которой был записан лондонский адрес Генри. Он не потерял ее, он ничего не забыл, а потом заманчиво сообщал о каком-нибудь прекрасном старинном доме, безупречно подходившем для нужд холостяка, но тут же с прискорбием признавал, что его владелец осел там прочно и всерьез и в обозримом будущем вряд ли его покинет.

Генри рассматривал свои разговоры с мистером Мильсоном как своего рода игру — так он беседовал с рыбаками о море, с фермерами об урожае. Они были учтивым способом расслабиться, испить Англию, впитать ее благоухание через фразы, речевые обороты и местный колорит. Таким образом, даже когда он распечатывал письмо, пришедшее на адрес его лондонской квартиры, по почерку на конверте определив, что написал его человек, не слишком привыкший писать письма, и даже увидев имя Мильсона в строчке отправителя, он по-прежнему был озадачен его происхождением. И только прочтя письмо во второй раз, он понял, от кого оно, и

тут же его будто ударили под дых — он сообразил, о чем говорится в послании. Лэм-Хаус в Рае, писал ему Мильсон, освободился, и его можно было бы занять. Первой мыслью было, что он упустит этот тихий уголок на вершине мощеного булыжником холма, с тем самым зимним садом, наружный вид которого так любовно воспроизвел Эдвард Уоррен, это жилище, на которое он с такой болью и вожделением взирал во время своих многочисленных прогулок по Раю. Дом, одновременно скромный и величественный, заметный и уединенный, который, казалось, так уютно и естественно принадлежал другим и в котором они обитали так тепло и плодотворно. Он проверил почтовый штемпель. Интересно, думал он, растрезвонил ли его торговец скобяными изделиями всем желающим об освободившемся жилье. Этот дом он любил более прочих и тосковал по нему. Ничто и никогда не приходило к нему с такой волшебной легкостью. Он мог бы сделать что заблагорассудится — послать телеграмму, сесть на ближайший поезд, — но его не покидала уверенность, что он упустит этот дом. Впрочем, рассуждать, беспокоиться или сожалеть было бесполезно. Выход один — немедленно поспешить в Рай, гарантируя, таким образом, что

ни одно упущение с его стороны не помешает ему стать новым обитателем Лэм-Хауса.

Перед отъездом он написал Эдварду Уоррену, умоляя его тоже как можно скорее приехать в Рай, чтобы осмотреть интерьер дома, внешним видом которого он так сильно восхищался. Но дожидаться Уоррена он не сумел, и, конечно же, о работе не было и речи. Сидя в поезде, он размышлял, мог ли кто-нибудь, видевший его со стороны, догадаться, насколько судьбоносным было это его путешествие, насколько захватывающим и потенциально сулящим разочарование. Он знал, что это всего лишь дом. Другие покупали и продавали дома легко и беспечно и так же легко и беспечно перевозили свои пожитки. И пока он ехал в Рай, его осенило, что никто, кроме него самого, не понимает, как это важно и значительно. Ведь столько лет у него не было ни страны, ни семьи, ни собственного жилья, за исключением лондонской квартиры, где он работал. Лишенный защитной раковины, он годами был выставлен на всеобщее обозрение, и это делало его нервным, изматывало и внушало страх. Его жизнь была как будто лишена фасада, отрезка стены, который защищал бы его от мира. Лэм-Хаус предлагал ему красивые старинные

окна, через которые можно смотреть на улицу, но в то же время заглянуть в них снаружи можно будет только с его разрешения.

Теперь он мечтал стать хозяином, у которого могли бы гостить друзья и родственники. Он мечтал украсить этот старый дом, купить мебель по своему вкусу и придать своим дням размеренность и определенность.

Едва переступив порог, он ощутил атмосферу сумрачной утешности. Комнаты на первом этаже были маленькие и уютные, а те, что наверху, — величавые и наполненные светом. Кое-где деревянные панели на стенах были оклеены современными обоями, но его уверили, что это можно легко исправить. Две комнаты выходили окнами в сад, весьма ухоженный и живописный, разве что великоватый для его нужд. В гостевой комнате когда-то останавливался Георг I, и, конечно, она вполне годилась для друзей и родственников. Пока он ходил по дому, открывая двери самостоятельно или входя в открытую для него дверь, он не произносил ни слова, боясь, что, если выкажет слишком большое рвение, на пороге появится кто-то другой, имеющий права по предварительному договору аренды, и громко попросит его на выход.

И все же когда он вышел в сад и направился к садовому домику, высокое эркерное окно которого смотрело на булыжную улицу, ведущую под горку, и вдруг мельком представил, как работал бы здесь каждый день все лето, наслаждаясь смелой воздушностью помещения, его простором и светом, то невольно ахнул. И, больше не в силах сдерживаться, вышел из садового домика и оказался лицом к лицу с садом, обнесенным кирпичной стеной, увитой древними вьюнками, где в густой тени под старым тутовым деревом кирпич стал красно-коричневым от времени и непогоды. Прогулка по дому и саду была похожа на заполнение бланка: чем больше земли он охватывал, тем ближе подходил к тому, чтобы в конце расписаться, закрепив тем самым свои права.

Хозяин был предупрежден об имени и профессии потенциального арендатора и быстро согласился сдать дом в аренду сроком на двадцать один год на выгодных условиях. Уоррен окинул дом взглядом профессионала и составил список улучшений, которые легко можно было произвести за зиму, чтобы к весне дом стал пригоден для жилья. Генри, благодаря любезности Макалпайна, разослал письма друзьям и невестке, сообщив о своем новом доме. Он приписал

также и условия аренды — семьдесят фунтов в год, — сделав приписку собственноручно, когда Макалпайн уехал на весь день.

Странное дело — несколько следующих месяцев он испытывал постоянный страх, словно пустился в масштабную и рискованную спекуляцию, к коей был совершенно не готов, и в результате мог потерять все, что имел. Теперь ему надо было уладить дела, нанять дополнительный персонал, купить мебель и предметы домашнего обихода, сдать или сохранить за собой квартиру в Лондоне. Также ему нужно было упрочить свое финансовое будущее, ведь теперь он взял на себя такие масштабные обязательства. Но нечто большее, нежели простые приготовления, наполнили его смутными, не поддающимися описанию предчувствиями. Прошли недели, прежде чем он понял, *что* это, и прозрение пришло к нему внезапно: когда он поднялся по лестнице на второй этаж Лэм-Хауса и вошел в комнату, которая должна была стать его спальней, Генри осенило, что в этой комнате ему суждено умереть. Изучая договор аренды, он понял, что в течение двадцати одного года сойдет в могилу. Стены этого дома добрых триста лет были свидетелями того, как мужчины и женщины приходили и уходили.

Теперь дом ненадолго пригласил и Генри ощутить свое очарование, заманил и предложил временное гостеприимство. Этот дом примет его со всем радушием и проводит до порога, как провожал других своих обитателей. В одной из его комнат он замрет навсегда, здесь его тело будет остывать. Эта мысль леденила кровь и в то же время утешала. Без колебаний он отправился к месту собственной смерти, чтобы разгадать ее тайну, одно из ее неизвестных измерений. Но еще он приехал туда жить, проводить долгие дни за работой, а долгие вечера у камина. Он обрел свой дом, он, безнадежный скиталец, так ждал его всепоглощающего присутствия, его привычности, его неброской красоты.

Всю зиму и раннюю весну он набирался сил для решения практических вопросов. Когда в Лондон приехал Хоуэллс, они целое утро просидели за разговорами, глядя на густой туман за окнами, обсуждая в том числе и возможности американского литературного рынка для публикации рассказов и глав из романа. Приезд Хоуэллса, его мудрые советы и его посредничество по возвращении в Соединенные Штаты, результатом коего явились заказы и предложения от тамошних издателей, стали еще одним чудом этого волшеб-

ного сезона.

Вскоре и все остальное устроилось. Леди Вулзли проведала о его новом приобретении и напросилась в гости, чтобы дать ему ценные советы. Генри знал, что она талантливый коллекционер всевозможных вещей и вещиц, что она обладает изысканным и практичным вкусом и не упускает возможности обставить маленькие комнаты и личные пространства. Она досконально знала торговцев и их магазины и на протяжении многих лет внушала трепет и уважение лучшим из них, давая нелестную оценку худшим. Вдобавок она прочитала выходившие по частям «Трофеи Пойнтона»[28], выписывая каждый номер из Америки, и была уверена, что вдовая миссис Гарет, готовая жизнь отдать за тщательно отобранные сокровища Пойнтона, списана с нее.

— Не ее скупость, конечно, — говорила она, — и не глупость, и не то, что она вдова. Вдовство — это не мое. Но острый глаз — глаз, который ничего не упускает, а видит, как можно отреставрировать

[28] Сноски: 28

«Трофеи Пойнтона» — роман Генри Джеймса, впервые опубликованный в 1896 г. в американском журнале *The Atlantic Monthly* под названием «Старые вещи».

кресло в стиле королевы Анны[29], видит выцветший гобелен, повешенный в тени, или картину, купленную ради рамы.

Она предположила, что у него нет лишних денег, и еще она предположила, что его вкус соответствует ее собственному, изучила каждую комнату в его новом доме и продумала каждую необходимую этому дому мелочь. Она считала Лэм-Хаус шедевром. Жаль, что она не может забрать это сокровище себе домой, но, раз такой возможности нет, она утешилась тем, что водила Генри по лондонским магазинам, показывая тайные уголки и закоулки антикварных лавок и магазинов старинной мебели. Он узнал, к своему большому удивлению, что все маленькие сокровища для своей коллекции она приобрела именно в те годы, когда у них с мужем почти не было денег — они ничего не унаследовали и довольствовались его жалованьем и ее скромным личным доходом. Нищета, по ее словам, обострила зоркость ее глаз.

Дни шли на убыль, он все ходил по Лондону, распахивая перед нею двери скудно освещенных

[29] Сноски: 29

Стиль королевы Анны (английское барокко) — интерьерный стиль начала XVIII в., характеризующийся романтичной изысканностью и элегантной симметрией.

магазинчиков, чьи внимательные хозяева знали леди Вулзли с незапамятных времен, а кое-кто припоминал даже, какую именно старинную ценность она у них когда-то приобрела, выгодные сделки, которые она когда-то совершала, предметы, которые она прибавила к своей коллекции, казавшейся в те времена еще одним проявлением свойственной ей эксцентричности и своеволия. Этот Лондон, с его ярко освещенными витринами, запруженными улицами, настоятельной светской жизнью во всем ее богатстве и насыщенности, был миром, по которому он уже скучал, готовясь вернуться в безопасность и уединенность провинциального бытия. Он любил предвечерний свет, свежесть и холод, и еще он любил, несмотря ни на что, приближение вечера. Гуляя по улицам Лондона со своей азартной спутницей, Генри любовно изучал Лондон, а потом, стоя в старых кладовых и выставочных залах под неусыпным приглядом торговцев, казавшихся воплощением благолепия и благоразумия, словно они продавали само уединение, он представлял себе свою новую жизнь, новую обстановку, свежевыкрашенные стены или очищенные от обоев деревянные панели и чувствовал странную легкость и счастье оттого, что он только на полпути

к своей цели, что Лэм-Хаус по-прежнему остается в царстве воображения.

После повышения лорда Вулзли до командующего вооруженными силами ее величества и триумфального возвращения четы Вулзли из Ирландии леди Вулзли стала еще более властной в отношении Генри, но с торговцами теперь она, казалось, смягчилась, стала довольно учтивой. Он не помнил, чтобы она когда-либо понижала голос, но в пыльных старых лавчонках, когда изучала новые поступления или просила показать ей старинные географические карты — ее новую страсть, — казалась даже скромной, и действительно, скромность ее стала еще заметнее с наступлением зимы. Тем не менее она твердо знала, что стоит покупать, а что нет, и у нее имелось четкое представление о каждом уголке Лэм-Хауса. Ему постоянно приходилось бороться с ней из-за ее энтузиазма и порывистости, а иногда он должен был осторожничать и тщательно скрывать, что страстно хотел обзавестись именно той вещью, которую она с пренебрежением отвергла.

Леди Вулзли стала его тайным проводником по Лондону, к местам и местечкам, из содержимого которых он мог наполнить и меблировать

Лэм-Хаус. А еще она предложила ему версию Лондона в его наиболее плотно упакованном, густонаселенном варианте. Каждый предмет, который он трогал или брал в руки, обладал своей удивительной историей, которую никто никогда не узнает, напоминая Генри саму Англию во всем ее прежнем богатстве и целеустремленности.

Все эти месяцы он усердно трудился, писал статьи и рассказы, но в те дни, когда выполнял договор, заключенный с самим собою, написав определенное количество слов и заняв своего шотландца на все утро, Генри внезапно решал снова посетить торговцев, еще раз приобщиться к пыльным и видавшим виды предметам, неопрятному распроданному наследию. Бродя по антикварным лавкам, он бесцельно выбирал раму, или стул, или набор столового серебра, но ничего не покупал, ожидая то ли вдохновения, то ли компании леди Вулзли.

Однажды в четыре или пять часов пополудни, когда свет потусклел и начал меркнуть, он оказался в одном антикварном магазинчике на Блумсбери-стрит, в котором лишь однажды побывал с леди Вулзли. Он очень хорошо запомнил лицо продавца из-за его необычных глаз. Тогда продавцу удалось, не говоря ни слова, ока-

зать своеобразное давление на леди Вулзли и ее спутника. Он ухитрился не только весьма тонко надавить на них, но и одним только взглядом придать событию торжественный оттенок. Генри припомнил его тонкие, проворные пальцы с аккуратными ногтями, время от времени трогавшие предметы на прилавке — коротко, нервно, нежно. Он заметил мощное и такое же безмолвное сопротивление со стороны леди Вулзли, не желавшей покупать что-либо, хотя хозяин лавки показал им несколько превосходных образчиков, включая французский гобелен — маленький, но роскошный, и старинный парчовый бархат такой текстуры, какую, по обоюдному согласию продавца и леди Вулзли, нынче почти невозможно найти. Она так ничего и не купила, но некоторые вещицы изучала до того долго и пристально, что в мудром и терпеливом взгляде продавца вспыхнула искорка иронии. Выйдя из лавки, она сказала, что цены слишком высоки (хотя о деньгах почти не упоминалось) и что не следует больше поощрять этого торговца, который держит этот антикварный магазин много лет.

А Генри уже давно подумывал о том, чтобы купить что-нибудь, пусть бесполезное и безусловно дорогое — возможно, даже втридорога, — что-ни-

будь, на чем остановился бы его взгляд, предмет, который ему захотелось бы иметь, держать при себе и который имел бы для него значение, не сводящееся к одной стоимости. В душу ему запал тот французский гобелен: сцена, изображенная на нем, была позаимствована у итальянских мастеров — Фра Анджелико или Мазаччо, розовые нити, вплетенные в ткань, сохранили свой первоначальный оттенок. Он подумал, что осмотрит гобелен еще раз, поторгуется с продавцом и, может быть, решится купить его, не посоветовавшись с леди Вулзли, которая, как ему известно, своих мнений не меняет.

Дверь лавки оказалась открытой, и он вошел в освещенное лампой помещение, бесшумно закрыв дверь за собой. Как типично, подумал он: из некоего странного чувства такта продавец позволяет покупателю входить таким вот образом. Передняя часть магазинчика была узкой и захламленной, но он помнил, что несколькими ступенями ниже открывалась длинная проходная комната, ведущая в просторную кладовую с лестницей на чердак. Послонявшись несколько минут в ожидании продавца, он начал рассматривать чайную чашку Севрского, как ему показалось, фарфора. Небрежно оглядев

еще несколько безделушек, он прошел в заднюю часть магазина, где перед ним предстал полный обзор нижней комнаты. Там, склонясь над шезлонгом и обсуждая плотность полотна, его покрывающего, стояли леди Вулзли и продавец. Почувствовав себя нарушителем границ, Генри отступил в тень и стал ждать. Он не рассчитывал застать здесь леди Вулзли и решил, что лучше ее не беспокоить. Это была ее территория, а он не испросил разрешения. Он был уверен, что теперь с его стороны вполне уместно немедленно и беззвучно удалиться.

Однако в ту же минуту другой покупатель отворил дверь магазина, причем сделал это очень шумно. Это был хорошо одетый джентльмен — уже не юноша, но лет ему на вид было не более сорока, и ему, судя по всему, закрыть дверь оказалось так же сложно, как и открыть. Продавец, вышедший к ним навстречу, похоже, мгновенно определил, что мужчины пришли порознь и незнакомы. Он, казалось, удивился приходу обоих посетителей, но быстро спрятал удивление за ласковым узнаванием для Генри и чуть менее ласковым — для более недавнего посетителя. На этот раз он показался еще сметливей, еще отчужденней, его лицо с тонкими чертами светилось

глубочайшим интеллектом, темные глаза сияли умной, проникновенной теплотой. Он явно не знал, что Генри уже видел леди Вулзли, и Генри наблюдал, как он с улыбкой просчитывает, как ему поступить. Продавец попросил Генри одну минутку подождать и тут же снова спустился по ступенькам. Генри услышал негромкий разговор внизу и увидел, как его собрат-покупатель взялся за старинный серебряный колокольчик с резной деревянной ручкой. Он ждал появления леди Вулзли и обдумывал, как объяснить ей свое вторжение.

Когда вернулся продавец, Генри заметил мимолетный проблеск озабоченности на его лице. Вскоре следом за ним явилась леди Вулзли, царственная, как никогда прежде, и — он не мог не ощутить этого — чрезвычайно громогласная.

— Не думала, что вы решитесь прийти сюда в одиночку, — сказала она. — Вы заблудились?

Леди Вулзли одарила его искрящейся улыбкой и кратким смешком.

Он поклонился ей и, поднимая голову, заметил, что она знакома и с другим джентльменом. Оба — и продавец старины, и леди Вулзли — явно были взволнованы его присутствием. Когда Генри взглянул на него, то увидел, что в те несколько

секунд между его поклоном и поворотом головы что-то настойчивое и почти тревожное промелькнуло во взглядах, коими обменялись леди Вулзли и незнакомец.

— Бóльшая часть здешних вещей вам не по карману, — сказала она Генри.

Оба они мгновенно поняли, что ее ремарка, хотя и задумывалась как шутка, была слишком резкой, слишком острой.

— Бедняку не заказано любоваться, — ответил он, ожидая от нее попытки загладить ситуацию и гадая, каким образом она это сделает.

— Тогда пойдемте, я вам сама все покажу, — сказала она и повела его вниз по ступенькам, попросив хозяина зажечь еще одну лампу.

Он понял, что для джентльмена наверху это был сигнал уйти, и не удивился, услышав, как еще раз хлопнула входная дверь. Пока леди Вузли давала указание поставить лампу на итальянский комод, он раздумывал над тем, что это за джентльмен и почему их не представили друг другу, и почему напряжение в комнате было так ощутимо, а сама встреча вызвала такую неловкость, учитывая огромный светский опыт леди Вулзли. Могла ли леди Вулзли, размышлял он, оказаться столь близко к тому, чтобы скомпро-

метировать себя в лондонском антикварном магазине самым обычным зимним днем? И каким образом она бы себя скомпрометировала? И как тут замешан продавец? Леди Вулзли и продавец наперебой начали превозносить красоту и прочие достоинства комода, причем леди Вулзли во всем горячо соглашалась, повторяя некоторые фразы продавца для пущей выразительности, и оба подчеркивали, что не стоит упоминать о цене, поскольку это был бы шок и скандал, и лучше оставить присутствующего здесь покупателя в неведении, поскольку он большой любитель красоты, но стеснен в средствах.

Пока они оба говорили, по тону их речи и даже по тому, как умолк продавец и только леди Вулзли поддерживала разговор, Генри убедился, что прекрасно уловил контуры сцены, которой только что стал свидетелем, но не ее смысл. Леди Вулзли назначила здесь встречу некоему джентльмену, но само по себе это ничего не значило, поскольку она свободно передвигалась по Лондону и без малейших колебаний брала Генри с собой в свои походы по магазинам. Натянутость возникла из-за того, что леди Вулзли не пожелала поприветствовать этого джентльмена или представить его. Генри не видел в этом никакого смысла, он

не мог постичь, почему она либо полностью не проигнорировала этого человека, либо не дала понять, что знакома с ним. Разговор, который затеяли леди Вулзли и продавец, казалось, старался собрать все неловкие паузы и шумно заполнить их. Он осознал, что стал свидетелем странной, чисто лондонской ситуации, чья суть была достоянием других, а от него останется сокрытой, сколько бы он ни раздумывал над нею и сколько бы ни продолжали они смущенно слоняться по антикварной лавке.

Поднимаясь в переднюю часть магазина, он краем глаза приметил тот самый гобелен; с прошлого посещения его перевесили. Теперь он казался еще роскошнее, еще богаче. Леди Вулзли и продавец остановились позади Генри. Он предположил, что они тоже видят чистую нежность расцветки, яркие нити, переплетающиеся с потускневшими, текстуру, наводящую на мысль о царственности, давно канувшей в лету.

— Это восемнадцатый век? — спросил он.

— Приглядитесь и, возможно, вы догадаетесь, — сказала леди Вулзли.

Он всмотрелся снова, когда продавец поднес поближе лампу.

— Вам нравится? — спросил он ее, гадая, пом-

нит ли она этот гобелен с прошлого визита.

— Думаю, «нравится» — не совсем верное слово, — сказала она. — Он траченый. Его реставрировали — тут есть недавняя работа. Вы не видите, разве?

Он снова вгляделся, более внимательно изучил розовые и желтые нити, которые сперва показались тоже выцветшими, несмотря на то что они выделялись на общем фоне.

— А всё чтобы нас одурачить, — сказала леди Вулзли.

— Он такой потрясающий, такой прекрасный, — сказал Генри, словно разговаривал сам с собой.

— Ну, если вы не видите реставрацию во всей ее вульгарности, значит я вам нужна даже больше, чем вы думали, — сказала леди Вулзли. — Впредь ни в коем случае не рискуйте ходить сюда самостоятельно.

Он вернется, подумал он, вернется по прошествии подобающего времени и купит этот гобелен.

Он терял Лондон. Он записался в Реформ-

клуб[30], присоединившись к длинному списку, зная, что пройдет много лет и много утрат, прежде чем его имя окажется вверху. Ему нравилось воображать лондонскую жизнь в уютных стенах Реформ-клуба: внимательный и заботливый персонал и весь огромный город в его распоряжении. Всю жизнь, размышлял Генри, он был подвержен воздействию Лондона, впервые привезенный сюда в шестимесячном возрасте во время одного из ранних поисков вечной мудрости, предпринятых его отцом, поисков земного удовлетворения и чего-то безымянного и сверхъестественного, чему всегда удавалось от него ускользнуть.

Он знал, поскольку тетушка Кейт рассказывала ему об этом много раз в пору его отрочества, что тогда они снимали коттедж неподалеку от Большого Виндзорского парка и были самой счастливой семьей на свете, имея двух здоровых мальчиков, чьи каждодневные проделки заставляли родителей и тетю постоянно быть начеку, и достаточно денег, чтобы Генри-старший мог удовлетворять свои личные запросы среди

---

[30] Сноски: 30

Реформ-клуб основан в 1836 г. Эдвардом Элисом. Членство в нем было строго ограничено: принимали лишь тех, кто поддерживает Парламентскую реформу 1832 г. — первую реформу избирательного права в Англии. Позднее потерял политическую направленность и стал просто клубом для джентльменов.

наиболее известных умов эпохи, предаваться поискам истины, а если ее не удастся найти, сделать свое путешествие за нею запоминающимся, серьезным и небезвыгодным. Генри-старший интересовался добродетелью, великим благим планом, который Бог установил для человека. Каждый из нас, верил он, должен учиться расшифровывать этот план и жить так, как будто никто никогда не жил прежде. Свою задачу — читал ли он, писал ли, беседовал или воспитывал детей — он видел в том, чтобы примирить сущностную новизну и добродетельность каждого представителя рода людского с тьмой, которая лежит повсюду и таится внутри.

Пока Генри готовился покинуть Лондон, Эдмунд Госс регулярно навещал его, стараясь, однако, не слишком отвлекать Генри и не злоупотреблять его неизменным гостеприимством. Он читал те немногие сочинения Генри Джеймса-старшего, что пересекли Атлантику, и очень заинтересовался, по собственным причинам, детским опытом, особенно младенчеством, которое, как он убедился, посетив серию лекций, могло повлиять на поведение человека куда сильнее, чем предполагалось ранее. Его очаровал рассказ Генри-старшего о главном событии его жизни,

которое произошло в доме, арендованном им в Большом Виндзорском парке.

Его отец описал то, что произошло с ним в коттедже рядом с парком, как момент откровения и возвышенной радости. Он часто говорил об этом, и Генри помнил, как мрачнело лицо матери всякий раз, когда он затрагивал эту тему. Тетушка Кейт тоже мрачнела, но именно она множество раз пересказывала Генри эту историю, и он хорошо помнил выражение глубочайшего удовлетворения на ее лице, оттого что ее можно снова и снова рассказывать такому заинтересованному и внимательному слушателю, как юный Генри.

Госс не знал, что, когда это произошло, Генри тоже находился в доме, только был совсем малышом. Он поднял эту тему, просто чтобы спросить, повлияло ли это событие на дальнейшее поведение отца Генри. А узнав, что Генри и Уильям присутствовали тоже, тихо и настойчиво попросил рассказать все, что Генри знает, пообещав, что это не будет опубликовано или предано огласке. Генри заметил, что был младенцем и ничего не помнит, а мнение его отца уже опубликовано в его книге.

— Но ведь наверное в семье об этом рассказы-

вали? — спросил Госс.

— Да, тетушка Кейт говорила со мной на эту тему, но маме это не нравилось.

— Ваша тетя присутствовала, когда все произошло? — спросил Госс.

Генри кивнул.

— И как она это описывала?

— Она была великой рассказчицей, так что никто не может быть уверен в ее правдивости, — сказал Генри.

— Но вы должны передать мне ее слова.

Он попытался воспроизвести Госсу то, что рассказывала ему тетя. Это случилось однажды пополудни поздней весной — повествование она всегда начинала так, — денек стоял непривычно теплый и ясный для этого времени года, и, когда они все поели и встали из-за стола, ее шурин остался сидеть один, как всегда погруженный в свои мысли. Часто, рассказывала она, он вставал и, словно слепой, шел, чтобы взять перо и бумагу, и строчил как одержимый, перечитывал некоторые страницы и, смяв их в комок, яростно швырял в стенку. Не то бросался искать какую-то книгу — внезапно вскакивал и слишком быстро шагал через комнату, волоча за собой деревянную ногу, словно она стала ему обузой. Порой

смысл книги или ее пафос приводили его в исступление. Происходила битва (тетушка Кейт всегда использовала одни и те же слова) между его собственным мягким характером и тяжкой пуританской дланью, которую его отец, старый Уильям Джеймс из Олбани, возложил на его плечо. И куда бы он ни отправился, говорила она, Генри Джеймс-старший видел любовь и красоту Божьего Замысла, но старая пуританская жилка не позволяла ему верить собственным глазам. День за днем продолжалась его внутренняя битва. Он был беспокоен и невыносим, но в своих исканиях также был невинен и легко очаровывался. Первый величайший кризис настиг его еще в юные годы, когда после пожара ему пришлось ампутировать ногу, а теперь, поздней лондонской весной, его ожидал второй.

— Тетушка Кейт, — заметил Генри, — весьма драматично передавала события. Она рассказала, что они оставили его одного за чтением. День стоял тихий и теплый, и они повели нас — маленьких мальчиков — на прогулку. Он был один, когда начался приступ. Это появилось внезапно, из ниоткуда, словно громадная, неясная тень в ночи, злая, искалеченная птица с хищным клювом, нахохлившаяся в углу, готовая схватить

его, — черный дух, но осязаемый, видимый, шипящий, пришедший за ним одним. Он знал, зачем этот дух явился, рассказывала она. Он пришел, чтобы его разрушить. С этой минуты отец был низвержен до состояния испуганного ребенка и ужасался еще и еще, пока не поверил, что это никогда не оставит его, чем бы оно ни было. Когда его нашли, он лежал на полу, скорчившись, закрывал уши руками и скулил, звал домашних на помощь. Уильяму и мне было всего два с половиной года и год от роду, и мы, в свою очередь, были очень напуганы зрелищем отцовского страха и его рыдающим голосом. Тетушка Кейт немедленно увела нас прочь. Уильям, по ее словам, был бледен как мел еще несколько дней после того и не мог спать в комнате без мамы. Ни он, ни я, разумеется, ничего не помнили о том событии.

— Никто не может гарантировать этого, — заметил Госс. — Воспоминания могут быть заперты внутри.

— Нет, — сурово ответил Генри. — Ничего у нас внутри не заперто. Мы не помним об этом. Я совершенно уверен.

— Продолжайте, пожалуйста, продолжайте, — попросил Госс.

— Тетушка рассказывала, что маме пришлось

самой поднимать его с пола. Сперва она была уверена, что на него напали бандиты, а потом ей пришлось выслушать описание того, что он видел, убеждать, что нет никакой черной тени, никакой странной фигуры, скорчившейся в углу, что он в безопасности. Она никак не могла унять его плач и так до конца не поняла в точности, что же случилось на самом деле. Вскорости она догадалась, что он говорит то ли о животном, то ли о злодее, и что все это случилось лишь у него в голове, в его воображении. Это было мрачное виде́ние, и она сделала то, что делала еще в первый год их брака, когда у него случались ночные кошмары. Она нашла ножницы и медленно и нежно начала стричь ему ногти, мягко уговаривая и заставляя сконцентрироваться на движении ножниц. Когда он успокоился, она отвела его в их комнату и осталась там с ним.

— И бросила вас одних? — ахнул Госс.

— Нет, конечно же нет, — ответил Генри. — О нас заботилась тетя. Когда мы уже легли спать, а отец постепенно успокоился, они сидели с матерью и ломали голову, к кому обратиться за советом и что делать. Отец, когда мама начала баюкать его, умолк и застыл с пустым взглядом и открытым ртом. Он не переставал тихо всхли-

пывать и бормотать фразы, казавшиеся полной абракадаброй. Они были далеко от дома и не знали никого, кроме выдающихся друзей отца, не знали, можно ли обратиться к Карлейлю[31] или Теккерею за советом, как помочь такому пациенту, если это правильное слово, и, конечно, спросить, естественны ли такие мрачные и пугающие моменты для людей, которые выискивают смысл и значение вещей, находящихся за пределами их профессиональных или домашних обязанностей.

— Так что же они сделали? — спросил Госс.

— Той ночью мой отец спал, как и мы, но две женщины стерегли нас, осознавая, что жизнь теперь изменится. Мама знала, что это такое, утверждала тетушка, и всегда верила в это, что бы там ни говорили. Она верила, что философа посетил дьявол, но это был дьявол, которого мой отец вообразил или увидел в своей жизни-сне, которая странным образом переплелась с его читательской жизнью в те месяцы. Мама верила в дьявола, но знала, что только отец может его видеть и что для него дьявол совершенно реа-

[31] Сноски: 31

Томас Карлейль (1795–1881) — шотландский писатель, историк и философ, известный как один из блестящих стилистов викторианской эпохи; жил в Лондоне в Челси.

лен — лицо, маячившее по ту сторону стекла в каждом окне, к которому он приближался. Никто другой не мог его увидеть, потому что никто другой не углублялся в мысли и верования, в которых тьма как таковая и дьявольщина были бы изгнаны из нашего представления о мире. Таков был мой отец.

— Но что же в итоге сделали ваша мама и тетя? — спросил Госс.

— У них на попечении, сказала тетушка, было двое ребятишек и дом, дальше этого они не заглядывали. Доктора настаивали на полном покое, ничего не писать и не читать, и даже не думать, если получится, отменить все визиты. По воспоминаниям тетушки, в те месяцы каждый раз, когда мать входила в комнату, отец тянулся к ней, словно дитя, которое просится на руки. Он боялся, что видение снова вернется, обшаривал взглядом углы комнаты и окно. Он жил в своем, отделенном от них мире, даже речь его, казалось, была нарушена.

— Тетушка рассказывала, как это действовало на вас с братом? — спросил Госс.

Генри вздохнул. И зачем он только согласился рассказать другу эту историю?

— Однажды, когда его беспокойство стало

особенно сильным, я впервые начал ходить сам, — сказал Генри. — Это началось внезапно и на удивление быстро, очень скоро я стал уверенным и резвым маленьким пешеходом. Я как будто поменялся с отцом местами. Постепенно стало понятно, почему я так быстро учился. Я хотел следовать за Уильямом, куда бы тот ни шел, я жадно следил за каждым его движением, а теперь я повсюду ходил за ним хвостиком, буквально липнул к нему, к вящему его негодованию. До этого я мало улыбался или смеялся, но теперь умел ходить и смеялся каждой проделке Уильяма, которая казалась мне хоть чуточку смешной. Как сказала тетушка Кейт, к началу английского лета для домочадцев настали трудные времена.

— Могу себе представить, — сказал Госс. — Просто невероятно!

— В конце концов, конечно же, все забылось, — продолжал Генри. — Или, как вы знаете, стало достоянием истории в качестве важной вехи на пути восхождения моего отца к вершинам знания и мудрости.

— А домашние думали так же?

— Нет, — усмехнулся Генри. — Нет, тетушка говорила, что им никогда так не казалось, ни ей, ни ее сестре. Но самое ужасное для них, что отец

начал описывать это мрачное испытание всем своим визитерам, а потом и незнакомым людям. Таким образом, как вы, должно быть, читали, он познакомился с одной дамой, некой миссис Чичестер, и описал ей свое скорчившееся, шипящее чудище. Миссис Чичестер немедленно сообщила ему: то, что он пережил, случалось и с другими людьми, это знамение того, что он подобрался совсем близко к постижению великого замысла, Божьего чаяния для человека, заявила она, и он просто обязан прочесть шведского философа Сведенборга[32], который разобрался во всем этом, как никто другой. В то время отец, похоже, в каждой новой гипотезе находил лишь очередное подтверждение предыдущей. В Лондоне, хотя ему было предписано ничего не читать, он изучил две книги Сведенборга и в одной из них отыскал, что случившееся с ним в тот день называется «отщечение»[33], и с той поры твердо уверился. Похоже,

[32] Сноски: 32

Эмануэль Сведенборг (1688–1772) — шведский ученый и теософ-мистик.

[33] Сноски: 33

Отщечение — славянское слово, которое ввел А. Н. Аксаков при переводе книги Э. Сведенборга «О небесах, о мире духов и об аде» (1758) для обозначения слова «vastatio» — «опустошение, которому подвергается человек относительно благ и истин своих, чтоб он не уносил их с собой в ад; или относительно лжи и зла своего, чтоб он был свободен от них на небесах».

это самое «отщечение» было шагом на пути к полному постижению того, что Бог создал нас по своему образу и подобию и что наши побуждения и страсти, наши мысли и чувства глубоко священны. Таким образом, мой отец вновь обрел радость и, сполна начитавшись Сведенборга, уверовал в свою миссию нести правду всему человечеству, во всяком случае его англоязычной части, и особенно в Америке, — хотя, должен добавить, усилия его по большей части пропадали втуне.

— Наверное, этим объясняется, почему вы вернулись сюда, — сказал Госс.

— В Англию? — спросил Генри.

— Поближе к тому месту, где все это произошло. В лекциях говорится, что ребенок все воспринимает, сохраняет, но не впитывает своим, так сказать, «бессознательным».

— Почему же тогда Уильям не здесь? — спросил Генри.

— Не знаю, — сказал Госс. — Загадка.

— Возможно, вы поймете, если я скажу, что больше не хочу это обсуждать, — сказал Генри.

Несколько дней он не мог работать, а проснувшись наутро, чувствовал глубочайшее сожаление, что рассказал эту историю Госсу, пока не выкинул этот эпизод из головы, чтобы спокойно

продолжить строить планы на будущее.

Бывало порой, что Генри казалось — он пишет слишком много и слишком быстро, чересчур загружает работой своего шотландца. Стоило рассказам появиться в журнале, как он терял к ним всякий интерес, перечитывая лишь раз перед книжной публикацией, а затем забывая о них. Впрочем, когда вышел его новый сборник «Смятения» и у Госса нашлось немало чего сказать об одном рассказе оттуда, Генри перечитал его, чтобы обсудить с другом подробнее. Это был один из рассказов о привидениях, «Как это все случилось»[34], и теперь он показался ему слишком легковесным, чтобы выжить даже в качестве беллетристики. Госс хотел обсудить технику повествования от первого лица — как трудно сделать голос персонажа убедительным. Его друг, считал Генри, слишком вежлив и тактичен, чтобы позволить себе отклониться от общей темы и перенести внимание на конкретный рассказ. И хотя дискуссия об этом произведении, растянувшаяся на несколько встреч, уже начала

[34] Сноски: 34

Опубликованный в названном сборнике «Embarrassments» (1896) как «The Way It Came», рассказ получил новое название «The Friends of the Friends» («Друзья друзей») при переиздании в 24-томном собрании сочинений Джеймса, выходившем в 1907–1909 гг.

его раздражать, второй вопрос, поднятый Госсом, заинтересовал его чрезвычайно. Госс настаивал, что, раз большинство читателей до конца не верит в привидения, большинство историй о привидениях звучат недостаточно убедительно. Истории о привидениях должны одновременно содержать возможность рационального объяснения происходящего. Они должны быть пугающими, но в рамках вероятного, настаивал он.

Генри был с ним не согласен. Он полагал, что рассказы вправе давать пищу любым предположениям, вплоть до самых диких, однако его заинтересовала аргументация Госса, пусть даже она была слишком догматичной и стремилась навязать правила в таких вопросах, где, по мнению Генри, требовалась бóльшая свобода действий. В глубине души Генри ужаснулся этому рассказу и жалел, что включил его в сборник; лучше было бы оставить его за бортом. И его возмущало, что Госс это заметил.

В одну из таких вечерних бесед с Госсом Генри рассказал между делом, как приобрел Лэм-Хаус, упомянув хозяина скобяной лавки Мильсона в качестве паромщика, ожидающего возможности перевезти его через реку к идеальному уединению, упорядоченному счастью. Тогда же

он поведал Госсу о визите Хоуэллса и о том, как благодаря новой возможности американских публикаций трансформируется его финансовое положение, будто старый друг вручил ему монету, чтобы положить под язык, и помог отправиться в путешествие в царство Аида.

— Да уж, воистину, — рассмеялся Госс, — Рай и впрямь мертвое царство, особенно в будни зимой, да и, рискну предположить, по выходным тоже.

— Будь я Эдгаром По, — сказал Генри, — написал бы рассказ: герой приезжает в незнакомый дом, а дверь этого дома — это дверь в могилу.

— Вы будете тосковать по Лондону, и это все решит, и вы сбежите, отделавшись простым испугом, какой сельская жизнь нагоняет на неосторожных, — сказал Госс.

Генри пообещал «Кольерсу»[35] новую повесть в рамках ходатайства Хоуэллса от его имени и, сверившись с записными книжками и еще раз обсудив с Госсом проблемы достоверности в современной истории о призраках, но не посвящая его в свои планы, приступил к работе. На этот раз он оформит текст как повествование от первого

---

[35] Сноски: 35

Collier's — еженедельный американский журнал, основанный Питером Фенелоном Кольером в 1888 г. и выпускавшийся до 1957 г.

лица, оставленное главной героиней, которое теперь извлечено на свет для прочтения в выходной на вечеринке в загородном доме. Ему до смерти хотелось нагнать страху на шотландца, и, начав диктовать свою повесть, он внимательно следил за ним, так что от него не укрылось бы ни малейшее изменение выражения лица, ни побледнение кожи.

Голос его рассказчицы будет звучать собранно и по существу, в мягком тоне ее будут сквозить доброта и готовность ценить любого нового человека и каждый новый опыт как награду, посланную ей в обмен на ее сообразительность и чувствительность. Он искал тон голоса, исполненный спокойного принятия, смиренной компетентности, сочетающий авторитетность с преданностью долгу, привычным стремлением делать все наилучшим образом, тон человека, который не станет жаловаться и для которого пронзительность — один из наихудших пороков. Ему нужен был голос, которому безоговорочно поверит и доверится каждый читатель, а еще ему нужен был литературный стиль, от которого веяло бы ароматом пятидесятилетней старины — наша героиня была заядлой читательницей, — перемежающийся время от времени

простыми, яркими предложениями.

История эта пролежала в его записных книжках более двух лет и в то время являлась к нему мимолетными вспышками, но ничего похожего на форму или на зачин не вдохновляло его до сего дня, когда он понял, что ему для нового редактора «Кольерса» понадобится именно такой текст — крепкий, страшный и драматический, — нечто, способное захватить читателей, чтобы они хотели читать дальше. В основе была туманная история, рассказанная ему архиепископом Кентерберийским, о двух детях, оставленных опекуном на попечение гувернантки с указанием ни при каких обстоятельствах не связываться с опекуном.

Было просто облечь плотью эти голые кости, ввести радушную, надежную экономку, сделать девочку нежной и красивой, а мальчика — очаровательным и загадочным, а сам дом, странный старый дом, превратить в большое приключение для нашей героини-гувернантки. Он хотел, чтобы она не обладала навыками рефлексии или самоанализа, хотел, чтобы читатель узнавал о ней через ее наблюдения и, конечно, через то, что именно в своем рассказе она обходит молчанием. Так читатель увидит мир ее глазами, но все же,

несмотря на все ее усилия скрыть себя и подавить проявления своей личности, увидит и ее, причем так, как она себя видеть не может.

Пустой дом наполняют гулкие звуки. Двое подопечных гувернантки никак не тяготятся тем, что их оставили одних. Они выставляют себя напоказ перед гувернанткой и доброй экономкой точно переполненные сосуды, которые довольствуются тем, что есть, и им не нужно ничего большего. Все звуки — изнутри и снаружи — зловещи и сопровождаются таким же зловещим эхом. Он постарался как можно раньше ввести тот момент, когда, удалившись ко сну, гувернантка слышит отдаленный детский плач, а потом за ее дверью звучат легкие шаги. Все это, решил он, расхаживая по комнате и диктуя, должно показаться пустяком и обрести значение только в свете (или во мраке) того, что должно произойти.

Он начал эту повесть чисто как журнальную поденщину для выполнения контракта, призванную понравиться самой широкой аудитории, и работал соответственно, чтобы дописать ее к концу года. И не мог понять, почему она так тревожит его каждый божий день весь месяц, пока он готовится к переезду в Лэм-Хаус. Не мог понять, почему голос, который он так проду-

манно создавал, так тщательно контролировал и которым так искусно манипулировал, подействовал, похоже, на него самого — да так, что он позволил своей гувернантке такую власть и свободу, которых никогда для нее не предназначал. Он позволил ей обманываться, чего никогда не позволял никому прежде. Он дал ей разрешение упиваться опасностью, ждать ее, приближать, всячески подавать ей знаки, призывая на свою голову. Он наслаждался, пугая ее. Он превратил ее одиночество, ее изоляцию в страстное желание кого-нибудь встретить, увидеть лицо в окне, фигуру вдалеке.

Он знал, что это страстное желание со временем возникнет и у него — скрипнет ли калитка в саду, или ветки деревьев вдруг стукнут в окно, пока он будет читать при свете настольной лампы или лежать без сна в этом старом доме, и за секунду до того, как разумная мысль выплывет на поверхность, первой мыслью будет радость от того, что грядет сейчас, что нарушит печальную, бессильную монотонность его собственного «я», первым ощущением — всплеск отчаянной надежды, что оно наконец явилось, чем бы оно ни было. Даже в самой мрачной своей форме оно способно принести миг чистого, острого освобож-

дения, какой дарит вспышка молнии ломкому воздуху над иссушенным ландшафтом.

Он трудился. Медленно и неуклонно вел историю к высшей точке возбуждения. Он начинал предложения просто, декларативно, как будто страх увиденного ожесточал дикцию гувернантки, принуждал ее к прямому, правдивому высказыванию. Человек, заглянувший в окно, был тем, кто ей уже являлся прежде. Он был точно таким же. Он прижал лицо к стеклу и уставился ей в лицо злобным, бездонным взглядом, пока она не осознала то, во что никогда не перестанет верить. И еще больший ужас охватил ее оттого, что не за ней он пришел. Он пришел за детьми.

Работая над повестью, он не продумывал детально образ детей. Он наделил их именами и позволил гувернантке описывать их прилагательными в превосходной степени. Впрочем, постепенно ему стало совершенно ясно, что он представил их весьма странными личностями, которые подспудно, ничем себя не выдавая, оказывают сильнейшее сопротивление гувернантке. Она не осознает этого, и все-таки, что бы он ни делал с ее словами, юного Майлза и маленькую Флору он сотворил детишками себе на уме.

Всякий раз, когда он описывал появление при-

зрака или бесплотное и зловещее присутствие Питера Квинта, все это не имело значения. Сама по себе сцена, пустота дома, его новизна для гувернантки, а затем навязчивая фигура, совершенно реальная для нее и кажущаяся реальной для детей и экономки, миссис Гроуз, заставила его содрогнуться, когда он вызвал ее в своем воображении. Он наблюдал за Макалпайном, ища признаки интереса, но ничего не нашел. Он знал, что спрашивать Макалпайна, не находит ли он эти сцены тревожными или пугающими, было бы нарушением приличий. Правда, бóльшую часть времени он не думал о Макалпайне и даже звук ремингтона не замечал. Бóльшую часть времени он концентрировался на самом голосе, на красочной версии того, что увидела гувернантка, в ее собственном изложении. Его главной задачей стало не позволить читателю задаваться вопросом, а почему, собственно, гувернантка не может связаться с опекуном. Он стремился предложить достаточно подробностей, быстроту движений и стремительность развития сюжета, дабы сохранить выдумку о том, что она одна и действовать должна в одиночку. Он вознамерился уговорить читателя стать ее глазами и ушами и таким образом проникнуться ее духом, беспрекословно

поселиться в ее сознании.

Повесть вышла в «Кольерсе» двенадцатью еженедельными публикациями. Уложиться в срок не составило труда. Он знал, что́ должно произойти, и порой он мягко зависал над очередным страхом, придуманным им для гувернантки, наслаждаясь молниеносной логикой ее ума, убеждаясь, что уже в который раз дал понять, что дети знают все и ничего не знают. Эти Майлз и Флора были самой ненадежной парочкой, какую он когда-либо придумал. Они научились противостоять всему, кроме очевидной опасности, и порой во время работы он сам не знал, что происходит и как это понимать.

Он знал, что находится в лучшей рабочей форме, чем когда-либо. Шотландец был безмолвен, предан и прилежен. Произнесенные вслух предложения обретали бо́льшую силу и устойчивость, чем когда он писал их от руки. Созерцание их тем же вечером в чистовом варианте немедленно наделяло их властью. Он всегда знал, что делать, какие внести поправки, что вычеркнуть. И эта квартира в Кенсингтоне вскоре будет для него потеряна, ее придется пересдать или продлить договор, но она перестанет быть его квартирой, и каждый день, ходя по комнатам, он впитывал

их атмосферу, как будто для него было жизненно важно запомнить их навсегда. Днем к нему никто не приходил, никто его не беспокоил, лишь антикварные экспедиции в одиночестве или с леди Вулзли да консультации с Эдвардом Уорреном, который занимался ремонтом Лэм-Хауса. Теперь он с удовольствием обедал вне дома и с восторгом принимал приглашения. Скоро все это закончится, станет частью прошлого. Он покинет Лондон.

Когда он работал по утрам, вырисовывая сцены во всем их драматизме и страхе, его собственные сцены приходили к нему, словно резкие и точные удары, заставляя сомневаться и в конце концов прекращать работу. В одно из таких утр, когда он диктовал сцену, где Флору уличают в том, что она покинула постель, а ее гувернантка уверена, что девочка солгала, будто ничего не видела, он поймал себя на том, что чуть было не сказал «Алиса» вместо «Флора». Он спохватился до того, как имя сорвалось с языка. История, ставшая для него такой реальной, насыщенной и неотложной, была прервана не чем-то призрачным, а воспоминаниями, явившимися со всей своей болью и во всех своих конкретных подробностях. Они вступили в схватку с повестью об ужасах и победили. Они овладели им, ему пришлось прерваться, уйти к

себе в спальню и постоять там в одиночестве у окна. А потом вернуться к мистеру Макалпайну и сказать, что в этот день его услуги больше не понадобятся. Это был единственный раз, подумал он, когда он заметил тень удивления на лице своего личного секретаря, но она быстро исчезла, Макалпайн собрал свои вещи и удалился без лишних вопросов и комментариев.

В той сценке, что пришла ему на память, Алисе было лет пять или шесть. Они вернулись в Ньюпорт, а может, впервые туда приехали, и несколько дней она находилась под присмотром тетушки Кейт, пока ее родители отсутствовали, и тетушка Кейт, по мнению Алисы, слишком ограничивала ее маленькую личность, гораздо больше обычного. Когда дитя указало ей на это, тетушка Кейт стояла на своем, требуя, чтобы ее инструкции неукоснительно выполнялись, пока Алиса не разозлилась. Она стала взывать к помощи братьев, но те ее не поддержали, и тогда она надулась и обиделась. Затем, осознав, что придется еще два дня страдать при новом режиме, пока не вернутся родители, она решила подчиняться тетушке Кейт во всем, явив собой ярчайший в Ньюпорте, ежели таковой понадобился бы Ньюпорту, пример послушной девочки.

Никто, кроме братьев и тетушки Кейт, не заметил, как она обращалась с тетушкой Кейт весь следующий месяц. Тетушка Кейт не могла пожаловаться, потому что нападки Алисы были слишком спорадичны по времени и комичны по тону, да и в любом случае львиная доля их совершалась у нее за спиной. Если тетушка Кейт улыбалась или тепло приветствовала гостя, ее маленькая племянница стояла у ее юбки и нелепо ухмылялась, явно передразнивая ее. Все особенности тетушкиной речи, ее «Боже милостивый!» и «Так-так» перекочевали в речь Алисы, однако в преувеличенной форме. Алису часто заставали за дерзким разглядыванием тетушки, но она никогда не делала этого достаточно долго, чтобы заметила мать. Она часто ходила по пятам за тетей без всякой причины, ступала на цыпочках, пародируя походку старой девы средних лет.

Сама тетушка Кейт не видела чрезмерных усилий Алисы в попытках подорвать ее авторитет и отомстить, и родители Алисы провели лето в счастливом неведении, созерцая невинность своих детей и радуясь отсутствию в них скрытности и лживости. Уильяму больше всех нравились выходки Алисы, и он поощрял их, но импульс исходил только от самой Алисы. Наверное, это

приходило к ней в голову, как только она просыпалась, и, казалось, не покидало весь день. Все закончилось просто потому, что Алиса сама утомилась кривляться.

Вот такой мир он создал для Майлза и Флоры, двух своих невинных и прекрасных покинутых детишек. Их личные сущности оставались обособленными; они позаботились о том, чтобы их способность дистанцироваться от «приятной обязанности» не была очевидной. Он отдал этой повести все, что знал: свою жизнь и жизнь Алисы в те годы, когда они были одни в Англии; всю жизнь преследовавшую его семью вероятность, что зловещая черная фигура покажется в окне и заставит их отца содрогнуться и завыть от страха; и годы, которые ему предстояло провести в старом доме, куда он вскоре отправится, полный надежд, как и его гувернантка, но также и снедаемый дурными предчувствиями, от которых он не мог отделаться.

Теперь и Алиса мертва, и тетушка Кейт в могиле, и родители, которые ничего не замечали, тоже лежат неподвижно в земле, а Уильям — за много миль отсюда, в своем собственном мире, где и останется. И в Кенсингтоне теперь царила тишина, в доме не было слышно ни звука, кро-

ме далекого, неясного, похожего на плач звука его собственного величайшего одиночества, и память его была сродни скорби, и прошлое стояло перед ним с протянутой рукой, моля об утешении.

Глава 7

Апрель 1898 г.

По его просьбе прислали фотографии. Одна, очень детальная, крупным планом изображала памятник солдатам 54-го Массачусетского полка, которых ведет за собой полковник Шоу[36], а другой снимок, сделанный издалека, изображал парк Бостон-Коммон и монумент Сент-Годенса[37] в углу. Генри поднес фотокарточки к окну, чтобы получше рассмотреть их при свете, а потом возвратился к столу, где его ждало письмо Уильяма, в котором тот называл мемориал великолепным произведением искусства — простым и реалистичным. В ушах явственно зазвучал убежденный голос брата. Тот выступил с официальной речью на открытии памятника 54-му

---

[36] Сноски: 36

54-й Массачусетский пехотный добровольческий полк — первое регулярное воинское формирование в истории США, состоявшее полностью из чернокожих, за исключением офицеров. Сформирован в 1863 г., командовал полком *Роберт Гулд Шоу* (1837–1863) — выходец из семьи убежденных бостонских аболиционистов и филантропов.

[37] Сноски: 37

Огастес Сент-Годенс (1848–1907) — американский скульптор, автор целого ряда монументов героям Гражданской войны США. Дал собственную интерпретацию культурного наследия Античности и Возрождения, создав некий синтез обеих культурных традиций.

Массачусетскому — первому чернокожему полку американской армии; в нем служил их брат Уилки. Уильям говорил три четверти часа, а потом, как он выразился, два часа топтался на месте в хвосте процессии. Это был, писал он Генри, необычайный повод для проявления забытых чувств, когда по прошествии времени все смягчилось, опоэтизировалось, утратило реальность.

Генри не составило труда ответить ему, сказать, что он все бы отдал, дабы присутствовать там, и прибавить, осторожно подбирая слова, что дух их бедного мертвого Уилки наверняка витал над парком Бостон-Коммон в день открытия, и это было поэтическим воздаянием ему. Генри обратил внимание, что Уильям не приложил текст своей речи ни к письму, ни к фотографиям, и обрадовался, что на этот раз ему не придется ее комментировать. Уильям теперь стал значимой публичной фигурой, выражался мужественно и бесстрашно отстаивал свое мнение. Потому-то он и мог сорок пять минут в до отказа набитом зале говорить о благородных побуждениях янки и наследии павших Союза[38], особенно погибших из

[38] Сноски: 38

Союз (*англ.* Union) — федерация 24 северных штатов США в период Гражданской войны, противостоявшая южным Конфедеративным штатам Америки.

54-го и 55-го полков, где сражались Уилки и Боб.

Несколько предложений из первого рассказа Генри о Гражданской войне оставались в его памяти все эти годы: «Его героические свершения отражены в общедоступных журналах того времени, где любознательные могут и сейчас их отыскать. Я всегда предпочитал историю незаписанную, и нынче я занимаюсь тем, что рассматриваю картину с обратной ее стороны»[39]. Интересно, думал он весь день, снова и снова разглядывая фотографии, а что его собственная речь, его обратная сторона картины, могли бы поведать о 54-м полке и Гражданской войне? А еще он думал об одном незаданном и бестактном вопросе — сильном вопросе, который мог бы подорвать мощь речи Уильяма на открытии монумента. Он касался Уильяма лично, да и Генри тоже. И тихим шепотком он вопрошал сейчас, почему ни тот, ни другой не боролись, вместе с двумя своими братьями, за дело свободы?

Историю о деревянной ноге отца Генри с удовольствием слушал все свое детство, и она никогда не надоедала. Всякий раз, когда появ-

---

[39] Сноски: 39

Из рассказа «The Story of a Year» («История одного года»), опубликованного в бостонском журнале *The Atlantic Monthly* в марте 1865 г.

лялись признаки того, что Генри заболевает, когда он ранился или больно падал, или когда соглашался выполнить какое-нибудь трудное задание, он заручался обещанием мамы рассказать эту историю, и она рассказывала так, словно сама была свидетельницей тех давних событий. Мальчишкой его отец любил всякие игры, рассказывала она, родители воспитывали его весьма строго, поэтому он всегда чувствовал себя счастливее, держась подальше от них. Больше всего ему нравилось играть с друзьями. В парке они частенько запускали воздушные шары, наполнив их горячим воздухом, — весьма небезопасная была забава. При помощи скипидарного спирта мальчики разжигали пламя, над которым поднимался нагретый воздух. Когда шарик вспыхивал, следовало быть начеку, потому что он мог приземлиться прямо тебе на волосы или на одежду и ты тоже мог загореться — ведь скипидар очень легко воспламеняется, рассказывала мама медленно и печально, и лицо у нее было очень серьезное.

Генри обожал слово «воспламеняется» и заставлял маму повторять его снова и снова. С малых лет он уже знал, что оно означает. В тот день, продолжала мама, отец случайно пролил

скипидар себе на штаны и, не понимая, в какой он опасности, стоял вместе с другими ребятами, любуясь, как шары взлетают, а потом занимаются огнем и падают один за другим, и все мальчишки стояли в сторонке и предупреждали друг друга об опасности. Но твой отец, рассказывала мама Генри, увидел, как один пылающий шар летит прямо к конюшне рядом с парком, а он любил лошадей, и молодые конюхи иногда позволяли ему их кормить. Поэтому когда он увидел, что шар приземлился на сеновал над стойлами, он понял, что́ грозит лошадям, и побежал к сеновалу и взобрался по лестнице, чтобы потушить пожар. И тогда — тут мама брала Генри за руку — он попытался затоптать пламя, ведь огонь был слабый и сено даже не успело загореться, но как только пламя коснулось скипидара на его штанах, твой отец, которому тогда едва исполнилось тринадцать лет, вспыхнул как свечка, и никто не мог ему помочь. Он с криком спрыгнул с сеновала, но, пока потушили пламя, обе его ноги были так страшно обожжены, что одну даже пришлось ампутировать. Ее отрезали выше колена — тут мама обхватывала рукой то самое место над его коленом, но он не вздрагивал и оставался спокоен, даже когда она объясняла и как это было

больно, и каким храбрым был его отец, и как отчаянно он старался не кричать. Но под конец, говорила она, боль стала невыносимой, и крики его, говорят, были слышны на много миль вокруг. В течение двух лет после этого он был прикован к постели, вынужденный смириться с будущим, в котором больше не сможет ни бегать, ни играть. Ему пришлось обзавестись деревянной ногой, и это было даже бóльшим испытанием для его стойкости, чем боль ампутации. Как ни странно — тут ее голос наполнялся нежностью, — было и одно хорошее последствие у этого несчастного случая. До той поры отец вашего папы был очень суров к нему и слишком занят, у него были тьмы тем своих дел — тут она внимательно смотрела на него, и он кивал, мол, он знает из Библии, что такое «тьмы тем»[40], — а у матери было огромное хозяйство и другие дети. Но теперь, после несчастного случая, они пришли на помощь своему сыну, проявляя к нему новую глубочайшую нежность, и он почувствовал, что их любовь ограждает его и защищает от невзгод. Поначалу они от него ни на шаг не отходили, а отец, казалось, чувствовал его боль и разделял его панический страх — до такой

[40] Сноски: 40

«И я видел, и слышал голос многих Ангелов вокруг престола и животных и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч» (Откр. 5: 11).

степени, что отца не раз выводили из комнаты в рыданиях. Наконец их сын начал выздоравливать, а они старались предоставить ему все, в чем он нуждался, и постепенно отец заменил мечты о беге взапуски и играх жизнью разума, книгами и размышлениями. Генри-старший начал рассуждать о судьбе человека в этом мире и человеческой жизни по отношению к Богу, как никто в Америке не рассуждал до него. Все необходимые познания он почерпнул из Библии и юношеского богословия, но те два года, что он был прикован к постели, ему позволено было читать все, что душе угодно, и, конечно, у него было время подумать. Вот отсюда берет начало, говорила мать, благородная миссия твоего отца. Позже, когда отец свел дружбу с Эмерсоном[41], тот любил повторять, что у Генри Джеймса перед ним большое преимущество — он узнал о страданиях не понаслышке и научился думать и читать вдали от школьных учителей и приятелей-однокашников. Эмерсон всегда утверждал, говорила мать, что отец твой обладал поистине

[41] Сноски: 41

Ральф Уолдо Эмерсон (1803–1882) — американский эссеист, поэт, философ, пастор, лектор, общественный деятель; один из виднейших мыслителей и писателей США. В своем эссе «Природа» («Nature», 1836) первым выразил и сформулировал философию трансцендентализма.

оригинальным умом.

По воскресеньям, во время каникул, когда они путешествовали, и в те дни, когда не ходили в школу, Генри держался поближе к матери. Пока остальные дети утверждали себя в играх или мальчишеских проделках, он дожидался, чтобы мать закончила с делами, и они молча уединялись где-нибудь в укромном месте, частенько оставляя тетушку Кейт доделывать мамину работу, и разговаривали, или мама ему читала, или они вместе перебирали какие-нибудь ее вещи, приводили их в порядок.

Семейство делилось на три части — Уильям и Генри, за образованием которых придирчиво следил отец; Уилки и Боб, резвые и шумные, лишенные всякого интереса к учению, чем сильно расстраивали отца, посему он посчитал, что отправить их в школу вместе может быть не только удобно, поскольку они погодки, но и весьма эффективно. Уилки мог перенять у Боба его осторожность; а Боб под влиянием Уилки научился бы ладить с людьми и улыбаться знакомым. Алиса же была независимой республикой.

Когда их спрашивали, особенно пока они жили в Ньюпорте, чем занимается их отец, все пятеро детишек Джеймсов затруднялись с ответом. Отец

жил на свое наследство, доходы от аренды и дивиденды, но это вряд ли можно назвать «занятием». Еще он был чем-то вроде философа, время от времени читал лекции и публиковал статьи. Но ничто из этого не слагалось в простую фразу, простой ответ. А когда по наущению отца они стали отвечать, что он занят поисками истины, это озадачивало еще больше. Они взрослели, и второй вопрос, который все чаще им задавали, вызывал у них замешательство. Кем хотят стать они сами? Сначала Уильям решил стать художником, а Боб, ко всеобщему веселью, вознамерился открыть галантерейный магазин. Алиса, разумеется, хотела стать женой и хранительницей очага. Но вот чем собирались заняться Генри и Уилки? Отца этот вопрос не интересовал, а с матерью его не так-то легко было обсудить, поэтому его отложили до поры — очередной пример (если таковые необходимы) странности их семьи, которую признавали и они сами, и весь остальной Ньюпорт.

Поскольку отец обожал столкновения взглядов и новые начинания, Генри-старший охотно дискутировал с любым желающим, готов был даже обсуждать политику, если возникала такая необходимость, хотя он считал, что мир политики очень сильно отвлекает и не дает людям возмож-

ности развиваться в великом Свете, который Бог создал для человечества в целом.

Впрочем, Гражданская война начала его увлекать, не только потому, что, по сути, он видел ее как схватку между прогрессом и жестокостью, но и потому, что рассматривал окончание войны как время, когда на первый план выйдут многообразные, изменчивые энергии, когда не будет ни победителей, ни побежденных и совершится грандиозный переход страны от юности к зрелости, от видимости к реальности, от преходящей тени к бессмертной сущности.

Это не помешало Генри-старшему в самом начале Гражданской войны говорить всем и каждому, что он крепко держит за фалды сыновей, которые, по его словам, отчаянно стремятся пойти добровольцами на фронт. Генри-старший не считал, что его собственные сыновья должны вступить в ряды воюющих, поскольку не верил, что хоть одно существующее ныне правительство, да и любое правительство в будущем, стоит честной человеческой жизни или жизни чистой и юной, как у них.

Пока отец находил удовольствие в сочетании политической трансцендентности и благоразумной заботы о своей семье, Генри нашел в кладовке

под лестницей внушительную стопку старых журналов «Ревю де Дё Монд»[42], упакованных в розовато-оранжевую бумагу, и, листая их в уединении своей комнаты, он будто внимал хору серафимов. Одни только имена открывали для него мир возможностей за пределами окружающей серости и обыденности, ура-патриотизма и религиозности: Сент-Бёв, Гонкуры, Мериме, Ренан[43]. Имена, которые означали не только современное мышление в наиболее востребованном виде, но саму мысль как таковую, мышление как своего рода стиль и написание эссе не как убедительный призыв к исполнению долга или серьезное усилие по самоопределению, а как игру, демонстрацию стиля.

Главным утешением в жизни для него стала

---

[42] Сноски: 42

Revue des Deux Mondes — выходивший раз в две недели французский журнал либерального направления. Издавался в Париже с 1829 по 1944 г.

[43] Сноски: 43

Шарль Огюстен де Сент-Бёв (1804–1869) — французский критик, поэт. Основатель психологической критики, придававший большое значение биографическому элементу; *Эдмон Юо де Гонкур* (1822–1896) и *Жюль Юо де Гонкур* (1830–1870), вместе известные в историографии как братья Гонкуры, — французские писатели, одни из основоположников течения литературного натурализма и главные его представители; *Проспер Мериме* (1803–1870) — французский писатель, член Французской академии с 1844 г., мастер новеллы; *Жозеф Эрнест Ренан* (1823–1892) — французский писатель, историк религии, ориенталист и философ-позитивист с идеалистическим уклоном.

закрытая дверь его комнаты и возможность полного уединения за этой дверью. Появившись за семейным столом, он покорно принимал подтрунивания остальных над его молчаливостью, серьезностью, бледностью и отсутствующим видом. Ничто не имело значения, кроме завороженного затворничества не только с «Ревю де Дё Монд», но теперь и с Бальзаком, пишущим о Франции, которую Генри видел лишь мельком, но достаточно, чтобы понять: сам он никогда не обладал настолько многослойной и наводящей на размышления, настолько остро сфокусированной и сконцентрированной темой, какой стала Франция в «Человеческой комедии» Бальзака.

Уильям поступил в Гарвард, Уилки прилагал усилия, чтобы закончить Санборн — школу-интернат, которая была «экспериментом по совместному обучению» под патронатом Эмерсона и Готорна[44], Боб, к тому времени уже закончивший Санборн, отправился в свободное плавание, выставляя себя на посмешище, а мать Генри вдруг принялась опекать своего второго

[44] Сноски: 44

Натаниэль Готорн (1804–1864) — один из первых и наиболее общепризнанных мастеров американской литературы. Внес большой вклад в становление жанра рассказа (новеллы) и обогатил литературу романтизма введением элементов аллегории и символизма.

сына, своего книжного мальчика, словно тот был болен. Мать защищала его уединенность и зорко следила, чтобы никто не высказывал критических замечаний в его адрес, особенно это касалось Генри-старшего. Поскольку тот имел обыкновение прислушиваться только к собственным высказываниям и составлять мнение на их основе, отсутствие его критики в адрес Генри означало одобрение — отец благоволил тому, что не предавал анафеме.

Два или три раза на дню мать начала молча появляться в комнате Генри с кружкой свежего молока, баночкой меда или кувшином прохладной воды. Она входила без стука и обычно не говорила ни слова, и в ее безмолвии, в ее неторопливых движениях сквозило одобрение его работы. Впервые, думал Генри впоследствии, миссис Джеймс стала свидетельницей того, как теория ее супруга о необходимости открывать и исследовать скрытые радости собственной личности путем чтения и раздумий воплощалась в жизнь без каких-либо побочных пылких и сомнительных признаков, которые могли бы ее расстроить.

В один из таких безмятежных ньюпортских вечеров мать зашла к нему в комнату и увидела, что

он заснул в кресле с книгой на коленях. Пробудился он от прикосновения ее прохладной ладони ко лбу и увидел ее встревоженное лицо. Она немедленно побежала вниз и тут же вернулась вместе с горничной. Та приготовила ему постель, а мать тем временем обмахивала Генри свежесмоченной холстиной, пытаясь, по ее словам, остудить его жар. Если это не подействует, сказала мать, она незамедлительно вызовет доктора, но сейчас он должен лечь в постель. Он-де переутомился и теперь должен отдохнуть. Генри прекрасно знал, что вовсе он не переутомился, просто его сморило в сон жарким летним вечером, но к тому времени на подмогу подоспела тетушка Кейт, и вот он уже стал пациентом, требующим пристального внимания, которое в семействе всегда уделялось болеющим.

Мать стала приносить ему еду в постель и позволяла ему не спускаться к гостям, компания которых не была по вкусу, однако следила за тем, чтобы он не был прикован к постели, гулял на свежем воздухе и общался с тем, кто ему по душе. Его болезнь не подлежала обсуждению, и если мать и спрашивала Генри, как он себя чувствует, то интересовалась, все ли по-прежнему или стало чуточку лучше, не давая ему возможности

сказать, что он совершенно здоров.

Так начался заговор меж ними, негласная драма, в которой каждый играл свою роль, зная сюжет, все реплики и мизансцены. Генри научился двигаться медленно, никогда не бегал, улыбался, но никогда не смеялся от души, вставал неуверенно и неуклюже и садился с большим облегчением. Научился никогда не есть от души и не пить вдоволь.

Вскоре после того, как повсюду зазвучали возвышенные и пылкие разговоры о воинском призыве и необходимости служить своей стране, мать денно и нощно бдела над ним со все возрастающей тревогой и все больше потворствовала ему. Часто, просыпаясь поутру, он видел, что мать, тихонько проскользнувшая к нему в комнату, сидит у его кровати, нежно смотрит на него и улыбается утешно, заметив, что он открыл глаза.

Иногда случалось, что он не мог скрыть свою силу или готовность действовать. В том октябре сильный ветер с моря продувал Ньюпорт насквозь, и маленький пожар в конюшне на углу Бич и Стейт стремительно превратился в огненный вихрь. В опасности оказались две улицы целиком со всеми магазинами и барами, стойлами и частными домами, и вскоре,

когда полностью выгорела одна конюшня, всех лошадей, кареты и прочее ценное имущество переправили в безопасное место. Каждый дееспособный житель был необходим, чтобы качать из колодцев воду или носить ее ведрами из цистерн. В ту ночь, когда поднялась суматоха и крики, Генри, не задумываясь, бросился на подмогу и трудился наравне со всеми. Только когда пожар потушили, а руки и спина болели нещадно, он подумал, что мать наверняка сильно волнуется. Мать и тетка, предупрежденные Бобом о том, чем занимался Генри, ждали его возвращения домой.

Они уложили его на диван отдыхать и наполнили для него горячую ванну. Он закрыл глаза, пока они суетились вокруг него. Губы матери были плотно сжаты. Позднее, когда он, приняв горячую ванну, отмытый и усталый, готовился лечь в постель, она высказала свои опасения, что он надорвал спину. Утром увидим, сказала она. Час уже поздний; ему бы лечь и хорошенько выспаться. На следующий день он не вставал до самого ужина. Мать велела ему двигаться помедленнее. Она помогла ему спуститься по лестнице. В столовую он вошел, опираясь на нее, а отец и тетя отодвинули с дороги стулья, чтобы Генри не споткнулся. Ему помогли сесть

и окружили вниманием, уговаривая как следует подкрепиться, чтобы восстановить потерянные силы. Позднее мать помогла ему вернуться в кровать, и в течение нескольких дней он ел только в своей комнате, и все домашние искренне сочувствовали ему.

Очень медленно, уже в следующем месяце, пока Генри начал осваивать искусство перевода с французского, Генри-старший изменил свое мнение о войне. Он начал осознавать, что война — это не просто дело, достойное поддержки чисто теоретически, но миссия, в которой стоит принять добровольное участие. И по мере того как он высказывал это мнение за семейными трапезами, к огромному удовольствию Боба, который был слишком юным, чтобы записаться добровольцем, но достаточно взрослым, чтобы воспылать энтузиазмом, материнская опека над Генри тоже усилилась.

Ни до того, как грянула война, ни в первые ее месяцы Генри с матерью никогда не обсуждали сколько-нибудь подробно его болезнь или ее симптомы. Генри даже не позволял себе трезво поразмыслить, что же за хворь его поразила. Он начал сживаться со своей несостоятельностью, видя в ней не игру или спектакль, а нечто

необычное, тайное. Не настаивая на определении диагноза, позволив сговору с матерью длиться, он искренне проживал свою болезнь, даже когда был один.

Однако в этот первый год войны, по мере того как приходили новости — сперва о кузенах, ушедших добровольцами, включая Гаса Баркера и Уильяма Темпла, брата Минни, которого, к его вящей гордости, в первый же день произвели в капитаны в память о его покойном отце, — тот факт, что сыновья Джеймсов оставались гражданскими, а Генри вообще предавался праздности, не мог быть не замечен теми, кто хоть отчасти интересовался этим вопросом.

Мать Генри понимала, что его абстрактное недомогание, его неведомая хворь не может бесконечно длиться и оставаться неназванной, она нуждалась в профессиональном диагнозе. Поэтому отец отвез его в Бостон к доктору Ричардсону — выдающемуся врачу, ставшему еще более выдающимся в глазах тетушки Кейт благодаря крупному наследству, полученному им после смерти жены. Он был известным экспертом по травмам спины. Много воды утекло с тех пор, как Генри в последний раз тесно общался с отцом наедине. Во время поездки в Бостон Генри-старший,

похоже, испытывал рядом с сыном глубокую неловкость. Как оказалось, он не был уверен, что может поделиться со вторым сыном своими взглядами на перемены, которые произойдут в Америке в результате войны, — единственной темой, которая его тогда интересовала. В основном отец молчал, хотя и не выглядел замкнутым, — он напоминал человека, чей разум напряженно трудится, чей мозг вот-вот придет к некоему грандиозному умозаключению. Казалось, Генри-старший испытывает бóльшие трудности, ходя пешком по Бостону, чем это было в Ньюпорте, словно его уверенность в себе или надежность его деревянной ноги уменьшились по мере приближения к метрополии.

На губах доктора Ричардсона играла тонкая полуулыбка, она светилась в его глазах и не сходила с его чисто выбритого лица, когда он смотрел на пациента. Он молчал, и тогда начал говорить Генри-старший, сообщив, какое долгое путешествие они совершили, сколько у него отпрысков, какова их общая семейная ситуация, а затем начал излагать, какой он видит будущую новую Америку. Улыбка сбежала с лица доктора, он нахмурился. Холодным взглядом он созерцал Генри-старшего и ждал, пока тот закончит. А когда стало ясно, что

конца излияниям не предвидится, доктор просто резко встал и направился к пациенту. Взмахом обеих рук он велел ему снять верхнюю часть одежды. Когда Генри начал раздеваться, его отец запнулся на полуслове, а доктор тем временем подвинул ему стул и жестом пригласил сесть. Генри разделся до пояса, а доктор по-прежнему молчал. Он заставил Генри поднять руки, а затем медленно и дотошно принялся осматривать его костяк — кости предплечий, плечей, грудную клетку. Затем придирчиво стал ощупывать позвоночник. Наконец доктор велел ему лечь ничком на кушетку и повторно все ощупал. После этого жестом дал понять Генри, что тот должен снять все, кроме трусов, его пальцы со знанием дела прощупали кости бедер и таза, а потом повторно прошелся пальцами по позвоночнику, предплечьям и плечам, нажимая так сильно, что Генри морщился.

Генри думал, что его спросят о том, где сосредоточена боль, каков ее характер, и был готов ответить, но доктор Ричардсон ни о чем его не спрашивал, просто ощупывал и осматривал, мял крепкими, внимательными пальцами, медленно и методично, в полном молчании. Наконец он подошел к умывальнику, плеснул воды се-

бе на руки, вымыл их с мылом и насухо вытер полотенцем. Он протянул Генри его одежду и одобрительно кивнул, когда тот начал одеваться, а сам выпрямился в полный рост.

— Здесь нет ничего, что нельзя было бы вылечить хорошей ежедневной физической работой, — сказал он. — Побольше упражнений. Рано вставать, больше гулять… большинство недугов этим не вылечить, но для этого юноши такое лечение — наилучшее. Он в превосходной форме, у него вся жизнь впереди. Мне придется взять с вас плату, сэр, за эту добрую весть. У вашего сына все хорошо, а я не делаю поспешных выводов. Все, что я говорю, является результатом тридцатилетних наблюдений.

Когда Генри наклонился за пиджаком, доктор Ричардсон стиснул его загривок большим и указательным пальцем, да так сильно, что лицо Генри перекосило от боли. Он попытался сбросить руку доктора, но тот только усилил хватку. Сильная у него была рука.

— Рано вставать, больше гулять, — повторил доктор. — Лучшего совета вам никто не даст еще долгие годы. А теперь — домой.

И по сей день, подумал он, столько лет спустя, он ненавидел врачей, и, рисуя портрет одного

из самых неприятных представителей этой профессии в романе «Вашингтонская площадь», он с большим удовольствием наделил своего доктора Слоупера некоторыми наиболее отвратительными чертами и манерами доктора Ричардсона. Он часто спрашивал себя, не стал ли этот визит, полный унижений и грубости, причиной возникновения настоящих серьезных болей в спине, которые мучили его и поныне. Еще он страдал запорами, и в них он тоже часто винил доктора Ричардсона и старался держаться подальше от докторской братии, чтобы те не наслали на него какую-нибудь новую хворобу.

Генри по нескольку раз в день рассматривал фотографии, присланные Уильямом. Он оставил их в одной из комнат нижнего этажа Лэм-Хауса и всякий раз с большим интересом отмечал, какое почетное место занимает памятник на территории парка Бостон-Коммон. Его собственное имя точно так же легко могло оказаться среди погибших или раненых и стать предметом гордости и памяти для брата и всех, кто выжил.

Исследуя околицы Рая, наслаждаясь своей новой жизнью и работой над новым романом и чуть ли не впервые в жизни чувствуя себя как дома, Генри часто задумывался о том, что все ведь мог-

ло сложиться иначе. Он не создан быть солдатом, думал он, но и большинство молодых людей его класса, его круга, тоже не созданные для войны, ушли сражаться. Он не сомневался, что от этого шага его удержала не мудрость, а что-то сродни трусости, и теперь, шагая по булыжной мостовой своего нового города, чуть ли не благодарил Бога за это. Жаль, что радость не была чистой и простой, а возвращалась к нему, как и многое другое, с примесью чувства вины в основе своей, со скорбной памятью о брате Уилки, которую эти фотографии только обострили.

Он вспомнил, как тогда в Бостоне надевал пиджак, пока отец расплачивался с врачом, и как они вместе потом шли по улице. Их взаимное молчание на протяжении всей обратной дороги имело совсем другой оттенок. На этот раз отец погрузился в меланхолическое созерцание. Никто из них, думал Генри, не знал, что сказать матери.

Когда она встретила их на пороге дома в Ньюпорте, вспоминал Генри, у обоих были такие мрачные и обеспокоенные лица, что она тут же решила (как признавалась позднее): новости будут хуже некуда. Она даже заподозрила, что Генри смертельно болен. И с облегчением узнала, что прогноз хороший, что повреждение спины

неопасное и не является симптомом какого-то более обширного заболевания.

— Покой, — сказала она. — Покоя будет вполне достаточно. Несколько дней тебе надо отдохнуть после такого путешествия.

Генри вспомнил, что не сводил взгляда с отца, гадая, собирается ли тот рассказать матери всю правду, но отец именно тогда, как назло, запутался в рукавах пальто и не смог его снять без посторонней помощи. А как только избавился от пальто, он сразу же нашел себе книгу, уселся поудобнее и погрузился в чтение. Генри догадался, что даже в ночном уединении отец так и не откроет матери, что на самом деле сказал доктор. Однако между ним и отцом не было никакой договоренности вводить мать в заблуждение. Теперь Генри понимал: отец не расскажет матери, что ее сын совершенно здоров, поскольку это означало бы явное опровержение ее собственных суждений и критику в ее адрес. А еще — вероятность того, что слабость Генри и его беспомощность вызваны простым желанием большего внимания и сочувствия. Это подорвало бы моральный облик Генри в глазах семьи, поскольку в их доме болезнь всегда воспринималась очень серьезно и подобные игры считались чуть ли не свято-

татством. Это выбило бы из колеи всех, включая отца.

Генри подумал, что отцу нужно время, дабы разобраться в несоответствии между советом «Рано вставать, больше гулять» и тем «лечением», которому подвергался Генри дома.

Генри вполне понимал, что отцовская склонность к переменам может дать о себе знать в любой момент; он хорошо знал, насколько она бывает иррациональна, неконтролируема и сильна. Он знал, что ничегонеделание, которому он усиленно предавался у себя в комнате все лето при потворстве матери и тетки, может привести к тому, что отец неожиданно встанет, отложит книгу и, пылая очами, провозгласит: с Генри нужно что-то делать.

Он начал осторожно советоваться с Уильямом про целесообразность обучения в Гарварде, затем расспросил своего друга Сарджи Перри[45], который готовился поступать в колледж, избегая напрямую ссылаться на непредсказуемость отца и на то, какой она может принять оборот. Вместо этого он патетически провозгласил, что, дескать,

---

[45] Сноски: 45

Томас Сарджент Перри (1845–1928) — американский литературовед, критик и переводчик. Друг детства и сподвижник Генри Джеймса, сотрудник Гарвардского университета.

довольно уже ему бездельничать и сидеть у семьи на шее, пора подумать о карьере. Уильям кивнул.

— А ты не думал податься в священники? Ты всегда будешь при деле, особенно если станешь изучать богословие в Гарварде, где так ревностно преподают бдение у постели больного и призывают к покаянию.

Генри позволил Уильяму пошутить, но не дал ему отклониться от темы. Он все еще был слишком юн, и сегодняшние обстоятельства беспокоили его куда больше, чем долгосрочные карьерные перспективы. То есть главную роль играло желание, чтобы его оставили в покое на все лето. И когда Уильям произнес «юридический», Генри понял: это единственный приемлемый вариант. Сыновья многих родительских знакомых выбирали ту же стезю. Но самое главное, «изучать право» звучало солидно и серьезно, а также означало смену направления. И тогда отец, испытав мгновенный всплеск острых ощущений, не станет искать таковых — по крайней мере в том, что касалось Генри, — еще какое-то время.

Мать — из-за случайного замечания или просто в результате упорного молчания отца на этот счет — начала уже спрашивать, что, мол, вправду

ли его спине стало значительно лучше. Однажды она поинтересовалась, не могут ли физические упражнения принести больше пользы, чем покой. По ее неуверенному тону и рассеянной озабоченности он понял: отец пока не сказал ничего определенного, но сейчас, как никогда, он рискует тем, что отец может решить его будущую судьбу вовсе без его участия. Это случится за одну ночь: родители начнут обсуждение перед тем, как лечь в постель, затем продолжат шептаться в спальне, пока не придут к согласию, и уже за завтраком объявят решение — окончательное и обжалованию не подлежащее.

Генри ждал подходящего момента. Ему нужно было поговорить с ними вместе. Для начала он посетует на свою неустроенность и необходимость определить свое будущее. Он намекнет, что у него нет ясного понимания, чем он будет заниматься. Но здесь его поджидала опасность — если он слишком надолго оставит эту дверь открытой, отец сподобится быстро ее захлопнуть и запереть на ключ, предложив ему пойти добровольцем в армию Союза. И немедленно займется уже более глубоким и серьезным его обсуждением, сфокусировавшись только на нем и отбросив другие возможности. Нужно, чтобы дискуссия

шла в быстром темпе; возможно, ему следует сообщить, что он поговорил с Уильямом, хотя и тут существовал риск, поскольку Уильям часто то впадал в немилость у отца, то снова обретал его благосклонность, причем это зависело лишь от капризов отцовского мышления. Нельзя говорить, что Генри «хочет быть» юристом, поскольку отец ухватится за слово «быть» и начнет читать ему лекцию о человеческом бытии как о драгоценном даре, который следует культивировать с усердием, а также с утонченной мудростью и вниманием. Таким образом, скажет отец, нельзя ни «быть» юристом, ни «стать» юристом. Подобный язык — это хула на величайший дар Создателя нашего, на саму жизнь и благодать, которую Создатель дарует нам, дабы мы могли изменить свое бытие.

Нет, придется подать это как стремление «изучать юриспруденцию», а не «стать юристом», посещать лекции о праве, расширять свой интеллект, применяя его непосредственно в этой области. Вот такие слова, произнесенные спонтанно и искренне, как будто именно в ходе этого обсуждения Генри загорелся высокими чаяниями и только сейчас пришел к такому решению, могли бы разжечь в отце вдохновение подобной

переменой, а мать, тщательно взвесив последствия, согласно кивнула бы.

Сначала он хотел пойти к матери и посвятить ее в свой план, но понял, что все зашло уже слишком далеко. В любом случае отец заподозрил бы, что они сговорились заранее. Травмированную спину Генри также придется упомянуть, но вплести эту тему в разговор аккуратно, как фактор, который не является ни решающим, ни препятствующим, — он просто растает на горизонте, раз и навсегда, под напором нового решения.

Генри застал их в наилучший момент — отец читал, а мать тихо хлопотала в комнате.

— Мне нужно обсудить с вами мои нынешние обстоятельства, — сказал он.

— Присядь, Гарри, — сказала мать, села у стола на стул с высокой спинкой и сложила руки перед собой.

— Я знаю, что мне пора определиться, и много раздумывал над этим, но, наверное, недостаточно, поэтому и пришел к вам, чтобы вы помогли мне уяснить, чему я должен посвятить свою жизнь, что я должен делать.

— Каждому из нас нужно уяснить, как ему прожить свою жизнь, — изрек Генри-старший. — Это всех нас касается.

— Я понимаю, отец, — сказал Генри и умолк.

Он знал, что отец не сможет немедленно объявить, какая карьера суждена сыну или что надо рано вставать и больше гулять, и оставил место для обсуждения, а не для готового решения. Глаза отца заблестели — он восхитился, что обычное семейное утро в Ньюпорте внезапно преобразилось и наполнилось новыми возможностями. Никто и словом не обмолвился об армейской службе, но тема эта витала над разговором, то и дело попадаясь на глаза. Также никто не упомянул его недуг, но и он присутствовал в атмосфере. Сперва Генри старался не говорить ни о чем конкретном — лишь о своем беспокойстве, честолюбии, необходимости *прояснить* (он несколько раз использовал именно это слово), что бы он мог сейчас делать.

— Меня очень интересует Америка, отец, ее традиции и история и, конечно же, ее будущее.

— Да, но это предмет интереса для каждого американца, мы все должны посвящать время и энергию изучению своего наследия, — ответил отец.

— Америка развивается и изменяется, — сказал Генри. — Пути ее развития уникальны и требуют серьезного подхода.

Тут он подумал, не ошибся ли со словом «серьезный»: вдруг отец решит, что сын сомневается в серьезности его, отцовского подхода? Но, при всей ранимости отца, сейчас его разум был слишком озабочен и занят, а его суетная самоуверенность — слишком довершенной, чтобы оскорбиться. Отец напряженно обдумывал весь подтекст последнего замечания, и вот его взгляд сделался стальным, а выражение лица — жестким. Генри любил, когда отец вот так менялся, и жалел, что это редко происходит. На мать он старался не смотреть.

— Так что же ты хочешь делать? — спросил отец.

В этот миг Генри-старший выглядел и разговаривал как человек, обладающий могуществом, огромным личным состоянием и пуританской строгостью высочайшей пробы. Вот таким, думал Генри, вероятно, бывал отец его отца, когда обсуждались планы и деньги.

— Я не хочу становиться историком, — сказал Генри. — Я хочу изучать что-нибудь, чему можно найти более конкретное применение. Короче говоря, сэр, я хотел бы обсудить с вами, могу ли я изучать юриспруденцию.

— И уберечь нас от тюрьмы? — спросил отец.

— Хочешь учиться в Гарварде вместе с братом? — спросила мать.

— Уильям говорит, это лучшая юридическая школа в Америке.

— Уильяму невдомек, как нарушить закон, — заметил отец.

Впрочем, идея меняющейся правовой системы как части меняющейся Америки начала увлекать отца тем сильнее, чем больше он говорил о ней.

Похоже, что, повещав на эту тему некоторое время, он оставил опасения насчет узости предмета и, конечно, ограничивающей природы решений как таковых.

Возможно, отец и осознавал тот факт, что оба его старших сына будут за его деньги просиживать в библиотеках в то время, когда вокруг бушует война за само выживание американских ценностей свободы и прав личности, однако в присутствии Генри он не позволил сомнениям омрачить его энтузиазм — а жена кротким молчанием и мягкой улыбкой также одобрила решение сына поступить в Гарвард, чтобы изучать право.

Так Генри на все лето освободился и от отцовского нервного и бдительного пригляда, и от материнской опеки. Его оставили в покое. Родители теперь могли занять себя волнениями об

Уилки, Бобе и Алисе. А Генри смаковал затворничество в своей душной и жаркой комнате. Он мог работать совершенно свободно, мог читать что заблагорассудится без страха, что в любую минуту к нему в комнату без предупреждения заявится отец и скажет, что идет война, его страна нуждается в нем, пришло время приобщиться к армейской дисциплине, научиться носить мундир, ночевать в бараках и ходить строем.

Через несколько дней после того, как отец согласился, что Генри может пойти в юридическую школу Гарварда, тот открыл для себя Готорна. Конечно, он слышал это имя и раньше, как знал об Эмерсоне и Торо[46], и пробежал глазами пару его новелл, однако они его не впечатлили, показавшись слишком скучными и поверхностными, в отличие от произведений первых двух эссеистов. Простые назидательные байки о простых благопристойных людях, светлые, неглубокие и нежно-банальные. Генри как-то обсуждал эту тему с Сарджи Перри, и они сошлись на том, что самая ценная, богатая и насыщенная литература

---

[46] Сноски: 46

Генри Дэвид Торо (1817–1862) — американский писатель, философ, публицист, натуралист и поэт. Видный представитель американского трансцендентализма, близкий друг и сподвижник Ральфа Уолдо Эмерсона.

написана в тех странах, которыми правил Наполеон, и в тех, которые он завоевывал. Литература произрастала на тех землях, в почве которых можно было отыскать римские монеты. Готорновы «Истории, рассказанные дважды» напомнили им с Перри те, что могла бы рассказать их тетушка о своей тетушке, — рассказы, начисто лишенные каких-либо социальных деталей и чувственного ландшафта. Друзьям казалось, что такова доля всякого, кто пытался писать о жизни в Новой Англии: волей-неволей он сталкивался с разреженностью социальной атмосферы, отсутствием правил поведения и наличием удушающей системы моральных устоев. Все это, считал Генри, сделает любого романиста жалким и ничтожным. Тут нет ни монарха, ни монаршего двора, ни аристократии, ни дипломатической службы, ни дворян с имениями, ни замков, ни поместий, ни старинных усадеб, ни приходов, ни хижин под соломенными крышами, ни руин, заросших плющом. Ни соборов, ни аббатств, ни нормандских церквушек. Ни литературы, ни романов, ни музеев, ни картин, ни политических течений, ни охотничьих или спортивных сообществ. Если отбросить все это, писатель останется ни с чем, думал Генри. Неоткуда взять колорит, негде

развернуть жизненную драму — лишь горстка чувств на фоне пригоршни традиций. Троллоп и Бальзак, Золя и Диккенс стали бы старыми желчными проповедниками или безумными длинноволосыми школьными учителями, если бы их угораздило родиться в Новой Англии и жить среди ее обитателей.

Поэтому Генри удивился, когда Перри с благоговением отозвался об «Алой букве»[47], которую только что закончил. Перри настаивал, чтобы Генри прочитал ее немедленно, и, казалось, расстроился, когда несколько дней спустя Генри так и не собрался открыть книгу. На самом деле Генри попытался одолеть первые страницы и нашел их до смешного тяжеловесными, а потом его что-то быстро отвлекло и он отложил роман в сторону. Теперь, предприняв вторую попытку, он был уверен, что полукомический тон вступления, все эти разговоры о тюрьмах и кладбищах и приторно-сладкий дух цветов морализаторства возникли от недостаточного разнообразия социальной подоплеки, узости места действия. Мастерство Готорн заменил серьезностью, да-

[47] Сноски: 47

«Алая буква» («The Scarlet Letter») — главное произведение Натаниэля Готорна. Опубликованный в Бостоне в 1850 г., это был первый американский роман, вызвавший широкий резонанс в Европе.

же торжественностью. Типичная, думал Генри, пуританская добродетель, всецело присущая, как говорят, его покойному деду. Он не против почитать о пуританах, сказал Генри своему другу, и даже не против иметь предков, которые были воплощением пуританских добродетелей, однако он в какой-то степени возражает против подобных книг, где пуритане и их достоинства, если вообще их можно так назвать, проникли в самый тон повествования, в саму архитектуру произведения.

По настоятельной просьбе Перри Генри несколько дней держал книгу у себя на столе, а сам тем временем занимался рассказами Мериме, пытаясь переводить их на английский, а также пьесой Альфреда де Мюссе, увлекшей его до чрезвычайности. Рядом с ними бесцветные наблюдения Готорна, бесплотность его персонажей и тягучий, одеревенелый тон первых страниц не усиливали желания Генри снова взяться за эту книгу. И, открыв ее опять, он оказался совершенно не готов к тому, что последовало за первыми страницами.

Нападение книги на его чувства не было внезапным, и, даже когда заклятье уже начало действовать, он не осознавал, что книга притя-

нула его и не отпускает. Он не смог бы ответить, в какой именно момент «Алая буква» зардела и раскалилась, обретя ту же власть над ним, что и романы Бальзака.

Время от времени, после ужина с родителями, когда вечер перетекал в ночь, он откладывал книгу, удивляясь тому, что Готорн совершенно не утруждал себя описанием мелкой, каждодневной подлости Новой Англии и комических особенностей речи, манер или обхождения. Готорн избегал причуд и прихотей, он сторонился мелочности. Он даже выбор и случайность держал на отдалении, а вместо этого стремился к напряженности, взяв один персонаж, одно действие, одно место, один набор верований или убеждений и одно развитие событий и окружив их темным и символическим лесом, огромным и густым, непроходимой чащей греха и искушения. Генри понял, что Готорн не столько наблюдал жизнь, сколько воображал ее, находя такой набор символов и образов, которые приводили эту жизнь в движение. Из скудности материала, из узости и безразличия общества, из ощущения неразвитости отношений и однообразных, бесцветных идей Готорн извлек преимущества, воспользовавшись тем, чего Новой Англии не хватало, и

своим искривленным и безжалостным видением спрессовал в повесть, которая теперь не отпускала читателя всю летнюю ночь напролет.

Бóльшую часть книг, которые он читал, нельзя было обсудить ни с кем, кроме Перри или, возможно, Уильяма, но теперь уже назавтра за утренней семейной трапезой он обмолвился о Готорне. Неожиданно отец оживился. Как же, да ведь он всего полгода тому встречался с этим писателем! Аккурат во время поездки в Бостон на заседание «Клуба субботнего утра»[48] в качестве специального гостя. Готорн тоже был среди приглашенных. Отец сказал, что встреча не вполне его удовлетворила: Фредерик Хедж болтал без умолку и в основном нес околесицу, так что невозможно было расслышать, что говорит Готорн. Он и так почти не раскрывал рта, поскольку был застенчив, и даже более того, считай, неотесанная деревенщина. Наверное, он с куда бóльшим удовольствием скирдовал бы сено или гулял лесными тропками. Отец запомнил одну его особенность: как только подали еду,

[48] Сноски: 48

«Клуб субботнего утра» — бостонский социальный и интеллектуальный клуб для женщин, созданный в 1871 г. известной суфражисткой Джулией Уорд Хау (1819–1910) с целью «продвижения культуры и социального общения».

все вокруг перестало для него существовать, он уткнул глаза в тарелку и ел с такой жадностью, что никто не отважился его ни о чем спросить.

Тетушка Кейт рассказала, что много лет назад, живя в Бостоне, познакомилась с одной из сестер Готорна — очень приятной дамой, настолько же приятной, насколько и ограниченной. Эта самая сестра рассказала, что женитьба преобразила брата, ведь прежде он вел жизнь затворника, вынуждая домашних оставлять еду у порога его запертой комнаты. Днем он не выходил на воздух, сообщила тетушка, и видел солнечный свет только сквозь маленькое оконце своей комнаты. Он редко гулял по улицам Салема, где они жили, и всегда по ночам. Сестра Готорна рассказала тетушке о его многомильных прогулках вдоль моря, о блужданиях в сумерках по спящим улицам Салема. Вот так он проводил время, резюмировала тетушка Кейт, и таковы, судя по всему, были его самые сокровенные моменты соприкосновения с жизнью. А еще, зловеще прибавила тетушка Кейт, по словам сестры Готорна, за свои литературные труды Натаниэль не получил ни пенни.

Тут Генри-старший поинтересовался мнением Уилки и Боба, поскольку оба учились в Санборне вместе с Джулианом, сыном писателя. Даже Уил-

ки, который редко лез за словом в карман, смог сообщить лишь, что Джулиан очень славный парнишка. А Боб объявил во всеуслышание, что до сих пор считал Готорна-старшего каким-нибудь священником, и вообще, по его, Боба, мнению, писательством занимаются одни женщины.

Мать до сих пор хранила молчание. Она прервала дружный смех, сообщив, что знакома со всеми сестрами Готорна и те рассказали ей о травме, полученной Натаниэлем во время игры в мяч. Травма причиняла ему сильную боль, и несколько лет из-за этого он не мог двигаться и лежал в постели. Видимо, именно это заточение, сухо сказала она, и привело его на писательскую стезю.

Генри отыскал Перри, чтобы обсудить с ним книгу и поделиться тем, что он выяснил о ее авторе, и оказалось, что Перри известно куда больше. Совсем недавно Натаниэль Готорн много путешествовал по Европе, в частности по Англии и Италии. Мало того, он, вопреки предположениям отца Генри, вовсе не деревенщина, а серьезный художник, очень начитанный, повидавший мир, чуть ли не самый изысканный и светлый ум Америки. Остаток лета, отведенный Генри и Перри для подготовки к поступлению в Гарвард,

они увлеченно читали и перечитывали книги Готорна и были почти неразлучны, ежедневно делясь впечатлениями.

В то первое лето война казалась неестественно далекой. Даже соседство полевого госпиталя в Портсмут-Гроув ничуть не приблизило ее. Им сказали, что они могут навещать выздоравливающих солдат, покалеченных вояк, лежавших в парусиновых палатках или в наспех сколоченных грубых бараках, навещать как наблюдатели, чуть ли не туристы. Плывя на колесном пароходе вместе с Перри, Генри не знал, что он скажет, сможет ли отвести взгляд от ран или ампутированных конечностей. По прибытии в госпиталь его первым делом поразила тамошняя тишина. Перри и Генри не знали, куда податься, к кому обратиться, да и нужно ли обращаться за разрешением. Поскольку к ним так никто и не подошел, они коротко переговорили с небритым солдатом, сидевшим в одном исподнем на бревне у палатки. Голос у солдата был мягкий, но тон — довольно безразличный, а его глаза — казалось, энергия в этих глазах полностью иссякла. Он не имел ни малейшего желания вдаваться в какие-либо подробности, только и сказал, что они вольны разговаривать, с кем хотят, и ходить,

где вздумается. Они замялись, не зная, как им завершить разговор, и Перри дал солдату монету, которую тот, озираясь, не видит ли кто, торопливо припрятал.

Больные, полумертвые солдаты лежали неподвижно, краем глаза следя за двумя юношами из Ньюпорта. С самого начала Генри поразило, какими молодыми казались большинство из них, такими беззащитными и неопытными. Когда они с Перри разделились и в одиночку ходили среди коек, он почувствовал величайшую нежность и сострадание и отчаянное желание утешить их. Он ожидал открытых ран и окровавленных бинтов, но вместо них увидел в основном лихорадку и инфекции. Он поворачивал туда, где глаза, следившие за ним, казались восприимчивыми, где человек не метался в жару, в беспамятстве и где враждебность не казалась нестерпимой. Поначалу Генри старался не говорить слишком много, чтобы его голос или интонация вкупе с его манерой держаться и одеждой не показались оскорбительно богатыми, но вскоре стало ясно, что это не имело особого значения, во всяком случае, не влияло на тот застенчиво-настороженный прием, который он встречал у каждого солдата, к которому подходил.

Один из них оказался моложе его, белокурый юнец с ясными голубыми глазами, совершенно лишенными страха или опаски. Генри вежливо спросил у юноши, как тот был ранен, а потом наклонился поближе, чтобы расслышать ответ. Сперва паренек ничего не ответил, только головой покачал, но потом, словно продолжая некий прерванный разговор, заговорил о том, что не почувствовал, как пуля вошла ему в бедро, вообще ее не чувствовал, повторил он, словно в этом только и заключалась его проблема. Не более, чем укус насекомого, сказал он, и, только когда он опустил руку и коснулся места укуса, ногу пронзила ужасная, жгучая боль.

Юный солдат сказал, что ему страшно надоело ждать: сидишь и ничего не делаешь, сперва прикажут маршировать туда, потом маршируешь обратно, а кругом только слухи и ничего не происходит. Зато теперь ожидание закончилось, но уж лучше бы оно не кончалось.

Генри заверил паренька, что тот непременно поправится, но солдатик никак не отреагировал — ни согласием, ни отрицанием. Он научился стоически переносить тяготы и невзгоды, подумал Генри, что так не вяжется с его юностью. Страдание каким-то образом проникло в его дух

и обосновалось там, неутоленное, непреклонное. Генри поинтересовался, знают ли родители паренька, где он сейчас и что он потерял ногу. Он хотел было спросить, не нужно ли ему отправить письмо или еще какую весточку, но так и не решился. Было очевидно, что, если инфекция не пройдет, парню предстоит еще одна операция или он вообще умрет, и для Генри, хотя он и пытался вести разговор естественно и мягко, была непостижима спокойная отвага этого солдатика, его подспудная готовность к тому, что произойдет.

В конце, не придумав ничего другого, он предложил раненому солдату деньги, которые тот принял молча. Еще Генри записал для него свой адрес на случай, если ему что-то понадобится после выздоровления. Солдат взглянул на запись и кивнул без улыбки. Генри не решился спросить, умеет ли солдатик читать.

В тот вечер они с Перри по-прежнему сторонились друг друга, сидя в шезлонгах на палубе скрипучей посудины, медленно плывущей домой в Ньюпорт. Созерцая угасающий свет и нежась в спадающей жаре, он впервые ощутил себя причастным к Америке, от которой до сих пор держался обособленно. Он внимательно слушал,

но не знал, что ответить. Он пытался вообразить жизнь того юноши под парусиновым пологом, его борьбу за выживание, ожидание худшего исхода и надежду вернуться домой. Попытался вызвать в воображении тот момент, когда нож хирурга торжественно извлечен, нога прижата, морфин, или виски, или что там у них под рукой, принят, руки заломлены и завязаны за спиной, во рту кляп. Ему хотелось обнять своего юного друга, помочь ему теперь, когда все наихудшее позади, отвезти его домой к семье, которая присмотрит за ним. Но еще он знал и то, что как бы сильно ни хотел он поддержать и утешить этого солдатика, так же сильно он хочет уединиться у себя в комнате, чтобы с наступлением вечера под рукой были книга, перо и бумага и чтобы двери оставались закрытыми до самого утра и никто его не беспокоил. Пропасть между двумя этими желаниями наполнила его горькой печалью и благоговением перед тайной самости, тайной обладания единственным сознанием, которому известны только собственные обнаженные чувства, которое наедине с собой испытывает лишь собственную боль, собственный страх, удовольствие или радость.

И вот теперь, плывя теплым вечером на паро-

ходе домой и созерцая смягченный и успокаивающий горизонт, он внезапно осознал, осознал с отчаянной явственностью, насколько глубока реальность и обособленность этой самости. Насколько невредимой и отстраненной остается она, когда нож безжалостно режет чужую плоть, жир и мышцы, сухожилия и нервы, кровеносные сосуды и кость другой самости — кого-то, но не тебя, раненого, страдающего, умирающего под парусиной вдали от дома. Он осознал, что его обособленность была полной и неприкосновенной и что тот солдатик никогда не познает удобств и привилегий, положенных сыну Генри Джеймса-старшего, оберегаемому от войны.

В сентябре 1862 года отец поехал в Бостон с Уилки и его другом Кэботом Расселлом и помог им вступить в Северную армию. Вскоре, приписав себе год, отправился воевать и Боб Джеймс. Теперь Уилки и Боб стали центром всеобщего внимания. Даже самые обыденные их высказывания и наблюдения ценились на вес золота и часто повторялись. Любая новость о ком-то из младших братьев тотчас же передавалась старшим.

В Кембридже, недолго перекантовавшись у Уильяма, Генри нашел себе крохотную квадратную комнату с низким потолком и оконной нишей,

сидя в которой он начал расставлять свои книги, пользуясь весьма замысловатой системой классификации. Он бродил деревенскими дорогами в окрестностях Кембриджа, с удовольствием рассматривая уединенные жилища на пологих травяных склонах под высокими вязами. Он воображал жизнь не только внутри этих домишек, но и как она видится снаружи, какие очертания она могла бы принять в глазах прохожего — например, молодого Готорна.

Вместе с братом он столовался у мисс Апшем на углу Кёркленд и Оксфорд-стрит, прислушиваясь к каждому слову сотрапезников, наслаждаясь покровительством словоохотливого брата и радуясь, что ему самому не приходится много говорить. Ему нравились немногословные, сухие, остроумные речи одного студента-теолога, он с уважением слушал старого профессора Чайлда, чей тон, когда речь заходила о войне, становился таким же мрачным и безнадежным, как многие собранные им баллады[49]. Лекции Генри старался слушать очень внимательно, но по

[49] Сноски: 49

Фрэнсис Джеймс Чайлд (1825–1896) — профессор математики и риторики в Гарварде, известный фольклорист, составитель влиятельного десятитомника «Английские и шотландские народные баллады» (1882–1898), содержащего 305 старинных баллад, а также их американские варианты.

большей части он рассматривал других студентов, изучал их типажи, градируя выражения лиц от скучающих и в чем-то привлекательных до запоминающихся и примечательных. Пусть за него думают его глаза — расшифровывают лица, улыбки и нахмуренные брови, манеру двигаться и превращают их в характеры и темпераменты. Большинство его однокурсников были уроженцами Новой Англии, и он легко распознавал — по серьезности их лиц во время лекций, по нехватке мягкости или легкого юмора, повадкам и походке, — что их предки стояли за кафедрой, с жаром проповедуя о добре и зле, и те же самые твердые принципы легли в основу воспитания потомков.

Теперь, когда они сидели на лекциях, над ними нависла тень, тень войны, на которую они не пошли добровольцами, войны, о которой они не говорили меж собой, разве что приходили какие-то свежие и срочные новости. Они не были похожи на молодых людей, способных с готовностью выполнять или отдавать приказы, маршировать строем или лишиться ног в результате ампутации. Они верили в Союз и освобождение от рабства, как верили в Бога, но еще они верили в собственную свободу и свои привилегии. Зная, что освобождение от рабства — дело

благородное, они поминали его в молитвах. И в то же самое время они писали конспекты и читали толстые тома ради того, чтобы обеспечить себе будущее. Наблюдать за ними, как выяснил Генри, было куда легче, чем с ними общаться. На лицах у этих юношей была написана мальчишеская прямолинейность, ограждавшая их от всех прочих не хуже высокой каменной стены.

Хотя Генри усердно посещал лекции, он почти не открывал учебников по юриспруденции. Вместо них он читал Сент-Бёва, забредал на лекции Лоуэлла[50] по английской и французской литературе, а приезжая в Бостон, слушал Эмерсона, клеймившего рабство. Он ходил в театр. Брал от жизни все, что могли предложить Кембридж и Бостон. Гром войны долетал сюда еле слышным эхом, которое временами усиливалось, а порой раскаты приближались и грохотали довольно пронзительно. Однажды он увидел вдалеке своего кузена Гаса Баркера, который явно приехал в Гарвард на побывку, но не бросился его догонять, будучи уверен, что увидится с ним завтра-послезавтра. Но они не увиделись, и, когда Гаса убили в Вирджинии, Генри никак не мог примириться

[50] Сноски: 50

Джеймс Расселл Лоуэлл (1819–1891) — американский поэт, педагог, эссеист и дипломат.

с утратой и все вспоминал своего двоюродного брата — белую кожу, горящие ожиданиями глаза, тело, полное затаенной силы. Его терзала мысль о том, что Гас был подкошен, уничтожен пулей, что его, такого молодого и не готового умирать, разорвало на части от боли, что он лежал там, а другие проходили мимо, прежде чем похоронить его вдали от дома, в чужом краю, где его никто не знал.

Мать Гаса, сообщив Генри о смерти сына, написала, что Уильяму она тоже отправила письмо. Когда Генри пришел на очередную трапезу к мисс Апшем, он не знал, что сказать Уильяму о кузене, и заметил, что, когда Уильям вошел в столовую, лицо у него было мрачное и растерянное. Генри сам не помнил, как бросился пожимать Уильяму руку, и это создало еще большую неловкость между ними. Уильям печально кивнул. Никто из них не мог выдавить из себя ни слова. И только когда Уильям сказал профессору Чайлду, что их кузена Гаса Баркера убила в Вирджинии снайперская пуля, заклятье спало — о смерти Гаса Баркера можно было говорить.

— Все эти обреченные юноши, — сказал профессор Чайлд, — здоровые и храбрые, покидают тех, кто их любит, и ложатся мертвыми на полях

сражений, а война идет своим чередом.

Генри не понимал, цитирует профессор Чайлд одну из своих баллад или это у него такая природная манера разговаривать. Он заметил, что глаза Уильяма наполнились слезами.

— Лучшие уходят на войну, — сказал профессор Чайлд, — и лучших она выкашивает.

Иногда за ужином у мисс Апшем профессор Чайлд бывал на грани того, чтобы объявить всех, кто остался дома, включая своих сотрапезников, трусами, но потом он, казалось, брал себя в руки.

Весь месяц после этого ни Уильям, ни Генри не упоминали имени Гаса Баркера в присутствии друг друга. Генри догадался, что каждый из них чувствовал вину, которую не желал ни признавать, ни обсуждать.

Навещая Уилки в Редвилле, Генри не мог поверить, что добросердечный его товарищ по детским играм смог одолеть — просто благодаря своей веселости и общительности — секреты и тяготы военного ремесла. Генри казалось, что для его младшего брата стать счастливым солдатом, а затем терпимым и снисходительным офицером — своего рода упражнение в любви к ближнему. Впоследствии он вспоминал сослуживцев брата как приветливых, смеющихся,

загорелых юношей, которые, подобно его сокурсникам по юридической школе, имели глубокие корни бостонской генеалогии, однако, несмотря на это, влились в армейскую жизнь, демонстрируя открытость, радость свежему воздуху и даже ребячества, которые противоречили их воспитанию и происхождению. Полевой госпиталь в Портсмуте казался очень далеким, и, возвращаясь в тот день в Гарвард, он чувствовал, что долгая война, и даже кровопролитная война, была очень отдаленной перспективой по сравнению с той картиной образцового порядка и хорошего настроения, свидетелем которой он стал.

Мать включала в свои письма к Генри и Уильяму те отрывки из писем Уилки, которые считала наиболее информативными, поучительными или тревожными. В январе Уилки написал домой о злокачественной лихорадке под названием «малярия», поразившей обе армии. «Две недели назад, — писал он, — мы похоронили двоих товарищей за три дня, и очень многие слегли с этой хворью». Он умудрился выразить в письмах и нетерпеливое стремление действовать, и одновременно страстную тоску по дому, но явственнее всего в этих письмах Генри увидел идеализм брата, твердую уверенность в том, что

дело его правое, и искреннюю готовность бороться за него. Он читал слова Уилки, переписанные рукой матери:

> Я прекрасно себя чувствую, настроение отличное, но то и дело сильно грущу по дому. Если дела не улучшатся к концу мая, очень боюсь, не видать нам дома, потому что правительство призовет триста тысяч, отслуживших девятимесячный срок, остаться еще на три месяца, поскольку без них действительно никак. А что можно ответить на призыв такой высокой инстанции и ради такого важного дела. Для себя я уже решил, что останусь, если страна во мне нуждается, но это дастся мне нелегко, уж поверьте.

Генри представил, как мать старательно выводит каждую букву. Он знал, что она колебалась, стоит ли посылать именно этот отрывок из письма Уилки, поскольку в нем он ясно излагал, как следует понимать свой долг. Она ничего не приписала от себя, и Генри утешался мыслью, что мать, как и они с Уильямом, причастна к такому положению вещей, когда Уилки и Боб представляют все семейство Джеймс на этой войне.

Они с Уильямом практически не общались за эти месяцы, хотя и ели за одним столом трижды в день. Если приходило письмо от матери, которое, на взгляд Генри, Уильяму следовало прочитать, он молча протягивал письмо брату. И то же самое делал Уильям. Братья наслаждались уединением, с удовольствием предавались самоанализу, время от времени прерывая уединение ради компании друзей, радовались свободе от родительского вмешательства, от шума домашней жизни, а главное — оба погрузились в чтение.

С другой стороны, это была пора героизма в жизни Уилки. Героизма, подобного которому ему больше не доведется проявить и от которого, конечно же, он никогда не оправится. Он добровольно вступил офицером в 54-й полк под командованием полковника Шоу. Отбытие полка из Бостона стало грандиозным торжеством, ради которого Генри Джеймс-старший специально поехал в Бостон, чтобы наблюдать парад из окон дома Оливера Уэнделла Холмса-старшего. Для отца Генри это был поворотный момент в истории его семьи и в истории освобождения Америки.

Уильям и Генри узнали об этом из письма матери. Когда она написала о намерении отца приехать на проводы полка, у нее не возникло

ни малейшего сомнения, что старшие братья пожелают присутствовать на славном триумфе Уилки и воочию лицезреть необычайное единение истории семьи с историей страны. Ей и в голову, похоже, не приходило, что они могут этого не захотеть.

Уильям, впрочем, ответил немедленно и предупредил мать, что у него именно на этот день запланирован важный эксперимент в лаборатории, что он очень постарается приехать, но если отменить эксперимент не удастся, значит знаменательное событие состоится без него.

Генри же дотянул до последнего, а потом написал матери, что у него снова болит спина и ему нужен отдых, но он надеется, что к двадцать восьмому мая — дню парада — ему станет гораздо лучше. На самом деле он делает все возможное, чтобы быть там, однако, если спина будет по-прежнему его беспокоить или заболит сильнее, он не сможет встретиться с отцом и сопроводить его в дом доктора Холмса. Генри отправил письмо, не перечитывая.

Утром двадцать восьмого мая Генри не пошел на завтрак к мисс Апшем, а во время обеда узнал, что Уильям отменил все свои трапезы на этот день. Профессор Чайлд и два других застольника,

тоже ярые аболиционисты[51], собирались на парад и предположили, что Уильям отсутствует, поскольку ему не терпелось увидеть своего брата, чьим храбрым решением присоединиться к 54-му полку под командованием полковника Шоу все они безмерно восхищались. К вящему удивлению Генри, они явно предполагали, что и он организовал себе местечко среди зрителей парада, и, когда он собрался улизнуть, никто не спросил, куда он идет.

А Генри тихонько вернулся к себе на квартиру. Лежа на кровати, он чувствовал, что недвижность и беззвучие сгустились более обычного, как будто весь шум сконцентрировался сейчас на пути следования парада и оставил его здесь — на нетронутой опушке, где нет ни звука, ни действия, ни движения. Он потянулся, подошел к столу и побарабанил пальцами по его полированной крышке, радуясь приглушенному, тусклому звуку. Он взял с полки том Сент-Бёва, пролистал его, однако чувство отстраненности от сердца событий сделалось уже непреодолимым. Он завис в пространстве, словно затаенное дыхание. Это было почти восхитительно, и даже более того, с

[51] Сноски: 51
Аболиционист — сторонник отмены рабства в США.

приближением вечера он почувствовал что-то вроде счастья, которое не было похоже на счастье от проделанной работы или от чистого отдыха. Просто он укрылся в комнате с кроватью, книгами и письменным столом в тот день, когда воздух снаружи таил в себе опасность. Когда у всех горел в крови огонь, он был безмятежен. Настолько безмятежен, что не мог ни читать, ни думать, просто наслаждался свободой, которую дарило предвечерье, смаковал глубоко, как только мог, это тихое и странное предательство, свой тайный отказ от мира.

Весь дом жил в постоянном ожидании, когда он вернулся в Ньюпорт. Его приезд семья почти не заметила. И уж совсем никому не было дела до его полуотшельнического образа жизни. За столом говорили только об Уилки и Бобе и их товарищах, имена которых знала вся семья. Каждое письмо мать и тетушка Кейт встречали взволнованными возгласами, однако не распечатывали, чтобы сперва Генри-старший медленно и вдумчиво прочитал его про себя, а потом передал жене, и уже она читала вслух те строки, которые, с ее точки зрения, заслуживали немедленного оглашения. Затем письмо доставалось Генри или Уильяму, если те присутствовали, а после них —

тетушке Кейт и Алисе, читавшим письмо вместе. Генри-старший читал и перечитывал письмо по нескольку раз, выбирая те места, которые полагал достойными публикации в газете «Ньюпорт ньюс», а потом отправлялся туда в одиночку, целеустремленно и спешно, как только мог, чтобы передать текст редактору.

Из письма, датированного 18 июля 1863 года, они узнали, что для Уилки настали времена тяжелых испытаний и каждый день ему угрожает чрезвычайно серьезная опасность. «Ньюпорт ньюс» с гордостью напечатала его целиком:

> Дорогой отец, мы сплавляемся по реке Эдистон, направляясь к линии фронта. Времени мало, могу лишь сообщить, что из боя 16-го числа мы вышли с сорока семью убитыми и ранеными. Полк сражался достойно, и я отдал бы правую руку за славное имя, которое он заслужил. Сейчас мы направляемся к острову Моррис, завтра на рассвете снова пойдем в атаку на форт Вагнер. Надеюсь и молю Бога, чтобы полк действовал так же благородно, как на острове Джеймс.

Все они знали о форте Вагнер. Это было, замо-

гильным голосом поведал им Генри-старший, самое мощное земляное укрепление за всю историю военных действий. Его непременно нужно взять, но это трудная задача. Генри-старшего чрезвычайно волновало недальновидное решение послать туда именно 54-й полк, в котором служили преимущественно чернокожие, само появление которых вызовет лютую ярость среди солдат-конфедератов. Все последующие дни, пока не было других новостей, отец обсуждал это со многими встревоженными посетителями дома Джеймсов и повторял одно и то же, слово в слово, каждому новому гостю, пока не удостоверился, что его отношение к сражению совершенно правильное и единственно достойное.

Им оставалось только ждать. А потом пришло известие, что битва окончилась катастрофой и форт Вагнер по-прежнему в руках конфедератов. Ходили слухи, что бойцы 54-го в храбрости превзошли себя. И что многие погибли. Но никто ничего не знал о судьбе Уилки. Жаркими летними днями и ночами, так прочно связанными с ощущением счастья, с удовольствиями, вся семья не могла спать, их трапезы превратились в принужденные, неловкие сборища, и с течением времени стало понятно, что Уилки не мог выйти

из той битвы невредимым. Иначе он уже дал бы им знать о себе. И они ждали, объятые ужасом.

Генри представлял себе тело брата, похороненное под грудой других тел в общей могиле, где нет даже дощечки с именем на месте его последнего успокоения.

— Для вашей матери это было бы самое страшное, — сказала ему тетушка Кейт. — Она продолжала бы думать, что он мог выжить, и каждую минуту ждала бы, что он вот-вот появится в прихожей — войдет тихонько, чтобы сделать ей сюрприз. Ваша мама никогда не перестанет надеяться.

Никто ни при каких обстоятельствах не упоминал об угрозе — или слухах об угрозе, якобы содержавшейся в манифесте Джеффа Дэвиса[52]: тот будто бы приказал повесить всех белых офицеров 54-го Массачусетского, если те будут захвачены живыми. Когда тетушка Кейт прочитала об этом в газете, Генри, уже успевший увидеть новость, заметил, как тетя поспешно унесла газету на кухню и спалила в печи.

---

[52] Сноски: 52

Джефферсон Финис Дэвис (1808–1889) — американский военный, государственный и политический деятель, первый и единственный президент Конфедеративных Штатов Америки во время Гражданской войны в США.

Позднее они, конечно, узнали все страшные подробности битвы за форт Вагнер. Про то, как с каждым шагом ряды наступавших редели, как груды тел громоздились повсюду, про гибель полковника Шоу, которую Уилки видел своими глазами, про смерть его друга Кэбота Расселла, про то, как самого Уилки сперва ранило в бок и как потом картечь угодила ему в ногу. Как его, раненого, заметили двое санитаров и начали оттаскивать в безопасное место, а по пути одному из них, тому, что держал носилки позади, снарядом оторвало голову. Уилки стал свидетелем его мгновенной и ужасной смерти. Другой санитар дал деру. Уилки очнулся в палатке санитарной комиссии почти в трех милях от места сражения. Вскоре его перевезли в госпиталь Порт-Роял, который на самом деле никаким госпиталем не был — просто поле, усеянное тяжелоранеными и умирающими. Едва прикрытые тонким парусиновым пологом пациенты получали лишь минимальную медицинскую помощь. Уилки лежал там в полубреду, раны постепенно начинали гноиться, и не было никакой возможности послать весточку родным.

Его спасло чудо. Отец Кэбота Расселла поехал в Южную Каролину искать сына, убежденный,

что тот попал в плен. И хотя старика уверяли, что сын его в той битве не выжил, мистер Расселл предпринял отчаянные, горестные поиски в палатках, где лежали раненые, и так он обнаружил Уилки, случайно заметив его среди других страдальцев. Он немедленно отправил телеграмму Джеймсам, сообщив, что не прекращает поиски собственного сына, однако проследит, чтобы Уилки Джеймса транспортировали домой. К началу августа мистер Расселл оставил тщетные свои поиски среди хаоса Южной Каролины и принял то, что ему говорили с самого начала: его сын погиб. Вместе с Уилки, лежавшим на носилках, он поплыл на корабле до Нью-Йорка. Инфекция Уилки все время прогрессировала, картечь, застрявшую в ступне, пришлось извлекать прямо на борту. Другая рана оказалась совсем рядом с позвоночником и воспалилась еще сильнее, но до нее было не добраться. Когда Уилки прибыл в Ньюпорт под неусыпным присмотром мистера Расселла, он был чуть живой. Носилки втащили в прихожую, но дальше доктор категорически запретил его нести. Семья сгрудилась вокруг Уилки, все вздохнули с облегчением, что он вернулся к ним живой, но осознавали, что, возможно, ему недолго осталось. Все понимали,

что его выживание сейчас важнее всего на свете. Потом они заметили скорбное лицо мистера Расселла, и Генри наблюдал, как семейство старается не выражать слишком открыто радость или озабоченность исключительно нуждами Уилки на глазах убитого горем отца, только что вернувшегося с поля боя, на котором пал смертью храбрых его сын. В те первые часы, пока Уильям выслушивал инструкции доктора, чтобы лично ухаживать за братом, пока родители поочередно держали сына за руку и выпроваживали всех посетителей, пока тетушка и сестра бегали из кухни в прихожую с горячей водой, полотенцем и чистыми бинтами, Генри не сводил глаз с мистера Расселла, потрясенный его серьезной и непоколебимой кротостью и понимая, что тот совсем не так смотрел бы на больного, будь это его родная кровь. Мистер Расселл тихо и тактично ждал возможности уйти. Эта его тихая тактичность в конце концов изменила атмосферу, и все члены семейства поняли, что чувствует этот добрый, сердечный человек, потерявший единственного сына. Однако он держится, бесслезными глазами наблюдая, какое облегчение испытывает вся семья, и это осознание заставило каждого из них — заметил Генри — обращаться с ним осто-

рожно и участливо.

Меньше года назад Уилки и Кэбот пребывали в состоянии благодушного ожидания, словно сама земля, по которой они ходили, создана специально для их свободы и счастья. В Бостоне, Ньюпорте, в деревнях Новой Англии — повсюду им были рады, понимали их произношение, одобряли их повадку. Со временем опыт сгладил бы мальчишескую непосредственность, юная красота их облагородилась бы зрелостью, а убеждения обрели бы крепость и основательность. Никто не сказал им, никто не предупредил их родителей, что они могут погибнуть, не дожив до двадцати. Новая Англия создавалась их дедами-прадедами не для того, чтобы стать местом яростных, ревущих битв или внезапной смерти от воспаленных ран, а ради постоянства, пристойности, мира и праведности. Сидя на банкетке рядом с мистером Расселлом, Генри понимал, что этот человек испытывает боль и шок не только потому, что с лица земли так жестоко исчез его драгоценный мальчик, но от самой мысли, что был преступно разрушен общественный договор, гражданский правопорядок, предписанный самой историей.

Уилки вернулся домой в чем был. Да и эти истлевшие ошметки обмундирования пришлось с

него аккуратно снять. Одеяло, которым он был укрыт, тоже убрали и бросили в углу прихожей. Только через несколько дней, дежуря у постели брата, Генри заметил это одеяло и отнес на кухню. Развернув его, Генри почувствовал ужасный смрад и отшатнулся, но это был терпкий запах страданий Уилки на поле сражений, и не так-то просто его было выбросить. Одеяло воняло табаком и характерной смесью запахов гниющей плоти и человеческого пота, которой разила форменная одежда Уилки, но крепче всего был запах самой земли — грязи, испражнений, бойни, — земли, которую топтали штурмующие полки, земли, которую тревожили могильщики, нестерпимо зловонной земли. Генри нашел для одеяла укромное место в чулане позади кухни и вернулся в прихожую, но запах не отступал. Он был наиболее красноречивым свидетельством того, что пришлось вынести его брату.

Весь дом жил болью Уилки, подчиняясь ее приливам и отливам. Генри осознал, что в тот первый день он так внимательно следил за мистером Расселлом, поскольку изо всех сил старался не смотреть на брата и не думать о его будущем. Но мистер Расселл ушел, и у Генри не осталось выбора, пришлось взглянуть в глаза

ужасной реальности. Волосы Уилки потускнели и слиплись, тело обмякло и было скользким от пота. Казалось, он вообще не спал. Он лежал на боку и тихо стонал, вскрикивая внезапно, когда боль усиливалась. Иногда крики становились хриплыми и пронзительными, наполняя собой весь дом. Генри был уверен, что брат умирает.

На третий день во время завтрака мать сказала, что все они по мере сил должны разделить боль Уилки, взять какую-то ее часть себе и пережить. Каждый в этом доме, сказала она, и ее муж согласно кивнул, обязан посвятить себя тому, чтобы принять частичку боли от Уилки и выстрадать ее в своем собственном теле. Генри посмотрел на Уильяма и с удивлением увидел, что тот тоже согласно кивает, как будто слова матери несли в себе нечто весьма мудрое и практичное. Вернувшись к себе в комнату, Генри лег на кровать и представил воспаленную рану в боку Уилки, которую врачи вскрыли, но не очистили полностью от гноя. Никакие, даже самые сильные благие желания, думал он, не облегчат страданий его младшего брата. Он спустился в прихожую и сел рядом с Уилки, который тихо постанывал. Он придвинулся к Уилки вплотную — тетушка Кейт, дежурившая у носилок, улыбнулась ему

ободряюще — и взял было Уилки за руку, но тут же отпустил: похоже, это причинило брату боль. Как бы ему хотелось, чтобы братец снова улыбнулся своей всегдашней беззаботной улыбкой, но теперь его осунувшееся лицо выглядело так, словно он никогда больше не улыбнется. Оно морщилось от боли и содрогалось от скорби и, казалось, уже никогда не засветится теплотой и радостью узнавания. Генри и тетушка Кейт так и сидели вдвоем, пока не пришла мать и без единого слова не сменила сестру на скамье у носилок.

Семья скрывала от Боба, в каком тяжелом состоянии находится Уилки, и только когда больному стало чуть-чуть лучше, Бобу рассказали всю правду. Боб сумел написать им приватное письмо, в котором высказал свое — и не только — мнение о битве за форт Вагнер. Он считал, что были допущены огромные пробелы в стратегии. Убитые, утверждал он, стали памятником глупости. Родителей письмо Боба не порадовало, в нем не было ни идеализма, ни оптимизма. Из прочих его писем стало ясно, что Бобу надоело воевать. Он страдал от солнечных ударов и диареи и не испытывал уважения к вышестоящему командованию. Его письма читали сугубо в семейном кругу, мать выражала свое неодобрение тем,

что оставляла некоторые письма непрочтенными, позволяя супругу процитировать наиболее духоподъемные отрывки из них, если таковые имелись.

Когда раны Уилки стали потихоньку заживать, у него начались кошмары.

Он кричал так, словно шел в атаку или отступал под напором врага. Домашние поочередно сидели ночами у постели Уилки, когда ему стало лучше и можно было перенести его в комнату наверху, но никто не знал, как навести порядок в его сновидениях, как заставить его поверить, что никто на него не нападает, никто не стреляет в него, не убивает его друзей и товарищей. Кошмар прекращался, лишь когда бешеные и беспорядочные метания во сне причиняли Уилки боль и он просыпался. Боль приводила его в чувство.

Часто и днем бывало не лучше — воспоминания об увиденном и пережитом стали для Уилки кошмаром наяву. Отец не терял оптимизма, уверенный, что Уилки обязательно поправится, а погибшие на войне теперь лицезреют вечное утро, испытывая невообразимую радость. Даже боль Уилки, сказал он, объединила семью и приведет его к величайшим духовным свершениям в будущем.

Генри находился в спальне Уилки, когда тот, уже способный, пусть и с трудом, говорить, попросил отца прочитать проповедь. Голос его был слаб, но глаза горели нетерпением, и он смотрел на отца, томимый невинной жаждой, когда Генри-старший начал с объяснений, что все смертные, здоровый и богатый, больной и раненый, в равной степени зависят от Божественной длани нашего Пастыря и наш главный интерес в том, чтобы стать кроткими и невинными его овцами. Он продолжал в том же духе, но вскоре Уилки, сперва нерешительно, а затем громко и со слезами на глазах перебил его:

— Ах, отец, легко проповедовать веру в Господнюю любовь, но как тяжко сохранить веру там, где я был.

Генри-старший молчал. Они смотрели, как Уилки хватает ртом воздух, пытаясь сказать еще что-то. Отец повернулся к Генри, будто спрашивая совета у своего второго сына, следует ли ему продолжить проповедь или подождать, пока выскажется Уилки. Генри не ответил, но вскоре голос Уилки окреп, и он ясно дал понять, что не желает продолжения проповеди, хотя изначально сам о ней попросил.

— Я очнулся на песке под навесом и постепенно

вспомнил бóльшую часть того, что случилось, как меня дважды ранило, как я упал, тех двоих, что пытались меня вытащить в лазарет, как убило одного из них, как я пытался ползти. Я пришел в себя, всеми покинутый, больной и слабый от потери крови. И пока я лежал и думал, что уже никогда не увижу родного дома, бедняга из Огайо с отстреленной челюстью, который, наверное, заметил, что я рядом с ним и сам не могу встать, подполз ко мне и залил своей кровью. И тогда я почувствовал…

Уилки закрыл лицо руками и расплакался. Он лил слезы, не в силах больше выговорить ни слова. Плач усилился, превратился в рыдания, а отец и брат беспомощно смотрели, как он корчится в судорогах на постели. Но тут пришла мать, обняла Уилки, приголубила и, нежно приговаривая, стала утешать всех троих.

— Когда Уилки был младенцем, — сказала она, склонясь над уснувшим наконец Уилки, — он лежал в колыбельке, и, казалось, улыбка не сходила с его личика. Я все пыталась выяснить, всегда ли он улыбается или только заслышав мои шаги. Но у меня так ничего и не вышло. Вот чего мне так не хватает сейчас, чего я так жду — когда он снова начнет улыбаться.

В сентябре Уильям вернулся в Гарвард, чтобы продолжить учебу, но Генри с ним не поехал. Родители были всецело поглощены заботами об Уилки, но обрадовались, когда при следующем штурме форта Вагнер, который, к счастью, был эвакуирован перед самой атакой, Боб остался цел и невредим.

Генри сидел в своей комнате, пока Уилки выздоравливал, а Боб служил у себя в полку. Отношение матери к затворничеству Генри смягчилось, стоило Уилки заговорить о своем желании вернуться в армию, как только он почувствует, что здоров, а не когда позволят врачи. За столом мать, как и прежде, много говорила о храбрости и самопожертвовании своих младших сыновей, но в голосе ее звучала скорее горечь, нежели гордость.

— Оба они повидали такое, на что не следует смотреть в их возрасте. Они видели столько ужасов и испытали их на себе, и я не знаю, смогут ли они когда-нибудь оправиться, или их будут преследовать страшные видения, которые никто из нас и представить себе не может. Как бы я хотела, чтобы они никогда не уходили на эту войну. Вот и все, что я могу сказать. Как бы я хотела, чтобы эта война никогда не начиналась.

Тетушка Кейт кивнула, но Генри-старший бесстрастным, туманным взором уставился куда-то вдаль, словно его жена высказала какое-то обыденное, не заслуживающее внимания наблюдение. Как только завершалась каждая трапеза, Генри скрывался в своей комнате. Мать снова начала волноваться за его больную спину, приносила ему подушки, уговаривая лежать, а не сидеть во время чтения.

Он не знал, как рассказать им, когда его первый рассказ о неверной жене, написанный на французский манер, был принят нью-йоркским журналом «Континентал мансли»[53]. Рассказ должны были напечатать под псевдонимом, так что при желании Генри мог бы утаить новость от родителей. Он выждал день или два, а потом, застав отца одного в библиотеке, все же решил открыть ему секрет. Целый час отец читал рассказ и высказал свое неодобрение его содержанием, совершенно не воодушевляющим, по его мнению, и слишком драматизирующим низменные побуждения. Затем отец написал Уильяму, а тот вскоре прислал Генри насмешливую записку, в

[53] Сноски: 53

Continental Monthly — американский ежемесячный журнал, посвященный литературе и национальной политике, выходил с января 1862 г. до июня 1864 г.

которой поинтересовался, откуда у него такие познания о французских женщинах, склонных к адюльтеру. Кончилось тем, что отец раструбил всему Ньюпорту, что его сын скоро опубликует рассказ во французском стиле.

Уилки поехал было в полк, но его признали негодным к службе по состоянию здоровья, и он возвратился домой, полный решимости поправиться и снова уйти воевать, чтобы встретить грядущую победу со своим полком. Ничто не могло омрачить его энтузиазм. У Генри за то время, пока Уилки дожидался возвращения в полк, вошло в привычку тихо сидеть рядом с его кроватью и читать, а сам Уилки дремал или просто лежал неподвижно и безмолвно. Однажды Генри бесшумно возвращался к себе в комнату, когда Уилки уже успокоился и уснул, и в коридоре столкнулся с тетушкой Кейт. Та шепотом сообщила, что оставила ему на кухне сладкого пирога с молоком. И только он собрался сказать, что не хочет ни молока, ни пирогов, как лицо ее помрачнело, а брови нахмурились, и тогда он сообразил — тетушка хочет, чтобы он пошел с ней на кухню.

Они вдвоем на цыпочках спустились по лестнице. На кухне она начала шептать что-то насчет

выздоровления Уилки, а потом плотно притворила дверь и заговорила вслух.

— Он просто свихнулся на своем возвращении на войну, — сказала она. — Будто мало ему ран и страданий.

— В этом смысле он остается идеалистом, — сказал Генри.

Тетушка Кейт неодобрительно поджала губы.

— Не уймется, пока не закончится эта война. Он как все Джеймсы, кроме тебя, — продолжала она. — Твердолобые, ретивые глупцы.

Она пристально изучала его лицо, стараясь понять, не перегнула ли она палку, но он улыбнулся ей, забавляясь, давая понять, что она может сказать больше, если пожелает.

— В семействе твоего отца все одним миром мазаны. Уж если пить — так запоем. За одну ночь могут проиграться дочиста. Одна страница учебника богословия, а потом… — Она осеклась, покачала головой и вздохнула. — Половина из них умерли совсем молодыми, понимаешь? Оставили сиротами твоих кузин Темпл и бедняжку Гаса Баркера. Конечно, ваш дед, старый папаша Уильям Джеймс из Олбани, в свое время был так же богат, как мистер Астор, но все Асторы — хорошие бизнесмены, а у Джеймсов

хорошо получалось только пить, играть да умирать молодыми, а еще очертя голову мчаться к какой-нибудь дурацкой цели. Каждый раз, когда я слышу разговоры Уилки, что он, мол, вернется воевать, я вижу всех Джеймсов скопом, всегда готовых совершить глупость. Уильям тоже вчера хотел быть художником, а сегодня — уже врачом. Ты единственный, кто пошел в нашу родню, единственный надежный человек в этой семье.

— Но я тоже в прошлом году изучал право, а потом передумал, — сказал Генри.

— Ты не увлекался юриспруденцией. Ты сделал это, чтобы убраться подальше отсюда, и теперь, видя, как чудовищна, как безумна эта война, становится ясно, что ты был прав. Останься ты здесь, они и тебя втравили бы, и ты ковылял бы сейчас с ампутированными руками-ногами.

Голос у нее теперь стал резким, а взгляд пронзительным, почти диким. В тусклом свете кухонной лампы она напоминала карандашный портрет старухи — мудрой и безумной одновременно. Тетушка Кейт умолкла, губы и челюсть ее угомонились. Она не сводила с него глаз, надеясь на ответ. Когда ответа не последовало, она заговорила снова.

— Ты один у нас надежный, единственный,

кто знает, что надо делать. Хорошо, хоть ты у нас есть.

К тому времени, как вышел в свет первый рассказ Генри, его отцом в очередной раз овладела охота к перемене мест, и он решил, что семья должна окончательно переехать в Бостон. Генри был рад покинуть Ньюпорт. Теперь он держал свои рассказы в секрете, показывая родным только обзоры, которые писал для периодических изданий — «Атлантик мансли», «Норт американ ревью», «Нейшн». Втайне от всех он медленно и тщательно каждый день трудился над рассказом о юноше, который ушел на войну, оставив дома мать и любимую. Сперва он увлекся, изобретая нечто чистое и изысканное, наподобие баллад, которые собирал профессор Чайлд. Он создал неуживчивую, гордую и амбициозную мать, Джона — ее мужественного и беззаботного сына и Лиззи — его возлюбленную, невинную и кокетливую. Каждую сцену он тщательно обдумывал, перечитывая каждое утро то, что написал накануне, постоянно что-то удаляя и дописывая. Он старался работать быстро, чтобы придать повествованию хороший темп и плавное течение, и в один из таких дней в новой квартире, снятой семейством на Бикон-Хилл, ему в голову

пришло нечто такое, что повергло его в шок, но не остановило.

«На четвертый день в сумерках Джона Форда на носилках доставили к дверям его родного дома, — написал он. — Мать, окаменевшая от горя, шла рядом, а добрые друзья молча простирали к нему руки, готовые помочь. Джон был очень болен, его нельзя было тревожить, да и раны были слишком серьезны, и его возлюбленной Лиззи не разрешили его навещать», — писал он, и чувствовал, что вплотную приблизился к тому, что занимает его мысли днем и снится ему по ночам, — к судьбе его раненого брата. Теперь отец не мог бы обвинить его в аморальности, а Уильям не высмеивал бы за то, что он пишет о мире, который не знает. Внезапно к нему явился образ, и он затаил дыхание, боясь, что его упустит:

«Повернувшись спиной к двери Джона, Лиззи вышла в прихожую. Там она подняла с пола покрывало, наспех брошенное в углу среди кучи рванины: это было старое армейское одеяло. Она завернулась в него и вышла на веранду».

Он хотел было бежать в чулан позади кладовой и найти одеяло Уилки, но потом вспомнил, что они теперь в Бостоне, а одеяло, конечно же, осталось в Ньюпорте или его выбросили при пе-

реезде. Он начал вспоминать запах того одеяла, вызывать в памяти ауру поля боя, ауру войны:

«От этого старого, изношенного грубого одеяла шел какой-то земляной дух со слабым привкусом табака. Мгновенно чувства юной девушки перенесли ее туда, где она никогда не бывала, — на Юг, на далекие поля сражений. Она увидела солдат, которые лежали в болоте и попыхивали старыми добрыми трубками, поплотнее завернувшись в одеяла, укутанные тем же мерцающим сумраком, который осенял и ее — слабую, но защищенную этим покровом. Ее мысли блуждали посреди таких сцен…»

Ему было внове ощущение власти, силы. Этот набег на собственные воспоминания, обнажение чего-то настолько глубоко личного, сокровенного, что никто даже не знает, откуда этот момент в рассказе берет свое начало, заставили его поверить: он совершил нечто смелое и оригинальное.

Глава 8

Июнь 1898 г.

Он проследил взглядом, как его подруга-писательница поднялась и подошла к окну гостиной, но не стал высказывать вслух предположение, что ей было бы удобнее там, где он первоначально ее посадил. Дама предпочла оказаться спиной к свету. А вот интересно, думал Генри, помнит ли она, что две, а то и три ее героини точно так же входили в комнату и садились, благополучно и намеренно, спиной к большому окну, чтобы предстать перед окружающими в наиболее лестном ракурсе. Впрочем, усевшись, миссис Флоренс Летт, кажется, перестала следить за лицом, постоянно морщила лоб и гримасничала. Каждая фраза ее сопровождалась драматической переменой мимики — она то улыбалась, то хмурилась, то морщила свой почти безупречный носик. И как только ее лицо выдерживает столь множественную и мгновенную смену погоды, дивился Генри. Очень скоро, думал он, произойдет оползень, расплата неминуема. Но сейчас он внимал рассказу о поездке в Италию, о ее новой книге, о

ее очаровательной дочурке, о том, как медленно полз поезд до Рая, о том, как ей жаль, что она не может погостить подольше, и снова о ее прелестной шестилетней дочке, которой в данный момент всячески угождали на кухне, о дочкином образовании и ее наследстве, потом опять об Италии и о случившемся там самоубийстве близкой подруги Генри — Констанс Фенимор Вулсон.

— В Венеции, — сказала она, — все только и говорили о вас: почему вы так внезапно уехали, почему не вернулись. «Он же художник, — говорю я им, — величайший мастер, а не дипломат». Но они все жаждут вас увидеть. Венеция так печальна. Там всегда грустно, но сейчас даже грустнее обычного, и люди, которые, как я думала, знать не знали о Констанс, уверяют, что им ее не хватает. Бедняжка Констанс, знаете, я не могла ходить по тем улицам. Пришлось уехать, не представляю даже, что вы будете делать.

Дверь медленно отворилась, и в комнату тихонько вошла дочь миссис Флоренс Летт. Мать ее как раз была на середине фразы и решила не останавливаться. Девочка невозмутимо и внимательно изучала комнату. На ней было длинное синее платье. Генри отметил, что и глаза у нее тоже ярко-синие, а кожа очень чистая и белая.

Она стояла, уважительно слушая речь своей матушки, а Генри любовался невероятной красотой девчушки. Со своего места на софе он протянул к ней руки, и недолго думая она украдкой подошла, взобралась к нему на колени и обняла обеими руками.

— Конечно, мы все ездили к ней на могилу, — продолжала ее мать. — Знаете, на некоторых могилах, где люди нашли свое успокоение, ты понимаешь это и ощущаешь, что так и должно быть, таков естественный порядок вещей. Но совсем не так я себя чувствовала у бедной Констанс, хотя кладбище там очень красивое. Ей бы понравилось. Но я не почувствовала, что она нашла там покой, абсолютно не почувствовала.

Миссис Флоренс Летт продолжала говорить, Генри слушал ее. Он не заговаривал с девочкой, сидевшей у него на коленях, полагая, что через минуту-другую она спрыгнет и переберется поближе к матери. Впрочем, девочка явно чувствовала себя очень уютно, и постепенно ручки ее обмякли и она уснула. Интересно, думал Генри, всегда ли это очаровательное дитя так непринужденно ведет себя с незнакомцами, — но решил не спрашивать об этом у ее матери.

Когда ребенок пробудился, в комнате начали

сгущаться сумерки, служанка унесла чайные чашки, а миссис Флоренс Летт успела обсудить великое множество тем. Открыв глаза, девочка улыбнулась ему. Его необычайно тронула ее непосредственность; то, что она так доверчиво пришла к нему, как приходят только к родителям, сулило удачу. Он улыбнулся, когда она слезла с его колен.

Поскольку миссис Флоренс Летт никак не прокомментировала то, что произошло, то и он ничего не стал говорить. Он все бы отдал, чтобы малышка не чувствовала себя неловко. Она вела себя с ним так естественно.

Когда они с матерью собрались уходить и слуги пришли попрощаться с ребенком, стало ясно, что ее визит в кухню и кладовую тоже оставил по себе огромное впечатление. Тут девочка впервые застеснялась и уцепилась за материнский подол, но та нежно, но твердо подбодрила дочь, и девочка улыбнулась, почти нехотя, и помахала ручкой на прощанье.

Генри вернулся в гостиную, снова устроился на софе и вдруг ощутил, что в воздухе все еще витает легкий флер ангельского присутствия ребенка. Двумя днями ранее он возвратился из Лондона и пытался погрузиться в работу, застав-

ляя себя просиживать в кабинете все светлое время суток, пренебрегая корреспонденцией и никого не приглашая в гости. Миссис Флоренс Летт перехитрила его, телеграммой объявив ему о своем приезде и явно дав понять, что ответа не требуется, и сразу же явилась, как обещала.

Теперь, когда в Лэм-Хаусе зажглись лампы, он вернулся за стол и задумался над рассказом гостьи о Венеции. Перед ним на бюро лежало письмо от миссис Кертис, хозяйки Палаццо Барбаро[54], где его много раз радушно принимали. Она использовала те же слова, описывая город. Писала о его печали, об улицах, прилегающих к тому дому, из окна на втором этаже которого выбросилась Констанс Фенимор Вулсон.

Ее гибель, как и смерть сестры Алисы, Генри носил в себе день за днем. Приходили и уходили видения Констанс — иногда ее неподвижное, изломанное тело на мостовой, а иногда только детали: беззвучно шевелящиеся губы, когда он говорил с ней, отчаянные, несмотря на слабый слух, усилия не упустить ни единого слова. Он снова видел ее в залитом солнцем Беллосгардо — то были, наверное, счастливейшие времена для

---

[54] Сноски: 54

Палаццо Барбаро — два примыкающих друг к другу дворца в Венеции на Гранд-канале в районе Сан-Марко.

нее — в белом платье, под белым зонтиком, улыбающуюся. Она сидела так, словно позировала для искусно скомпонованного портрета, и безоговорочно, собственнически демонстрировала полное доверие всему, что он только собирался сказать. Она была, пожалуй, самым близким его другом за пределами его семьи. И он до сих пор не мог поверить, что ее больше нет.

Среди вещей и вещиц, которые леди Вулзли настоятельно рекомендовала ему приобрести для Лэм-Хауса, была старая карта Суссекса — явное свидетельство того, как изменились соотношения между морем и сушей на этом клочке берега. Отрадно было осознавать, что Рай и Уинчелси стоят на подвижных наносных почвах беспрестанно изменчивого побережья. Границы здесь не были четко определены и закованы в камень, они, как ему нравилось считать, оставались открыты для предложений моря. Иногда, медленно расхаживая по залитому ярким светом садовому домику или сидя наверху в гостиной и глядя в окно, Генри воображал, что одним росчерком пера, звучанием голоса он может изменить русло реки, вызвать морской прилив или появление нового мыса на пляже.

Расположение Рая и Уинчелси казалось ему те-

перь почти неразумным. Он любил рассказывать гостям, как в тринадцатом веке Уинчелси был практически разрушен во время могучего шторма, который поглощал огромные куски берега, пока не стало очевидно, что город обречен. Поэтому его перенесли, а старый город-призрак — ему нравилось употреблять при гостях эту метафору — увядал, словно последний бездетный потомок старинного рода, которому остались только воспоминания да покрытые патиной сокровища, в то время как отпрыски новых семейств-узурпаторов цвели пышным цветом. Но успех от этой новой затеи тоже оказался недолговечным. Когда в борьбу вступают море и суша, продолжал Генри, обычно побеждает море, а суша исчезает. Рай и Уинчелси, то есть новый Уинчелси, собирались стать великими портовыми городами, лелеяли большие планы и честолюбивые мечты. Но затем, с течением веков, суша возобладала, медленно и застенчиво начала образовываться скромная равнина, которая мягко, но эффективно отодвинула море подальше от городов.

Если первый Уинчелси погиб под водой, то второй остался ни с чем. Генри говорил так, словно с этим фактом трудно было смириться. Эта равнина, говорил он, этот чудной приросток к

побережью, возникший по чистой прихоти природы, радовал его настолько, словно он сам лично был причастен к его появлению. Все это делало Рай еще более таинственным, создавало у Генри ощущение причастности к его истории. Однажды море подошло к самому порогу, а потом отпрянуло, оставив городу особенный приморский свет, чаек и плоское пастбище — двусмысленный заем, навязанный водой Суссексу и его жителям.

Вот в этот мир, от которого учтиво отрекся океан, и переселился Генри, по-своему мягко и вежливо создавая пространство для плодотворной работы и здорового сна. Теперь у него было такое обширное хозяйство, о котором его родители даже не мечтали. Процветание его маленькой империи было предметом заботы, гордости и тревоги и требовало больших расходов. Из Лондона он перевез чету Смит, служившую ему верой и правдой, — кухарку миссис Смит и ее супруга, исполнявшего обязанности дворецкого. В Рае он нанял горничную Фанни — симпатичную, покладистую и аккуратную, а еще Генри откопал там настоящее сокровище по имени Берджесс Нокс — карликового роста и совсем не симпатичного, однако этот недостаток уравновешивала его пунктуальность и желание угодить. Берджесс

был юн, и это была его первая серьезная работа, а значит — он еще не обзавелся неряшливостью или иными дурными привычками. Из него можно было сделать как слугу по дому, так и камердинера, и у него не возникло бы ощущения, будто обязанности первого менее солидны или достойны его внимания, нежели обязанности второго.

Генри побеседовал с матерью мальчика, которая весьма многословно расписала, какой он усердный и опрятный, какая хорошая у него речь и зрелые суждения для мальчика четырнадцати лет и как грустно ей будет с ним расстаться. Когда мальчик наконец был ему предъявлен, разительное несоответствие между его неказистыми лицом и статью и безграничным рвением в глазах сразу же вызвало у Генри теплое чувство по отношению к новому слуге. Впрочем, он не подал виду, просто объяснив матери и сыну, что Берджесс Нокс будет нанят на короткий испытательный срок, чтобы проверить его пригодность, а после можно будет обсудить условия дальнейшего найма, если он подойдет.

Генри наслаждался тем, что в Рае его узна́ют. Идя по улице, он с удовольствием сердечно и учтиво приветствовал всех знакомых. Его обычно

сопровождал его пес Максимилиан или шотландец, который тоже снял квартиру в Рае и сделался завзятым пешеходом и велосипедистом, или те, кто гостил в Лэм-Хаусе. Генри давно грезил о том, чтобы поселиться в английской глубинке и стать частью традиционной английской общины, и теперь он чувствовал, особенно в присутствии гостей-американцев, безмерную гордость тем, что его приняли в Рае, в также своим знанием истории городка, традиций его обитателей и топографии.

Когда гости приезжали поездом, а так было почти всегда, Генри лично встречал их на станции. Его сопровождал Берджесс, умело толкая впереди себя тележку, на которой гостевой багаж доставлялся на холм — в Лэм-Хаус. В таких случаях Генри всякий раз изумлялся, до чего развито у Берджесса социальное чутье. Вплоть до прибытия поезда к перрону он со своей тележкой держался в сторонке. Он никогда не вмешивался, пока Генри и его гость обменивались приветствиями и первыми наблюдениями, зато путем умелых переговоров с проводником поезда выяснял, не отвлекая вопросами гостя мистера Джеймса, какой именно багаж ему принадлежит. Однако он намеренно грузил вещи на тележку на глазах у их

владельца. Затем с легкостью катил свою ношу, идя в гору следом за хозяином и его гостем.

Дом был по-своему красив и совершенен, даже для того, кто видел его только снаружи. Однако его тайной был сад — уединенный, укрытый от посторонних глаз, усаженный старомодными растениями и обихоженный с любовью и большим вкусом.

Сразу же после переезда Генри нанял приходящего местного садовника Джорджа Гэммона. Каждый день они обсуждали, какие перемены можно произвести, какие новые растения посадить, что подкорректировать по сезону, но в основном они говорили о том, что цветет сейчас или, возможно, вот-вот зацветет, насколько нынешний год отличается от прошлого и какой объем работы будет выполнен в ближайшее время. Они вдвоем очень внимательно, во всех деталях осматривали садовое пространство, окруженное стеной. Генри нравилось, как Джордж Гэммон замолкал и, не говоря больше ни слова, учтиво дожидался, пока Генри решит, что садовнику пора вернуться к работе, и сам удалится.

Смитам Рай не понравился. За десять лет, что они служили у Генри, обитая в комнатах для слуг его кенсингтонской квартиры, они каждый

день имели дело с одними и теми же торговцами, с неизменным жизненным укладом. У них было много знакомых слуг в ближайших кварталах. Несколько окрестных улочек Кенсингтона стали для них своего рода деревней, в которой они чувствовали себя своими. Миссис Смит с уважительным выражением на лице, натужно и застенчиво пытаясь казаться внимательной и умной, каждое утро выслушивала указания писателя. Когда он работал, от мистера Смита требовалось только молча и незаметно подавать простую пищу, безупречно приготовленную миссис Смит. Иногда ожидались гости, о чем Генри уведомлял супругов за несколько дней, обсудив меню отдельно с миссис Смит. Когда он отсутствовал, то не знал, чем занимаются Смиты, но подозревал, что они распоряжаются всей квартирой по собственному усмотрению, обзаведясь немалым числом дурных привычек.

Впрочем, в его присутствии они вели себя тише воды ниже травы и были довольны своим, в общем, весьма невзыскательным, как он сам о себе думал, работодателем. Прослужив у него шесть лет и узнав, что после смерти сестры он собирается за границу, миссис Смит обратилась к нему с весьма личной просьбой. Позже он осо-

знал, как долго супруги спорили, пока решились на такой шаг. Было видно, как дрожит кухарка, высказывая свою просьбу. А просьба была настолько необычна, что любой даже самый снисходительный хозяин немедленно отказал бы, встревоженный ее прямолинейной природой, но его тронула энергия, которую миссис Смит вложила в свою речь, и ее бесстрашная искренность. К тому же он, разумеется, понимал всю безвыходность ее положения.

Она рассказал ему, что ее сестра серьезно заболела и ей предстоит операция. Ей нужно место для выздоровления. Какое-то недолгое время пациентка не сможет сама о себе позаботиться, и у нее нет больше никого, кто мог бы за ней присмотреть. Раз мистер Джеймс пробудет в Италии несколько месяцев, а квартира, предположительно, будет стоять пустая, нельзя ли, спросила она, временно поселить ее сестру в гостевой комнате, чтобы она, миссис Смит, могла за ней ухаживать. Ее сестра, конечно же, съедет до того, как мистер Джеймс вернется.

Генри был рад, что не стал долго раздумывать и спрашивать совета у кого-то еще. Он принял решение в ту же секунду и сказал миссис Смит, что ее сестра может переехать на время при условии,

что все расходы по ее содержанию она и ее супруг берут на себя, но к его возвращению из Италии квартира должна быть пуста и безмолвна. Сказав все это, Генри наблюдал, как кухарка пытается взять себя в руки, пытается поблагодарить его и одновременно ей не терпится побежать к мужу и как можно быстрее сообщить новость. Она непрестанно благодарила, взволнованно пятясь до самой двери, где развернулась и пулей вылетела из комнаты.

До своего отъезда в Италию он больше не упоминал о сестре миссис Смит в разговорах с ней. Он ясно высказал свои условия и считал неделикатным повторять их снова. И снова видеть миссис Смит в роли униженной просительницы ему тоже не хотелось. Таким образом, живя в Италии, он искренне считал, что сестра миссис Смит лично ему не будет ничего стоить, а все следы ее пребывания исчезнут к его возвращению.

Однако, переступив порог своей квартиры два месяца спустя, он узнал, что больная до сих пор находится у него дома. Его удивило, что мистер Смит, встречавший его в прихожей, об этом ни словом не обмолвился. Когда, едва скрывая раздражение, он попросил Смита передать жене, что мистер Джеймс желает видеть ее у себя в

кабинете, тот воспринял это как должное, без особого волнения. Миссис Смит, как ему показалось, держалась гораздо храбрее, чем когда бы то ни было. Она тихо стояла перед ним, полностью владея собой. Да, сказала она, сестра ее до сих пор здесь, у нее рак, и миссис Смит ждет от мистера Джеймса совета, как ей поступить.

Случись такое в романе, его персонаж дал бы миссис Смит язвительную отповедь, но Генри понимал, что ее сестра лежит пластом в соседней комнате и миссис Смит несет весь груз ответственности за нее, который он должен разделить, поскольку больная находится под крышей его дома.

— Доктор придет? — спросил он.

— Сэр, он уже был здесь.

— Не могли бы вы послать за ним снова как можно скорее? Я бы хотел побеседовать с ним сам.

Доктор оказался мрачным и любопытным типом. Он пожелал узнать, в каком статусе пребывает сестра миссис Смит в этом доме. Генри настоял, чтобы они вернулись к обсуждению чисто медицинских вопросов. Совершенно очевидно, сказал доктор, что эта дама нуждается в еще одной операции, после которой ей будет

необходим тщательный уход, но он не уверен, что такой уход может быть ей предоставлен.

— Уход стоит денег. Все это дорого стоит, — сказал он.

Когда Генри открывал ему дверь, миссис Смит маячила в прихожей.

— Вы можете проследить, чтобы ей была проведена операция, и сообщить мне, какой именно уход будет необходим после? — резко спросил он.

— Все это весьма дорого стоит, должен вас предупредить, — сказал доктор перед уходом.

Как-то раз, две недели спустя, пока пациентку готовили к операции, Генри узнал, что мистер Смит пьет. Он дождался, пока Смиты оба ушли, услал горничную с каким-то поручением, а сам пошел на кухню, где обнаружил пустую бутылку из-под виски и несколько бутылок из-под крепленого вина и хереса. Позднее он проверил хозяйственные счета и убедился, что эти бутылки куплены не за его деньги. Он почувствовал себя нелепо и решил, что больше никогда не будет шарить по кухне. Если Смитам угодно покупать алкоголь, они вольны это делать, пока это не сказывается на их работе. Взгляд мистера Смита порой казался ему, что называется, остеклене-

лым, особенно ближе к вечеру, но, возможно, так на нем сказываются переживания о здоровье его свояченицы, а не пьянство.

Из больницы поступило две новости: что операция прошла успешно и что больной требуется круглосуточный уход самое меньшее в течение месяца. Генри понимал, что сестре миссис Смит просто некуда податься. Поскольку собственных гостей у него пока не намечалось, ему было бы трудно, думал он, ежедневно ходить мимо гостевой комнаты, зная, что она пустует, в то время как сестра миссис Смит, уже пожившая там, бедствует неизвестно где. Да и миссис Смит пришлось бы теперь гораздо тяжелее. Он знал, что она собирается с силами, дабы пойти на приступ его сострадания. Сгустившаяся в доме гнетущая атмосфера этих приготовлений стала ему уже невыносима, и он решил предвосхитить разговор, полный смиренных и умоляющих интонаций, и заранее уведомить миссис Смит, что он снова поселит ее сестру в гостевой и возьмет на себя траты, связанные с уходом за ней, при условии, что остальная часть его квартиры и его покой останутся неприкосновенны.

Смиты были очень ему благодарны. Когда сестра поправилась и вернулась на работу, миссис

Смит даже произнесла краткую торжественную речь, сообщая ему эту новость. Впрочем, куда важнее было то, что, вовлекшись в заботу о здоровье кухаркиной сестры, он, похоже, оказался незримо привязан и к судьбе самих Смитов. Ясное дело, что стоит теперь кому-нибудь из них заболеть, возникни у кого-нибудь из них необходимость в какой-то иной помощи, все это ляжет на плечи их работодателя. Платил он им хорошо, а расходов у них практически не было, поскольку мистер Смит донашивал одежду своего хозяина, а миссис Смит была совершенно непритязательна в этом отношении, так что Генри допускал, что они все свое жалованье откладывают на счастливую и безбедную старость.

Его согласие помочь им в трудную минуту не повлияло на качество обслуживания, лучше оно не стало. С другой стороны, радикальных ухудшений тоже не произошло. Миссис Смит по-прежнему выслушивала по утрам его инструкции и исполняла их по мере сил. Мистер Смит по-прежнему пил, но без каких-то пугающих признаков потери приличий, разве что, если внимательнее присмотреться, его речь и походка во второй половине дня казались несколько затрудненными. И все-таки кое-что изменилось.

Миссис Смит теперь не стеснялась в присутствии хозяина обсуждать с мистером Смитом вопросы, не связанные с ведением хозяйства. Она знала, как дорожит Генри тишиной, и не могла не знать, что он предпочел бы, чтобы личные дела они обсуждали исключительно у себя в свободное от работы время. Но сделать ей замечание Генри не мог — в те дни, когда он оказал благотворительную помощь ее сестре, она одержала незримую победу в условной баталии с ним, которая позволила ей чувствовать себя более вольготно в его доме. Участие, проявленное им к ее сестре, его милосердие и сострадание сократили дистанцию между ним и миссис Смит.

Генри был настолько взволнован и озабочен накануне переезда в Рай, что не обратил внимание на то, как эту новость восприняли Смиты. Ему казалось, что уже пожилой супружеской чете должны понравиться и маленький город, и немалые преимущества Лэм-Хауса. Во всяком случае, открыто они не возражали, а Генри постарался не перегружать их переездом, так что их основной задачей было перебраться самим и перевезти свои пожитки на новое местожительство в Рае. Он знал, что кое-кто из его друзей уже заметил, как Смит, обслуживая их за ужином, изо всех

сил старался скрыть, что он под хмельком, но верил, что вдали от шумных соблазнов Лондона Смита можно будет убедить вести трезвый образ жизни.

Однако после их переезда сразу возникла проблема. Смиты поселились в комнате для прислуги в мансарде. В доме была только одна лестница, и, чтобы попасть к себе, им всякий раз приходилось миновать второй этаж, где располагались кабинет и спальня Генри. Половицы у них в комнате скрипели, особенно та, что находилась прямо над его кроватью. Казалось, она поднималась и опускалась всякий раз, когда Смиты на нее наступали. Вечером в первые недели после переезда супруги поднимались к себе в обычный час, но никак не могли угомониться, ходили туда-сюда, всякий раз наступая на злополучную половицу, ненадолго затихали, а потом вдруг снова начинали метаться по комнате, совершенно не думая о покое хозяина, который пытался уснуть этажом ниже. Время от времени он слышал их голоса, несколько раз что-то довольно увесистое роняли на пол. Генри обратился за советом к архитектору Уоррену. Тот сказал, что пол в хорошем состоянии и новый набор половиц ничего не изменит. Он предложил попросить Смитов вести себя потише или переме-

стить их на первый этаж. Там имеется, напомнил он, небольшая комната, сразу за кладовой, где хватает места, чтобы поставить кровать, а если увеличить окно и поклеить пристойные обои, то она вполне сгодится для спальни. Так Смиты поселились в комнате за кладовой.

Лавочники Рая Смитов невзлюбили. Мясник не разбирал кухаркины каракули, и его совсем не радовало ее возмущение, когда он присылал вовсе не те куски, которые она заказывала. Пекарь не выпекал хлеб, который был ей нужен, и не нашел забавным, когда она сперва ушла к его конкуренту, а затем была вынуждена вернуться, поскольку тот тоже не пек такой хлеб, и вообще ей там ни один сорт не пришелся по вкусу. Бакалейщице не понравились ее лондонские замашки, и вскоре ходить в бакалейную лавку со списком заказов пришлось мистеру Смиту, потому что его жене там были не рады.

Смиты обнаружили, что Лэм-Хаус в Рае стоит наособицу. Дома вокруг были поменьше и поскромнее, их хозяева держали только одну горничную и иногда приходящую кухарку, но там не было семейных пар слуг, равных Смитам. Такие слуги имелись в усадьбах и больших поместьях в пригороде, но они не слонялись по

городу, как их коллеги из Кенсингтона. Смиты быстро смекнули, что в Рае нет никого им под стать, не с кем ни поздороваться, ни по-дружески посудачить, обменяться новостями. Вскоре во всех лавках их ждал холодный, если не сказать умеренно враждебный, прием. В отличие от Берджесса Нокса, которого всегда и везде встречали тепло и ласково.

Мистер и миссис Смит укрылись за стенами Лэм-Хауса, миссис Смит даже гордилась тем, что никогда не покидала его пределов и не видела самых известных городских достопримечательностей. Зато она безраздельно властвовала в кухне, кладовой и на небольшом огороде. Принимая от Генри распоряжения, она выработала новые интонации, в которых звучали непоколебимое знание своего дела и готовность выполнять свои обязанности, но порой проскальзывали явственные нотки недовольства своим нанимателем.

В Кенсингтоне Генри часто принимал гостей, но, хотя и радел о качестве своего гостеприимства, вечеринки, которые он устраивал, никогда не бывали особенно пышными. Теперь же, в Рае, он очень заботился о том, чтобы к нему приезжали в гости, писал множество писем, приглашая друзей посмотреть на его новое жилище, и с

нетерпением ожидал их приезда и впечатлений. Таким образом, огромное значение стало иметь обустройство и ежедневная уборка гостевых комнат, а также качество обслуживания и питания, которое теперь включало завтрак и обед. Миссис Смит к большому числу гостей не привыкла. Поначалу, пока для нее это было внове, Генри объяснял ей, кто приедет и каковы будут их нужды, но вскоре миссис Смит стало совершенно ясно, что поток гостей будет бесконечным, а готовка и обеспечение их удобства полностью лягут на ее плечи.

Утренние встречи, во время которых Генри давал ей указания, стали напряженными. Нет, в ее высказываниях ничего не изменилось, изменилось выражение лица, появились длинные паузы и долгие, протяжные вздохи. Генри не обращал на них внимания, просто сообщал, кто приезжает, что следует сделать, и не ждал от нее никакого ответа. Но некоторое время спустя она стала задерживать его, отпуская едкие замечания насчет того, как дорого обходятся гости, сетовать на негодяя-мясника или досадовать на Берджесса Нокса. В ее голосе стали прорезаться враждебные интонации при упоминании об очередных гостях. А Генри все никак не мог насытиться

общением со старыми приятелями и родными, и его шокировало и раздражало, что миссис Смит так недвусмысленно выражает неприязнь к его гостям.

Ее супруг тем временем выработал деревянность в походке и движениях, которую многие принимали за старомодную чопорность, но Генри-то знал, что это просто результат беспробудного пьянства. Он жалел, что не может просто обратиться к ним, как когда-то миссис Смит обратилась к нему за помощью, и настоять на том, чтобы Смит бросил пить. Ему не хватало смелости выдвинуть такие требования. В всяком случае, он не сомневался, что миссис Смит бросится на защиту мужа и будет все горячо отрицать, а ему бы не хотелось это видеть.

А Берджесс Нокс, со своей стороны, с течением времени становился все услужливее и расторопнее. Он ничего не упускал и ничего не забывал. Он так и не научился улыбаться, но зато очень быстро запоминал имена, привычки и нужды каждого гостя и, похоже, мгновенно определял, какая телеграмма заслуживает того, чтобы подать ее немедленно и отвлечь хозяина от его компании, а какая может и подождать на полочке в прихожей. Он с величайшей осторожностью

ступал по половицам своей комнаты в мансарде.

Берджесс совершенно равнодушно относился к регулярным попыткам миссис Смит изгнать его из кухни. В свободное от работы время он бродил по закоулкам Рая, где пристрастился к кулачному бою, и вскоре стал чемпионом в этом виде спорта. Впрочем домой он возвращался довольный и всегда к назначенному времени, излучал гордость своим положением в Лэм-Хаусе и, казалось, знал обо всем, что происходило в его недрах. Когда Генри заподозрил, что миссис Смит начала выпивать вместе с мужем, он знал, что, если ему когда-нибудь понадобится отчет о личных привычках четы Смит, достаточно будет проконсультироваться на этот счет у Берджесса Нокса.

Для Генри было очень важно, чтобы гости чувствовали себя в Лэм-Хаусе уютно и захотели туда вернуться. Он обожал письма, в которых упоминались минувшие и будущие визиты. В городке или его окрестностях у него не было близких приятелей, и коротать вечерние часы ему было не с кем. Поэтому гости имели для него такое значение. Ожидание гостей, предвкушение их приезда он считал самым блаженным временем на свете. Он заранее предупреждал всех, что утренние

часы проводит у себя в кабинете. Оставив гостей после завтрака, он обожал уединяться, зная, что они снова встретятся пополудни. А до тех пор можно было несколько часов наслаждаться одиночеством или диктовать шотландцу. А когда гости уезжали, он ощущал облегчение, радовался тишине в доме, как будто визит гостей был не чем иным, как битвой за уединение, которую он в конце концов выиграл.

Впрочем, вскоре довольное уединение превращалось в тоскливое одиночество. В серые, ветреные дни самой первой его зимы в Лэм-Хаусе его кабинет да и весь дом целиком казался Генри клеткой. Как и Смиты, он был вырван из привычной среды обитания. У него была работа, но вот супруги ежедневно тихо и качественно надирались.

Он не знал, насколько глубоко погрязла в пьянстве миссис Смит, поскольку кухню она вела, как всегда, безупречно, ее стряпня ничуть не ухудшилась и подавалась вовремя. Зато во время утренних бесед она с каждым разом выглядела все менее опрятно, а новости о приезде новых гостей воспринимала все более враждебно. Волосы кухарки теперь превратились в космы и болтались в опасной близости от содержимого

кастрюль и сковородок. Чистота ее ногтей тоже вызывала сомнения. Интересно, думал Генри, догадывалась ли миссис Смит, почему он велел не подавать супы, подливки и прочие жидкие соусы, когда в доме гости. Нельзя было рассчитывать, что мистер Смит сможет принести и подать их без происшествий.

Прислуживая за ужином, Смит старался не спотыкаться, внося в столовую очередное блюдо, но стоило ему повернуться, чтобы выйти из комнаты, и он уже не так хорошо себя контролировал. Генри выработал привычку наиболее важных гостей сажать спиной к двери. Он заметил, что стоило гостю обратить внимание на покачнувшегося или споткнувшегося Смита, и он уже не мог отвести от того глаз. Генри не хотелось, чтобы это обсуждалось за столом или чтобы гости позднее говорили об этом между собой. Лишь бы только в Лондоне или в узком кругу друзей-американцев не стало известно, что он держит слуг-пьяниц.

Берджесс Нокс начал помогать мистеру Смиту — открывал ему двери, безмолвно призывая его держаться ровнее. Генри надеялся, что проблема как-нибудь решится сама по себе или что все останется как есть, — лишь бы не стало хуже. Он не хотел ничего предпринимать, поскольку

знал: действовать необходимо. О Смитах он старался не думать.

Однажды днем он увидел из окна гостиной, что к дому приближается сестра миссис Смит. Он слышал, как ее впустили, и предположил, что она пойдет на кухню к сестре. Он не видел ее с тех пор, как она жила в его квартире, и, хотя он мало общался с ней в то время, у него сложилось впечатление о ней как о серьезном, благоразумном человеке. Он решил, что надо с ней поговорить, спустился по лестнице, нашел в прихожей Берджесса Нокса и попросил его сообщить сестре миссис Смит, что он хотел бы ее видеть, если у нее найдется минутка. Он будет ждать ее в передней гостиной. Вскоре она пришла в сопровождении миссис Смит. Если первая представляла собой образец ухоженности и респектабельности, вторая выглядела даже неопрятнее обычного, а на лице ее блуждала нахальная усмешка, к которой он уже привык.

— Рад видеть вас в добром здравии, мадам, — сказал он сестре миссис Смит.

— Я чувствую себя прекрасно и не устаю благодарить вас за доброту.

Миссис Смит рассматривала своего хозяина и затылок сестры с видом человека, изрядно выби-

того из колеи.

— Вы гостили в наших краях?

— Нет, сэр, я замужем за садовником поэта-лауреата. Мы живем в садовом домике у него в усадьбе.

— Поэта-лауреата?

— Мистера Остина, сэр, в Эшфорде.

— О, конечно-конечно, Альфред Остин!

А ему на миг почему-то подумалось, что она служит у лорда Теннисона[55].

Генри уже собирался было спросить, не могут ли они поговорить с глазу на глаз, но тут же сообразил, что прервал очень трудный разговор между нею и миссис Смит, от которого миссис Смит все еще не опомнилась. Пока сестра изо всех сил старалась это скрыть, миссис Смит сверлила обоих злобным взглядом.

— Полагаю, мы теперь будем часто вас видеть? — спросил он.

— О, я не хотела бы вас беспокоить, сэр.

— Никакого беспокойства, что вы. Полагаете, с

---

[55] Сноски: 55

Звание поэта-лауреата существует в Великобритании с 1616 г. Это должность придворного поэта, традиционно обязанного откликаться памятными стихами на события в жизни королевской семьи и государства. Изначально звание поэта-лауреата присваивалось пожизненно. После смерти Теннисона (1809–1892) в течение нескольких лет поэта-лауреата не назначали. На должность претендовали несколько поэтов, но в итоге в 1896 г. был назначен Альфред Остин (1835–1913).

вашей сестрой все хорошо?

Генри посмотрел ей в глаза, она опустила взгляд и молчала, а он и не потрудился сгладить неловкость. Она поняла, в чем суть его вопроса. Теперь, когда она не смогла ответить, у всех троих появилось время осознать скрытый смысл этой игры в молчанку. Почувствовав, что достиг своей цели, он решил, что разговор с глазу на глаз не требуется: сказанного достаточно. Он мягко улыбнулся ей и, когда она выходила из комнаты, поклонился, не обращая внимания на миссис Смит. Теперь он знал, где найти сестру миссис Смит, если понадобится.

Алиса — его сестра — громко хохотала бы над этой сценой и заставила бы его во всех подробностях описать чету Смит. Однако, подумал он, она наверняка тут же властно потребовала бы от него срочно что-то предпринять. Другая Алиса — его невестка — была самой практичной в их семействе. Уж она-то спокойно и находчиво изобрела бы способ безболезненно отделаться от Смитов. Однако он не мог посоветоваться с ней, поскольку содрогался при мысли, что придется писать об этом Уильяму и, самое главное, — читать его ответы. В Лондоне тоже не было никого, к кому можно было бы обратиться. Он не сомневался,

что любой из его друзей-англичан мгновенно уволил бы Смитов при первых же признаках пьянства или неопрятности.

Он начал вести воображаемые беседы с Констанс Фенимор Вулсон. Ее привело бы в восторг описание сцен на кухне и, конечно, в комнате позади кладовой. А еще она знала бы, что делать, она бы придумала, как убедить Смитов уйти без обид или исправиться. Он вспомнил ее спокойное изящество, ее непринужденную теплоту, сочетание любознательности и сочувствия и подумал о ее последних днях в Венеции, перед тем как она выбросилась из окна. Он тяжело вздохнул и закрыл глаза.

Среди друзей и родни мало кто знал о его близости с Констанс. Ни Уильям, ни его жена не входили в узкий круг тех, кто был во Флоренции, когда они с Констанс несколько месяцев делили большой дом на Беллосгардо (и когда, судя по всему, об их отношениях много судачили). Но те, кто все это знал, продолжали упоминать о ней в письмах к нему, писали о ее непостижимости и загадочности и регулярно высказывали недоумение по поводу ее смерти. Но лишь одна из посвященных напрямик спросила, знает ли Генри, почему Констанс покончила с собой. Лили

Нортон — очаровательная дочь его друга Чарльза Элиота Нортона и племянница одной из его любимейших бостонок — Грейс Нортон. Лили познакомилась с Констанс в Италии, хотя была на добрых двадцать лет моложе, обожала ее и очень к ней привязалась.

Он ответил Лили — как мог честно и откровенно. Он пояснил, что, как ей известно, его не было в то время в Италии, он почерпнул все сведения у других. От жара и болезни у Констанс помутился рассудок, написал он, но это еще не все. Было еще нечто такое, что Констанс сумела скрыть от всех, написал он своей юной приятельнице, — хроническая, всепоглощающая меланхолия, обостренная одиночеством. Больше он ничего не прибавил. Лили хватило храбрости спросить, а теперь ей придется найти в себе мужество принять безжалостную правду.

Лили Нортон не возвращалась к этой теме, однако ее тетка мимоходом упомянула, что племянница была огорчена холодным и непреклонным тоном его письма. Когда Лили Нортон приняла его приглашение погостить в Рае и Генри узнал, что они весь день будут вдвоем, он задумался, вспомнит ли она снова о Констанс. В конце концов, есть немало других тем для раз-

говора. Лили европеизировалась. И совершенно по-европейски она найдет множество тем для обсуждения, осторожно обходя опасность. Да одних только ее родичей и знакомых с лихвой хватит на несколько приятнейших часов общения. Он воображал, что как минимум одну долгую трапезу и прогулку по городу он будет расспрашивать свою юную приятельницу о Нортонах, Седжвиках, Лоуэллах, Диксвеллах и Дарвинах.

Встречая ее на станции, он мгновенно заметил, какой прекрасной и интересной она стала. Выходя из вагона, она сразу увидела Генри, но не улыбнулась. Глаза у нее были бдительные, а выражение красивого лица — серьезное, уверенное и удивительно спокойное. Она держалась как молодая герцогиня, которой не нужно быть властной, чтобы ей повиновались. Впрочем, идя ему навстречу, Лили просияла, улыбка заиграла на ее открытом лице, как будто девушка, к величайшему удовольствию ее радушного хозяина, внезапно и неудержимо вспомнила, что она американка, которая знает, как противопоставить друг другу свое истинное «я» и придуманный образ.

Лили мельком взглянула на Берджесса Нокса и носильщика, грузивших ее багаж на тележку,

мгновенно все поняла и без единого жеста выразила свое одобрение. Переступив порог дома, она немедленно пообещала Генри, что больше никогда не повторит слово «очаровательный», но тем не менее она обязана отметить: дом сам по себе очарователен, а сад невероятно очарователен, и маленькая гостиная, которой он предложил ей воспользоваться, если нужно будет написать письмо, очаровательна, и ее комната, ну, тоже. Она тепло ему улыбнулась и коснулась его плеча — теперь она перестала восхищаться всем вокруг. Она так рада, что приехала сюда, сказала она.

За чаем в саду он внимательно наблюдал за ней. Она сочетала в себе живой ум и личный шарм, причем даже в большей степени, чем женщины предыдущих поколений с обеих сторон ее семьи. Она унаследовала от Нортонов характерное лошадиное лицо, но черты ее были мягче и приятнее. От матери ей достались глаза, и она точно так же улыбалась перед тем, как заговорить, и частенько — когда слушала. Но стоило улыбке исчезнуть, лицо ее представало во всей своей элегантной степенности, он видел перед собой молодую женщину, чей тон и манеры, умение быть одновременно церемонной и дру-

жественной были для него внове. Он предвкушал удовольствие от общения с ней, пока она будет гостить.

Он водил Лили по городу, гордясь ее блеском и наслаждаясь беседой — то игривой, то вдруг остро приметливой. Она понимала, как настойчиво и неотрывно он наблюдает за ней, а горожане тем временем глазеют на них обоих. Он все больше восхищался ею — ее задумчивостью, углублявшейся с каждым шагом, и тем, какой счастливой она казалась, когда через некоторое время между ними воцарилось молчание, и как легко на лицо ее набежала созерцательная тень и оно стало мрачным и почти неприступным, будто печать ее предков никуда и не думала исчезать.

Сейчас ей было уже около тридцати, и что-то в ее характере — некоторая отстраненность, ирония — свидетельствовало о том, что права была ее тетя Грейс, когда говорила ему, что Лили никогда не выйдет замуж. У нее был собственный доход — не слишком большой, но достаточный, чтобы свободно разъезжать по Италии и Англии, возвращаясь на родину когда заблагорассудится, — точь-в-точь как Констанс Фенимор Вулсон. Генри сожалел, что у нее нет ни большого собственного дома, ни прославленного имени, и

ему было почти горько, что она сосредоточилась на чем-то гораздо меньшем, а может, гораздо большем — на собственной независимости. Несколько раз во время обратного пути в Лэм-Хаус он ловил себя на том, что и тон ее, и широта взглядов, и странная свобода выражений, и некоторые особенности ее выговора до боли напоминают ему его сестру Алису. Обе выросли в похожих семьях, где идеи считались священными, уступая первенство лишь хорошим манерам, где упорядоченное сообщество, верующее в Бога, тяготело к идеализму и было готово доверять духу во всех его проявлениях. Но если неугомонность Джеймсов только сильнее выбила Алису из колеи, Лили унаследовала нортоновское спокойствие, не пожертвовав при этом остротой своих суждений. Он бы отдал все на свете, чтобы его сестричке достались уравновешенность и самообладание Лили.

Перед тем как подали ужин, он оставил Лили в комнате наверху, а сам пошел проверить столовую. У распахнутой двери столовой он встретил Берджесса Нокса. Его крошечное лицо наморщилось от беспокойства, а движения были нервными. Берджесс дал понять, что источник его беспокойства находится в столовой, и когда Генри туда вошел, то увидел огромное багровое

пятно на скатерти.

— Ее нужно сейчас же заменить, — сказал Генри.

— Она сказала, что и так сгодится, — ответил Берджесс.

— Миссис Смит?

Берджесс кивнул:

— Она не разрешает ее перестелить, сэр.

Отворив дверь кухни, он увидел мистера Смита. Он сидел за просторным столом, уронив голову на руки. Миссис Смит, стоя у плиты, помешивала что-то в горшке. Увидев его, она ничего не сказала, только пожала плечами в знак собственного бессилия и безразличия. Генри произнес как можно громче:

— Скатерть следует немедленно заменить, а дворецкий должен вернуться к исполнению своих обязанностей.

Миссис Смит положила ложку и направилась к столу. Она решительно встала за спиной у мужа и по-мужски обхватила его за плечи. Рывком она поставила его на ноги, а когда он смог стоять прямо, отпустила. У него, как обычно, был остекленелый взгляд, но он осознал присутствие хозяина в кухне, а затем принужденной, скованной походкой двинулся в сторону шкафа в углу.

— Ужин через пятнадцать минут, — сказал Генри. — Я хочу, чтобы все было в порядке, начиная со скатерти.

Когда он проводил Лили Нортон в столовую, то сразу заметил, что скатерть заменили и стол сервирован превосходно. Он усадил Лили спиной к дверям. Он не знал, сможет ли Смит подавать блюда, или это придется делать Берджессу Ноксу, а то и самой миссис Смит придется занять его место. Но когда Смит наконец вошел в комнату с первым блюдом и начал разливать вино по бокалам, Генри, как никогда остро, ощутил, что дворецкий едва держится на ногах и практически ничего перед собой не видит. Странное это было опьянение. Смит не качался, не спотыкался. Скорее наоборот — ходил прямо, будто по невидимой линии на полу. Или же стоял как вкопанный. Безмолвно. Похоже, он проспиртовался до такой степени, что превратился в деревянного болвана.

Генри старался не задерживать взгляд на Смите и вести обычный разговор, даже когда Смит наливал вино. Насколько он мог судить, Лили Нортон ничего не заметила, но теперь он уже твердо знал, что ему придется найти способ отказать Смитам от места. На следующий день к обеду

ожидалось еще двое гостей, а третий обещался прибыть послезавтра к ужину. Значит, он должен действовать, хотя и не знал, как подступиться к этому и в какую форму облечь.

— А знаете, — сказала Лили, — я не бывала в Венеции после того, как умерла Констанс, но встречалась с другими — теми, кто туда ездил, — и все в один голос говорят: что-то произошло с той улицей, в том месте, где она упала. Все обходят эту улицу стороной. И никто так и не может поверить, что Констанс покончила с собой. Это ведь совсем не в ее духе.

Глаза ее спокойно посмотрели на него, потом она перевела взгляд на тарелку, стоявшую перед ней, словно какая-то новая мысль пришла ей в голову. Она снова взглянула на Генри.

— У меня был долгий разговор с человеком, который знал ее сестру, — сказала она. — Ее родные переживают, что многие ее бумаги пропали — письма, дневники и другие личные записи. А как она провела последние свои недели, вообще загадка для всех.

— Да, — сказал Генри, — все это очень печально.

Смит открыл дверь и замер в безмолвии, вглядываясь в комнату, словно она была погружена

в темноту. Лили обернулась и увидела его. Полминуты он маячил в дверях неподвижно, будто застыл на грани, разделяющей призрак и того, кто смотрит на призрак. А потом медленно двинулся к столу, собрать тарелки. Он собрал их сдержанными, довольно картинными жестами и удалился без приключений.

— Она была печальна и глубоко одинока, — сказал Генри.

И уже после понял, что выпалил это слишком торопливо.

— Она была очень талантливой романисткой и выдающейся женщиной, — сказала Лили Нортон.

— Да, весьма, — подтвердил Генри.

Они помолчали, дожидаясь возвращения Смита. Генри вдруг понял, что не может сменить тему прямо сейчас — что-то в тоне Лили не позволяло ему сделать это.

— Я считаю, она заслуживала лучшей жизни, — произнесла Лили, — но, видно, не судьба.

В последней ее реплике не было ни тени смирения или принятия, скорее — сетование, горечь. Генри вдруг понял, что она заранее спланировала этот разговор, и все, что происходило сейчас в его маленькой столовой, было мастерски и незамет-

но разыграно ею. Он с нетерпением ждал Смита, надеясь, что его приход — не важно, насколько тот пьян, — прервет эту натянутую беседу, которая неизбежно ведет в такому же натянутому молчанию.

— Тем летом мы все были с ней, — продолжала Лили, — она была так увлечена, горела планами и мечтами. Все мы помним Констанс счастливой, невзирая на ее склонность к меланхолии. Но все рухнуло.

— Да, — сказал Генри.

Смит отворил дверь, за спиной у него маячил Берджесс Нокс. На Берджессе была куртка явно с чужого плеча, в которой он смахивал на бродягу. Смит внес блюдо с мясом, Берджесс — остальные тарелки. Лили Нортон обернулась и наблюдала за ними, и в эту секунду Генри увидел, как ее осенило, что происходит в Лэм-Хаусе. Ее утонченность и самообладание куда-то подевались. Она казалась встревоженной до крайности, а ее улыбка, когда она отвернулась от слуг, была принужденной. В этот момент Смит начал наливать ей вино в бокал, но руки у него ходили ходуном. Трое присутствующих беспомощно наблюдали за тем, как он расплескал немного, а затем, пытаясь исправиться, налил вина прямо

на скатерть. Дворецкий развернулся и пошел от стола к двери неуверенной, шаркающей походкой, бросив Берджесса Нокса прислуживать за столом в одиночку.

Они ели молча, поскольку к теме, которую он хотел сменить, прибавилась тема, о которой не хотелось упоминать. Он знал, что, если задаст Лили какой-нибудь прямой вопрос — о ее тетке или о планах, — она рассмеется или вспыхнет. Так что он умыл руки и молчал, предоставив ей самой выбирать направление беседы.

В конце концов она выбрала прежнюю тему.

— Не думаю, что она приехала в Венецию в поисках уединения. Это не то место, где можно быть одной — в любое время года и особенно среди зимы.

— Да, наверное, разумнее было бы ей уехать, — сказал он. — Сложно судить.

— И конечно, она и миссис Кертис — обе были уверены, что вы планируете искать пристанища в Венеции, — сказала Лили. — Кажется, они даже одно время подыскивали вам жилье.

Он видел, куда она клонит, и понял, как важно ее остановить.

— Боюсь, они неверно истолковали мое восхищение Венецией, ее красотами и удовольстви-

ями, — сказал он. — Да, всякий раз, когда я там бывал, я мечтал владеть кусочком этого прекрасного города на воде, хотя бы просто видом из окна, пусть и самым скромным. Но, боюсь, подобными фантазиями недолго можно тешить себя. Прочее — рутина. Это называется работа, и она предъявляет свои права.

— Да, могу себе представить, — сухо ответила она.

Утром он велел миссис Смит передать мистеру Смиту, чтобы тот оставался в постели, где в течение дня его должен осмотреть врач. За обедом будет прислуживать горничная, а Берджесс Нокс ей поможет, надо только подобрать ему одежду по размеру. Он попросил миссис Смит выйти с ним в сад, зная, что Лили пишет письма наверху в комнате, окна которой выходят на другую сторону, и не станет свидетелем дальнейшей сцены в саду. Он хотел рассмотреть миссис Смит при ясном дневном свете, и когда он это сделал, то решил, что она больше не вернется в его кухню, поскольку она явно уже давно не умывалась и не меняла одежду.

— Уверена, ваша гостья довольна пребыванием здесь, — сказала она. — Не сомневаюсь, что все в полном порядке и ей не на что пожаловаться.

Кухаркин тон был почти надменным. Когда он понял, что она собирается продолжать, то остановил ее, подняв правую руку, затем вежливо поклонился и ушел в дом.

Там он нашел Берджесса Нокса и попросил его срочно расспросить лавочников Рая, не знают ли они имени сестры миссис Смит, которая живет в садовом коттедже в Эшфорде. Вскоре Берджесс вернулся с новостью, что ее зовут миссис Тикнор. Генри повернулся, чтобы уйти к себе в кабинет, но Берджесс вежливо коснулся его предплечья и, приложив палец к губам, настойчивым жестом позвал его в сад.

Генри изумленно наблюдал, как мальчик опасливо и внимательно огляделся, не видит ли их кто-нибудь. Пока Берджесс вел его к пристройке позади кухни, Генри недоумевал, чего на самом деле хочет от него его крошечный слуга. Убедившись еще раз, что Генри идет за ним следом, Берджесс махнул рукой, приглашая его войти в один из чуланов, и отодвинул холщовую занавеску, за которой скрывался огромный склад пустых бутылок из-под виски, вина и хереса — от них крепко разило кислятиной.

Еще до обеда Генри вызвал доктора — его ожидали во второй половине дня — и отпра-

вил срочную телеграмму миссис Тикнор. Таким образом, он получил возможность искренне приветствовать близкую подругу Лили Иду Хиггинсон, которую — и он это очень ценил — всю жизнь сопровождали только самые упорядоченные домашние ритуалы, какие только может предложить Бостон, и приятеля из Истборна, приехавшего на один день, и вести себя так, словно его хозяйство пребывает в полной и безупречной гармонии. Он знал, что Лили Нортон хватит деликатности не опровергнуть это ни перед кем, за исключением ее тетки Грейс, которая слишком горячо интересуется новостями во всей их полноте. Хорошо, что он не доверился ни ей, ни кому-то другому. Гостям он объяснил, что дворецкий нездоров, и выразил надежду, что они не оскорбятся, если за обедом будут прислуживать горничная и юный Берджесс Нокс на подхвате.

Когда обед, каким-то чудом все же приготовленный миссис Смит, подходил к концу, Берджесс дал ему знать, что пришла миссис Тикнор, и Генри попросил ее подождать его в передней гостиной. Он понимал, что теперь не сможет показать гостям сад, однако легко вышел из положения и попросил мисс Нортон, сославшись на неотложную работу над романом, выходившим

по частям, поводить гостей по Раю, с которым она уже вполне неплохо познакомилась.

После того как ничего не подозревающие гости ушли, он отправился к миссис Тикнор и объяснил ей всю тяжесть ситуации. Он подчеркнул, что так продолжаться не может и не будет. Он сказал, что даст им щедрый расчет, но вынужден отказать им от места. Он выразил надежду, что миссис Тикнор сумеет их устроить, но он в этом ей ничем помочь не может. Миссис Тикнор выслушала его, не меняясь в лице. Она лишь спросила, где сейчас ее сестра и можно ли с ней поговорить. Когда они вышли в коридор, то увидели, как горничная впускает в дом доктора. Генри сообщил миссис Тикнор, что миссис Смит на кухне, и, коротко переговорив с доктором, поручил горничной отвести его в комнатку за кладовой, где, как сказал Берджесс Нокс, лежал в кровати мистер Смит.

Тем вечером за ужином с Лили Нортон и приятелем из Истборна беседовали о политике и литературе. Лили была в высшей степени очаровательна и блистала умом. Учитывая разговор о Констанс Фенимор Вулсон, в который она втянула его накануне, и ее инсинуации, что он якобы бросил подругу в Венеции на произвол судьбы, Генри задумался, не была ли сама Лили Нортон

брошена кем-то на произвол судьбы, а может, боялась, что это произойдет? То, что она до сих пор не замужем, не заключила союз с человеком, который мог бы предложить ей бóльшую цель и больший простор для ее талантов и шарма, было, с его точки зрения, ошибкой, фатальность которой с годами, похоже, только усугубится. Генри смотрел на Лили через стол, и ему пришло в голову, что решительная и беспощадная работа над собой, стремление расширить свои горизонты убили в Лили иные качества, которые могли бы привлечь потенциального спутника жизни. У Констанс мог бы получиться очень хороший роман о ней, подумалось Генри.

Утром доктор пришел снова и объявил, что случай безнадежный. Он сказал, что мистер Смит не трезвеет и не протрезвеет; тот столько лет употреблял спиртное, что резкий отказ от него принесет огромные страдания. Миссис Тикнор пришла вместе с мужем и сказала Генри, что его щедрость будет принята с благодарностью, поскольку у Смитов нет ни гроша. Они ничего не скопили. Все свои сбережения они истратили на спиртное, задолжав, как оказалось, многим торговцам Рая. Миссис Тикнор говорила отрывистым тоном, а муж ее стоял рядом и смущенно

мял в руках шляпу.

Когда пожитки Смитов были собраны, Генри подумал о том, что они — просто две спившиеся, деморализованные жертвы, которые не могут и слова сказать в свою защиту, даже миссис Смит молча смирилась со своей судьбой и не поднимала на бывшего хозяина глаз. Он знал, что работы им уже не найти, а значит, когда закончатся деньги, которые он им выплатил, а близкие родственники не смогут больше им помогать, они окажутся у самого края пропасти. Смиты, преданно служившие ему столько лет, теперь пропадут, подумал он. Но он сделает все, чтобы они покинули его дом.

Он написал об этом эпизоде своей невестке, но попросил больше никого в это не посвящать. Это был самый настоящий кошмар и ужас, писал он. Он осознал, что вскоре весь Рай узнает о горькой судьбе Смитов. Пусть их здесь никто особо не любил, но то, как быстро он их выгнал, заставило людей оглядываться на него, когда он шел по улицам города.

Этот печальный случай и нервные недели, пока он искал новых слуг и питался в местном трактире, стали для него несчастьем, исцелить которое можно было только работой. По утрам

он сидел у широкого окна гостиной с южной стороны, в которое струился ранний солнечный свет, и перечитывал написанное им накануне. Окно выходило на гладкую зеленую лужайку, он любил наблюдать за трудами Джорджа Гэммона в тени старой шелковицы. Позже, прогуливаясь по саду, он будет испытывать радостное чувство защищенности за высокими стенами садовой ограды Лэм-Хауса.

Глава 9

Март 1899 г.

Ничто теперь не давалось ему легко и просто. Ничто, увиденное или услышанное им в этой первой за пять лет поездке за пределы Англии, не казалось ему новым, свежим, достойным удивления, сохранения в памяти. В Париже он встретил Розину и Бэй Эммет — дочерей Эллен, сестры Минни Темпл. Они родились уже после смерти Минни и знали ее разве только по немногим оставшимся после нее фотографиям, для них она была лишь призрачной тенью. Девушки были непохожи. Розина — более красивая и прямодушная. Бэй — невысокая и коренастая, более спокойная, уверенная в себе и более доверчивая, чем ее сестрица. Ее художественные наклонности уже ярко проявили себя в пристальном внимании к работам в галереях, в наблюдении за уличной жизнью, причем обе девушки считали, что последняя ничуть не уступает первой в искусности и красоте. Иногда во время разговора с ними ему слышался голос Минни Темпл. Он завидовал им, таким беззастенчиво самоуверенным,

не понимающим, что их американские голоса хоть и полны энтузиазма, однако вовсе не так оригинальны, как они воображают, и не так уж не отягощены историей, как им кажется.

В свои пятьдесят шесть Генри был уже достаточно стар, чтобы с полной убежденностью порицать что-нибудь, и Бэй шутила, что этим он похож на доктора Слоупера из «Вашингтонской площади», когда тот путешествует по Европе со своей несчастной дочкой-недоучкой. Он ворчал на девушек из-за их произношения и регулярно поправлял его, пока они ходили по музеям. Когда Розина, к примеру, бурно восхищалась драгоценностями в парижском магазине, он немедленно поправлял:

— «Бриллианты», а не «брльянты».

И когда она соглашалась, что да, нынешние американские девушки зачастую глотают гласные, он отвечал:

— «Гло-та-ют», Розина, а не «гл-тают».

Вскоре обе сестрицы, которые явно получали удовольствие от выговоров двоюродного дядюшки, начали нарочно измышлять новые проказы, чтобы подразнить его привередливый слух. Теперь они еще сильнее напоминали ему свою покойную тетю, которая любила подобные

проделки и обожала, когда одно замечание порождало цепную реакцию. Девушки умудрялись настоять на своем, не пререкаясь с ним, а мягко подтрунивая, пропускали гласные где только могли и использовали модные словечки и фразы, которые точно вызовут у него раздражение. К примеру, однажды утром Бэй объявила, что ей нужно пойти наверх, чтобы «зафиксировать прическу».

— Зафиксировать — чем? — спросил Генри. — И зачем?

Париж был роскошен как никогда, но порой за этой роскошью проступало нечто, вызывавшее у него отторжение. Однако ему хватило мудрости не обсуждать это с сестричками Эммет. Генри очень нравилось, как зорко и невинно они воспринимают цвета, перспективу, текстуру, он восхищался, когда они указывали ему или друг другу на какую-нибудь интересную деталь, как увлеченно они купались в пышном великолепии города. Несколько раз, когда Бэй вдруг становилась молчаливой, мечтательной и, забыв о шалостях, казалась целиком захваченной какой-нибудь сценой, легко раздражаясь, если ее отвлекали, он ощущал, что над ними веет крылами дух Констанс Фенимор Вулсон — безмя-

тежной, погруженной в самосозерцание, столь же чувствительной к теням и намекам, сколь Минни Темпл — к свету и красочности. Таким образом, его двоюродные племянницы воскрешали воспоминания. Иногда они были настолько увлечены окружающей красотой, что не замечали его сумрачных реминисценций. В этом безразличии к нему Генри находил облегчение, да и просто очарование и часто думал, что хорошо бы некоторым его старинным друзьям, требующим от него постоянного внимания и слишком настоятельно следящим за каждым его шагом, взять пример с сестер Эммет.

Девушки продолжили свой тур по Европе, а он, расставшись с ними, поехал на юг. Как выяснилось, Генри прекрасно мог бы прожить без многих своих друзей и приятелей. Он с удовольствием переписывался с ними время от времени и, конечно же, дорожил каждой весточкой о том, как они живут и чем заняты. Но когда заночевал в Марселе, зная, что на следующий день попадет в их объятья, он вдруг остро осознал, что чувствовал бы себя прекрасно, вообще пропустив эту дружескую встречу в обители Поля и Минни Бурже.

В расцвете славы и достатка Поль Бурже обла-

дал участком в двадцать пять акров на Ривьере. На ступенчатом склоне раскинулось обширное поместье с парком, густо поросшим сосной и кедром, откуда открывались великолепные живописные виды. А еще он обладал чрезмерным чувством собственной важности, суждения его, усугубленные антисемитизмом, отличались бескомпромиссностью и апломбом.

Еще одним гостем поместья был какой-то французский прозаик. В первые дни своего пребывания там Генри всеми силами старался не касаться Эмиля Золя или дела Дрейфуса[56] в разговорах с четой Бурже или их гостем, предвидя, что его точка зрения может отличаться от мнения хозяев. Генри поддерживал Золя и, конечно же, был всей душой на стороне Дрейфуса, так что ему очень не хотелось выслушивать полные предубеждений сентенции Бурже. Казалось, изысканный

[56] Сноски: 56

Французский писатель *Эмиль Золя* (1840–1902) опубликовал в 1898 г. статью под названием «Я обвиняю», в которой резко высказался в отношении высших военных чинов, судов, военного ведомства в целом, а также подверг критике следствие по делу Дрейфуса как яркое проявление галльского антисемитизма. Капитана Альфреда Дрейфуса, еврея по национальности, судили по подозрениям в шпионаже в пользу Германии, быстро вынесли обвинительный приговор, разжаловали и отправили в пожизненную ссылку. Не побоявшись подвергнуть риску свое имя, положение и благополучие, Золя обвинил французское правительство в антисемитизме и шовинизме. Через неделю после публикации писатель был обвинен в клевете, а затем и осужден.

вкус хозяина и окружающая роскошь прекрасно уживались с жесткостью и нетерпимостью совсем не либеральных политических воззрений. Генри считал англичан куда более мягкими во взглядах, более неоднозначными, если говорить о связи между их личными обстоятельствами и политическими убеждениями.

Генри представлялось, что он знает Бурже так, словно сам его создал. Ему были знакомы его характер, его культурные предпочтения, расовые особенности, типаж, тщеславие и снобизм, его интерес к определенным идеям и амбиции. Однако все это казалось незначительными мелочами по сравнению с общим впечатлением от этого человека и сутью его самости, которую Генри так легко раскрыл. Она была куда богаче, привлекательнее и сложнее, чем можно было ожидать.

В обмен на пристальное внимание Генри к его личности Бурже не замечал ровным счетом ничего, и Генри это знал. Попроси кто-нибудь Поля составить список черт характера Генри и его особенностей, тот оказался бы очень простым, ясным и неточным. Потаенных особенностей человеческой души он не замечал, да и не интересовался ими, насколько Генри мог судить. И это весьма его порадовало под занавес пребывания

в гостях у Бурже. Искусством держаться в тени, оставаясь невидимым даже для тех, кого он знал много лет, Генри овладел в совершенстве, и это ему очень нравилось. Он охотно слушал, причем всегда, но не спешил раскрывать подспудную работу мысли, воображения, чувственные глубины. И такая пустота была более чем маской, легко просачиваясь внутрь, так что, когда Генри выехал из поместья четы Бурже и направился в Венецию, ему уже было безразлично, встретится ли он с Полем и Минни когда-нибудь еще.

Он не забыл, как сильно любил Италию, но боялся, что стал слишком стар и привередлив, чтобы снова пленниться ею, или что золотое очарование Италии потускнело под спудом времени и под наплывом приезжих. Генри неподвижно сидел в вагоне поезда, который уже на три часа задерживался с отправлением из Вентимильи, и наблюдал, как изнывает суетливая толпа под предводительством группы зажиточных немцев, жалуясь на давку и духоту. Он многое бы отдал, чтобы встать, выйти из вагона и пересечь границу пешком, а багаж пусть бы Берджесс Нокс катил на тележке следом. Ему не терпелось поскорее покинуть Францию, чтобы Италия коснулась его своими крылами. У итальянцев открытый

и порывистый нрав, изысканность манер воспринимается ими как должное, они не кичатся ею. Какое облегчение и даже счастье испытал он, когда оказался наконец в кресле у открытого окна своего номера в генуэзском отеле, нежась на итальянском воздухе и воскрешая старые воспоминания.

В Венецию он прибыл поздним вечером и сразу понял, что ни туризм, ни время не разрушили атмосферу этого города — смесь печали и величия. От вокзала до Палаццо Барбаро он поплыл на гондоле, петлявшей по лабиринту смутно знакомых каналов. Эти поездки на лодке всегда обставлялись с торжественностью и некоторой театральностью, как будто пассажиров препровождали к последнему пристанищу. Но вскоре весла вынырнули из воды, суденышко поплыло свободно и замедлило ход, а потом мягко ударилось о причальный столб, и возникла другая сторона Венеции — необузданная роскошь, бесстыдный блеск, пространства, разительно несоразмерные реальной надобности.

Венецию переполняли старые голоса, старые образы, эхо минувших дней. Она стала убежищем для бесконечных и странных тайн, сломанных судеб и израненных сердец. Пять лет назад он,

исполнив обязанности душеприказчика своей подруги Констанс Фенимор Вулсон, покинул этот город с уверенностью, что больше сюда не вернется. Они оба — он и Констанс — слишком многое поставили на карту, сев играть с Венецией, и она потеряла все, а он потерял ее. Воздействие Венеции перестало быть для него расплывчатым, ушедшим в историю, жестокость и насилие — вечные спутники красоты и великолепия — перестали быть абстракцией. Они воплотились в жестокой смерти его подруги. Пользуясь гостеприимством Кертисов, он поселился в Палаццо Барбаро и работал над новым рассказом в одной из дальних комнат с помпезной росписью на потолке и бледно-зелеными узорными шелковыми обоями на стенах, кое-где потертыми и залатанными. Он знал, что всего в нескольких комнатах от него сверкает Гранд-канал. Если выйти на балкон, как он делал уже много раз, можно созерцать купола, пилястры, зубчатые контрфорсы со статуями, венчающими купол Салюте[57], широкие ступени, ниспадающие, словно складки мантии. А можно глянуть

[57] Сноски: 57

Санта-Мария делла Салюте (церковь во имя Святой Марии Спасительницы) — приходская церковь, возведенная в ранг «малой базилики», в Венеции на Гранд-канале, в районе Дорсодуро.

влево и зажмуриться от ослепительного сияния Палаццо Дарио[58], отделанного чудеснейшими мраморными плитами и лепными кругами — изысканными, компактными и изящными.

Вот так, поворачивая голову от Салюте к Ка-Дарио, всякий раз он цеплялся взглядом за мрачные готические окна Орио Семитеколо[59], и здесь для него Венеция разом переставала быть красочным зрелищем, она сбрасывала карнавальную маску и показывала реальность — грозную, исполненную ужаса. Именно в этом здании на втором этаже находилось окно, из которого пять лет назад выбросилась на мостовую Констанс Фенимор Вулсон.

Они познакомились во Флоренции в начале 1880 года, когда он писал «Женский портрет». Ему было тридцать семь, ей — сорок. При себе у нее было рекомендательное письмо от сестры Минни Темпл — Генриетты. Констанс в то время прочитала все, что вышло из-под его пера, а

---

[58] Сноски: 58

Палаццо Дарио, или Ка-Дарио — дворец в Венеции, в районе Дорсодуро. Одной стороной выходит на Гранд-канал, другой — на площадь Барбаро. Рядом расположен Палаццо Барбаро Волкофф.

[59] Сноски: 59

Палаццо Орио Семитеколо Бензон — венецианское гражданское здание, расположенное в районе Дорсодуро и выходящее на Гранд-канал между Каса Сантомасо и Каса Сальвиати.

он вообще не был знаком с ее творчеством. Он повидал множество американок, катавшихся по Европе с рекомендательными письмами к нему. Если собрать все эти письма вместе, получился бы увесистый том, который был бы не так зануден, как многие из подательниц писем, включая дам-романисток, остро сожалевших, что не они написали «Дейзи Миллер», которым не терпелось поведать ему, что они уже в процессе сотворения шедевра ничуть не хуже.

Констанс была туга на одно ухо, и это интересовало Генри не меньше, чем раздражало саму Констанс. Она была необычайно сдержанна и самодостаточна и, казалось, совершенно не стремилась ни произвести на него впечатление, ни порадовать. В свой внутренний мир она была погружена до невероятной, на взгляд Генри, степени. Когда он показывал ей достопримечательности, его не удивило, что она избегает толпищ туристов, но он искренне восхищался полным отсутствием у Констанс интереса к англо-американскому сообществу Флоренции и ее отказом быть представленной его друзьям и приятелям из флорентийского высшего света. По вечерам ей нужно быть одной, сказала она весьма непреклонно. Она плохо чувствует себя в

большой компании людей, и не важно, насколько они богаты и влиятельны.

Нельзя было с уверенностью сказать, что ее отклики на красоту церквей, фресок и живописных полотен были совершенно оригинальны. Но тем не менее гулять с ней по утрам ему было очень интересно благодаря свежести ее суждений, ее симпатий и антипатий, способности так естественно удивляться и приходить в замешательство. Через два года она прочтет «Женский портрет» и доверительно сообщит ему, что заметила, как мастерски он изобразил американку в Италии — открытую и любознательную, полную собственных идей женщину, которая впервые оказалась под деликатным, но непреклонным руководством своего наставника-знатока — человека скромного достатка, однако большого ценителя прекрасного.

Генри использовал свое впечатление о ней, присовокупил, так сказать, к заявлениям предыдущих истцов, и записал чуть ли не в тот же день, когда они с его новой приятельницей-американкой гуляли по городу. Так что Изабелла Арчер смотрела вокруг глазами Констанс Фенимор Вулсон и, возможно, чувствовала то же самое, если бы только он был способен полностью осознать,

что чувствовала Констанс.

Она подтрунивала над его утонченно-культурным воспитанием. То, что он был отпрыском семейства Джеймс, развлекало ее не меньше, чем Ньюпорт, Бостон и его скитания по Европе. Она, внучатая племянница Джеймса Фенимора Купера, принадлежала к Америке, которую ему не суждено было узнать. И в Огайо, и во Флориде, говорила она, дикую природу знаешь не понаслышке. Но если, чего доброго, Генри возомнит — и она зловеще улыбалась, — что она неотесанная простолюдинка, следует отметить, что сам он — первый потомок своего рода, ступивший на землю Италии, а ее двоюродный дед жил во Флоренции и написал об этом городе книгу.

Вдобавок к происхождению она отличалась странной и деятельной независимостью. Она встречалась с ним по утрам, но пополудни часами одна гуляла по окрестным холмам, а вечером писала и читала. Каждый день при встрече у нее было новое видение города, свежие впечатления, которыми она хотела поделиться, беспристрастный взгляд, которым она была готова смотреть на все, что он задумал ей показать. Он не упоминал о ней в письмах родителям, сестре Алисе или брату Уильяму. В те годы все они слишком рьяно

воспринимали каждый, даже самый крошечный намек на любовное приключение, которое могло бы увенчаться женитьбой. Каждая строчка его письма тщательно анализировалась в поисках некоего ключа, который дал бы им ответ, к кому лежит у него сердце. Но Генри делал все, чтобы для его родных, изголодавшихся в Бостоне по новостям, его сердце оставалось неприступным и твердым как камень.

Дорожки Генри и Констанс пересеклись и в Риме, а затем в Париже. Потом они переписывались несколько лет и читали произведения друг друга. Иногда он был увлечен собственным творчеством или эпистолярным общением с кем-то другим, но стоило ему написать ей, как прежнее наслаждение ее обществом пробуждалось вновь, и он начинал писать ей следующее письмо, еще не дождавшись ответа на предыдущее. Он боялся, что этот внезапный всплеск после долгого молчания может ее смутить, и знал, что она насторожится. Она стала самым умным его читателем, а после того, как он добился от нее обещания уничтожать его письма, — самой близкой, самой остроумной и доверенной наперсницей. И когда она приехала в Лондон — а к тому времени они были знакомы уже более трех лет, — она стала его лучшим дру-

гом — верным и тайным.

Они никогда не говорили о личной жизни, о собственных скрытых «я». Он рассказывал ей о своих произведениях, о семье, а она высказывала наблюдения, которые могли считаться личными лишь в том смысле, что принадлежали этому конкретному разуму. Эти ее замечания казались доверительными вне зависимости от того, насколько общим или расплывчатым был предмет. Она никогда не делилась с ним подробностями своего творчества, но окольным путем он совершенно случайно узнал, что завершение каждой ее книги приводило к нервному срыву и она жила в страхе перед этими срывами. Особенно тяжко ей давались зимы. Пасмурные дни, низкие температуры вгоняли ее в депрессию, и порой она днями не вставала с постели, никого не хотела видеть, даже его, не могла работать, и, как ему удалось выяснить, утрачивала всякую надежду, хотя и отчаянно старалась, чтобы он не догадывался об истинных масштабах и глубине ее страданий. Констанс, его самый закадычный и отзывчивый друг, становилась молчаливой и замкнутой. Ни в одном человеке он не встречал таких разительных перепадов настроения. Он знал, что может ей довериться, что может при-

близиться, оставаясь на отдалении, если нужно. Она имела обыкновение внезапно исчезать, покидать его, словно предчувствуя, что он может ее отвергнуть, а она не вынесет этой боли и унижения. Их отношения никогда не были простыми. Его поражало и частенько тревожило то, что он совершенно ее не знает и не может постичь, что значат эти резкие жесты при расставании, чем они вызваны: ее ранимостью, желанием остаться одной, страхом — или же всем, вместе взятым?

Однажды в феврале 1884-го, будучи в Лондоне, Генри вместе с миссис Кембл пришел, чтобы увидеть игру итальянского актера Сальвини в «Отелло». Модная постановка модного режиссера, публика, где были люди гораздо богаче миссис Кембл и ее спутника, люди титулованные, а также наделенные красотой, которой не обладала ни сама миссис Кембл, ни ее спутник, — но не было в зале более модной, более интересной и обсуждаемой пары, чем знаменитая актриса в сопровождении автора «Женского портрета».

Миссис Кембл повелевала им, а он расточал ей комплименты, восхищаясь ее остроумием, и восхищенно внимал ей, поскольку впервые увидел ее на сцене, когда был еще совсем юнцом. Она прекрасно знала, что весь зрительный зал

желает слышать, о чем она говорит, поэтому то повышала голос, то переходила на шепот. Кому-то она кивала на ходу, с кем-то перекидывалась парой слов, но ни с кем не задерживалась. Мало того, она шествовала сквозь толпу к их ложе, всем своим видом и надменным взором давая понять, что никто не волен присоединиться к ним.

За несколько секунд до того, как погас свет, Генри увидел, как в зал вошла Констанс Фенимор Вулсон. Это было так похоже на нее — ни словом не обмолвиться, хотя они виделись всего пару дней назад, что она собирается посетить спектакль. За все время ее пребывания в Лондоне они ни разу не отважились выйти в свет вместе. Ее одинокая вылазка в модный лондонский мир, где никто не был без пары, застала его врасплох.

У Констанс был какой-то поношенный, озабоченный вид, она совсем не походила на успешную, популярную писательницу из старой американской фамилии, путешествующую по миру. Из его ложи она могла показаться чьей-то компаньонкой или гувернанткой. Он не знал, заметила ли она его.

Пока он смотрел историю ревности и вероломства, которая разворачивалась на сцене, более личная вариация на ту же тему внезапно

кольнула его прямо в сердце. Можно было легко притвориться, что он ее не заметил. Но если она его заметила — а обычно она, по его ощущениям, ничего не упускает из виду — и если у нее возникнет хоть малейшее подозрение, что он решил ее игнорировать, это глубоко ее ранит, и он знал, что эта личная, тайная рана долго не заживет и Констанс будет молча бередить ее всю долгую лондонскую зиму.

В антракте он извинился перед миссис Кембл и пробрался сквозь толпу к тому месту, где сидела Констанс, сверяясь с текстом «Отелло». Но в тот миг, когда он остановился прямо над ней, а она посмотрела снизу вверх, он понял, что она не знает, что делать, а когда заговорил — сообразил, что она его совсем не слышит. Он улыбнулся и жестом попросил ее следовать за ним. И пока они пробирались к ложе, он знал, что миссис Кембл сверлит его и его спутницу враждебным взглядом. Когда он ее представил, вид у Констанс был еще более несчастный, чем в ту минуту, когда она садилась на свое место перед началом пьесы. Подруга его попыталась заговорить с миссис Кембл, и Генри увидел, что она снова погрузилась в одиночество и меланхолию, перевесившие все прочие ее качества, которые Констанс из

последних сил старалась подчеркнуть. С другой стороны, миссис Кембл от одиночества не страдала и, как только поняла, что Генри собирается пригласить подругу к ним в ложу, грубо повернулась к ним спиной и уставилась сквозь очки в какую-то неведомую точку вдалеке.

Следующие два года он продолжал встречаться и переписываться с Констанс, когда она поселилась в пригороде Лондона. Он наблюдал — особенно это стало заметно после приезда в Англию его сестры Алисы, — как Констанс отдаляется, чтобы не быть ему обузой, регулярно сообщая ему о своих планах путешествовать и работать, о своей знаменитой независимости. Ему не было дозволено ее жалеть, узнать ее ближе и целиком — узнать что-то еще, помимо набора страстных противоречий, подчеркнутого двумя важными истинами: она чрезвычайно умна и она одинока.

Слух ее дополнительно ухудшился, и теперь, когда он говорил, ей приходилось следить за его мимикой, чтобы по губам понимать, о чем речь. Лицо ее теперь было обеспокоенным и мрачным, особенно когда он заговаривал о своих планах — куда вскоре отправится, где будет путешествовать. В те годы чаще всего он собирался

в Италию.

Так хотелось поскорее закончить роман или цикл рассказов и быть свободным. Эти планы были настолько неотделимы от его естества, что он тут же их забывал, подправлял или вообще менял, ни с кем не советуясь и ни минуты не сомневаясь. Постепенно Генри обратил внимание, что, когда он посвящал ее в свои намерения, она шла домой и размышляла над ними. Несколько раз он замечал ее удивление и даже некоторое раздражение, когда изменял свои планы, не обсудив это с ней. И тогда он начал понимать, какое огромное, могущественное влияние оказывает на нее: все сказанное им или написанное им она долго обдумывает в уединении. Для нее он был тайной, и даже большей, чем она для него, но она тратила гораздо больше умственных сил и энергии, пытаясь разгадать эту тайну или хотя бы приблизиться к разгадке, чем тратил сам Генри хоть когда-нибудь.

Когда она начала устраивать свой отъезд из Англии, чтобы вернуться во Флоренцию, а он убеждал ее познакомиться с его тамошними друзьями и войти в пусть и узкий, но избранный круг флорентийского сообщества, она только покачала головой с улыбкой.

— Я изрядно повидала американцев в Америке, — сказала она, — и англичан в Англии, и я не уверена, что итальянцам буду так уж интересна. Нет, уж лучше работать, чем заваривать чаи, и лучше бродить по холмам, чем наряжаться для визитов.

— Я прошу вас познакомиться с двумя очень серьезными и приятными людьми, — не сдавался Генри. — Они и сами не очень-то свободно чувствуют себя в обществе. Не хочу оставить вас на милость всей англо-американской колонии.

— В таком случае, — сказала она, — жду с нетерпением встречи с вашими друзьями, и больше мне ничего не нужно.

Рекомендуя Констанс в письме к своим друзьям с просьбой обеспечить мисс Вулсон некоторый социальный комфорт, Генри рисковал как никогда прежде, поскольку в Лондоне ему ни с кем не приходилось ее знакомить. Он понимал, что его старый друг Фрэнсис Бутт и его дочь Лиззи помимо обширного состояния привезли с собой на флорентийский холм Беллосгардо наилучшую бостонскую сдержанность и утонченность. Вкусы и привычки их были просты. Будь они менее простыми людьми, отцовский талант композитора и художественный дар дочери вознесли бы их

до невероятных высот. Им не хватало стальных амбиций и самоотверженности, и они заместили это изысканным вкусом и гостеприимством. Он знал, что они тепло примут американскую романистку с такими безупречными манерами и родословной, как у Констанс.

Шанс, что они друг другу не понравятся, был ничтожно мал. Лиззи теперь было лет сорок, она недавно вышла замуж за богемного художника Фрэнка Дювенека, а стало быть, у Фрэнсиса Бутта, который прежде посвящал всего себя дочери, теперь найдется время и энергия для нового друга. Настоящий риск состоял в том, что они понравятся друг другу больше, чем нравится каждому из них сам Генри, и что они будут, когда вечер сойдет на Беллосгардо, обсуждать *его* и придут к выводам, которые потребуют дальнейших дискуссий, и таким образом он станет у них излюбленной темой для бесед.

Он не льстил себе. Он знал, как осторожна будет Констанс поначалу, как сдержанна и предусмотрительна, и что старик Фрэнсис Бутт очень любит поговорить с новым собеседником на общие темы, по возможности ограничиваясь редкими монетами, старинным дамасским штофом или давным-давно забытыми итальянскими компо-

зиторами. Тем не менее он знал и то, что Лиззи Бутт, с которой он познакомился в Ньюпорте двадцать пять лет назад, мечтала, чтобы он наконец женился, и не скрывала своего желания ни от него самого, ни от его сестры Алисы, с которой переписывалась так же регулярно, как ее отец с Уильямом. Генри осознавал, что, как только Констанс приедет во Флоренцию и окажется под крылышком Буттов, им станет известно то, чего не знал никто другой: как часто Генри виделся с Констанс и какое важное место она занимает в его жизни. До чего же странно, подумают они, — учитывая их близость к Генри и ко всему семейству, — что он никогда прежде не говорил о ней ни слова. И вполне возможно, они захотят обсудить эту странность с самой Констанс.

Когда Констанс поселилась во Флоренции и, как узнал Генри, стала довольно часто общаться с Фрэнсисом Буттом и его дочерью Лиззи, он получил от нее удивительно откровенное и личное письмо. Она написала, что наслаждалась пребыванием у Буттов на Беллосгардо, пока — на третий или четвертый раз — ей не бросилась в глаза одна деталь. Странное ощущение не оставляло ее до тех пор, пока она не распаковала свои книги и не убедилась, что не ошибается.

Комнаты дома на Беллосгардо, писала она, точь-в-точь изображены в «Женском портрете». В зале, где ее постоянно принимали, и вправду были тщательно продуманная обстановка и как бы выставленные напоказ украшения: занавеси и гобелены, сундуки, шкафы и картины, бронза и керамика, не говоря уже про глубокие кресла с мягкими сиденьями, в романе стоявшие в главной приемной Гилберта Осмонда[60]. И если бы только это, писала она чуть ли не с укором, сам старик тоже очень точно изображен в книге. У него действительно прекрасное, мастерски вылепленное лицо с правильными чертами, и да, единственный его недостаток — чуточку излишняя заостренность, которую подчеркивала клиновидная форма бороды. Порой, писала Констанс, когда отец и дочь разговаривали, казалось, что это Гилберт Осмонд и его дочь Панси

[60] Сноски: 60

Ср.: «Более того, все здесь производило впечатление уюта, даже роскоши — и тщательно продуманная обстановка, и как бы выставленные напоказ украшения: те занавеси из выцветшей камки и шпалеры, те резные рундуки и шкатулки из отполированного временем дуба, те образцы угловатого искусства художников-примитивистов в таких же строгих старинных рамах, те странного вида средневековые реликвии из бронзы и керамики, многовековые запасы которых все еще не исчерпаны в Италии. Эти предметы соседствовали с вполне современной мебелью, изготовленной по вкусу праздного поколения: отметим, что кресла были глубокие, с очень мягкими сиденьями…» (Генри Джеймс. Женский портрет. Гл. 22. Перев. М. Шерешевской, Л. Поляковой).

ведут беседу. «Вы познакомили меня с двумя персонажами из вашей книги, — написала она в конце, — и я вам очень признательна, но мне хочется спросить, не собираетесь ли вы и меня включить в какой-нибудь роман-продолжение?»

Несколько недель он молчал, а когда наконец ответил, не смог заставить себя прокомментировать ее наблюдения насчет романа и Буттов. Он завершил письмо довольно холодно, будучи уверен, что она заметит и это, и длительную задержку с ответом, и поймет, что он не желает больше обсуждать источники своего вдохновения, переведя их в царство невысказанного, где он и она прежде свободно бродили как его почетные граждане.

Однако ему по-прежнему было очень интересно, как складываются у нее отношения с Буттами и Фрэнком Дювенеком. В голове возник сюжет о пожилом американце, человеке состоятельном, с изысканными манерами, который проживает в Европе вместе с дочерью. В его истории в брак вступают оба. Дочь выходит замуж первой, а отец женится чуть погодя, от одиночества. А их спутники, решил Генри, пусть будут тайно знакомы между собой или познакомятся после. Он делал сейчас именно то, чего опасалась Кон-

станс, — сближал ее с другими персонажами, отцом и дочерью из «Женского портрета», дабы посмотреть, что будет дальше. Он отложил этот сюжет, не желая давать ей повода к лишним размышлениям о том, зачем он познакомил ее с Буттами, а также не сомневаясь: то, что он увидит во Флоренции сам, будет гораздо интереснее того, что он способен вообразить.

Констанс сняла на Беллосгардо собственный дом, Каса Брикьери-Коломби, с видом на город, с просторным участком и чудесным садом. Но в декабре, когда Генри приехал во Флоренцию, вытянув из Буттов и Констанс клятву, что никто другой не узнает о его визите, Констанс по-прежнему жила в апартаментах рядом с Буттами через маленькую площадь от Каса Брикьери-Коломби. Особняк стоял пустой, она предложила его Генри, и он принял приглашение.

Таким образом, он поселился в ее, по сути, будущем доме, видел ее почти ежедневно, позволяя ей устраивать его быт, а в это время никто из его флорентийских друзей-приятелей и не догадывался, что он в городе. Бутты знали, но они были всецело озабочены предстоящим рождением ребенка Лиззи. Это, впрочем, не помешало Фрэнсису Бутту подняться по Беллосгардо, чтобы

навестить Генри.

Исключительное воспитание и образованность Бутта сочетались с его величайшей кротостью. Казалось, он был совершенно не способен ни обидеть, ни обижаться. Когда появился «Женский портрет» и стало очевидно, что и он сам, и его дом, и дочь были открыто использованы в качестве прототипов, а у главного злодея романа — его лицо, он не выразил автору ни малейшего возражения, и даже напротив — старика это, похоже, позабавило. Он был чрезвычайно добропорядочным жителем Флоренции, а до того — Бостона и Ньюпорта, и все считали его безупречным гостем и хозяином. При всей его кротости и скромности поведения казалось, что это свойство продолжает иные благородные достоинства, в которые он верил, но, видимо, не считал нужным демонстрировать повсеместно.

Старик опустился в мягкое кресло главной гостиной Каса Брикьери-Коломби и поплотнее укутался в шаль. Генри отметил про себя его нарочито замедленную кошачью повадку, прекрасные длинные пальцы, лицо, которое, невзирая на любовь Фрэнсиса вкусно поесть, все эти годы оставалось на удивление аскетичным.

— Нам очень понравилась ваша подруга мисс

Вулсон, — сказал он. — Женщина редкостного обаяния и ума. Мы с Лиззи ее полюбили всем сердцем.

— Я уверен, она тоже в восторге от вас, — сказал Генри.

— У нее такой острый, находчивый ум, и вот эта ее удивительно милая манера уходить от нас так, словно от этого зависит вся ее жизнь. Нам всегда хочется, чтобы она осталась подольше, но у нее вечно работа, господи боже, да уж. — В глазах Фрэнсиса Бутта вспыхнула живая искорка. — Конечно, мы понимаем, что ее дружбой обязаны исключительно вашим стараниям. Она вами безмерно восхищается. И доверяет вам.

Друг его снова скрестил ноги, и Генри обратил внимание, какие у него красивые ботинки и какие узкие ступни. Ему хотелось вернуться к разговору о Лиззи и ее интересному положению, но он уже спрашивал о ней, когда Фрэнсис только пришел. Тем не менее он осмелился еще раз затронуть эту тему.

— Передайте Лиззи от меня наилучшие пожелания, — попросил он.

— Вы же знаете, что я все ей рассказываю, — снова улыбнулся Фрэнсис. — Мы оба тревожимся за Констанс. Конечно, никто из нас до конца не

исследовал всей ее глубины, но у нас сложилось о ней общее представление.

— Да, Констанс глубокий человек, — согласился Генри.

— Однако она страдает гораздо больше, чем этого заслуживает человек ее дарования, — заметил Фрэнсис, хмуря брови. — Но ей посчастливилось встретить вас и узнать вас. Мы оба так считаем.

Генри непонимающе смотрел на него.

— Мы с Лиззи заметили перемену в ней за последние несколько недель, когда стало совершенно ясно, что вы приедете. Знаете, она повеселела, стала одеваться в светлое и чаще улыбаться. Это совершенно точно.

Френсис Бутт умолк, откашлялся, затем достал носовой платок и отпил глоток чая, который ему подали. Как будто он сказал все, что должен был сказать, предельно четко выразив свою мысль. А потом он внезапно заговорил снова, вначале повысив голос, словно перебивая кого-то:

— Мы хотели вас спросить: а вы счастливы в этом доме?

— О да, я его обожаю.

— Учитывая, что Констанс совсем рядом и это ее дом или вскоре станет таковым… — Фрэнсис Бутт понизил голос, однако говорил вполне от-

четливо. — Никто не знает, что вы здесь, конечно, так что едва ли может возникнуть скандал. Беллосгардо, несмотря ни на что, это своего рода бастион. — Он пробежал пальцами по подлокотнику кресла. — Нет, проблема в другом — что она будет делать, когда вы уедете? Вот о чем мы с Лиззи тревожимся. Не о том, что вы здесь и так часто с ней видитесь, а о том, что вы перестанете видеться… надеюсь, вы понимаете, о чем я.

— Я сделаю все, что в моих силах, — ответил Генри.

Он знал, как неубедительно звучит его реплика, но, поскольку Френсис Бутт улыбнулся ему тепло, почти лучезарно, он не стал ничего исправлять.

— Я в вас не сомневаюсь. Это все, что нам остается, — сказал старик.

Он допил чай, встал и откланялся.

В январе Констанс вступила в права на Каса Брикьери-Коломби, а Генри переселился в центр Флоренции. Дни до обеда он проводил в праздности, а после полудня и вечером вращался в обществе, которым Констанс сознательно пренебрегала. Генри скучал, и его часто раздражали эксцессы колонии экспатов, но он хорошо научился скрывать подобные чувства, пока в конце концов однажды вечером они полностью не

испарились. Однажды, увидев графиню Гамба, у которой, как известно, хранилась подборка никем не виденных писем Байрона, известный литературный сплетник Юджин Ли-Гамильтон сказал Генри, что ее присутствие напомнило ему историю о другой подборке писем. Ли-Гамильтон утверждал, что Клара Клэрмонт, возлюбленная Байрона и невестка Шелли, дожила до глубокой старости. Последние годы она уединенно жила во Флоренции со своей внучатой племянницей. По словам Ли-Гамильтона, некий американец, который был без ума от Шелли и знал, что престарелая дама хранит письма обоих поэтов, устроил ей настоящую осаду. А после ее смерти продолжил обхаживать ее внучатую племянницу, даму пятидесяти лет, пока та не сказала, что он увидит эти письма, только если женится на ней. Ли-Гамильтон, между делом пересказав эту историю, словно хорошо известный светский анекдот, даже не догадывался, как сильно проникся ею собеседник, как задела того драматическая подоплека.

Скрытые смыслы и возможности этой истории не отпускали Генри еще какое-то время спустя. Вернувшись домой, он сделал черновые заметки, набросав портреты двух удивительных старых англичанок, нищих и опороченных, дожива-

ющих свой век среди чуждого им поколения в затхлом углу чужеземного города, владея лишь одним сокровищем — письмами. Но, обдумав тщательнее сердцевину драматического действа, он понял, что главную роль должен играть американец, который предстанет сразу в двух ипостасях — авантюриста и ученого. История этих троих — театр поблекших воспоминаний и отчаянной нужды — требовала времени и сосредоточенности. Ее нельзя было набросать за несколько флорентийских утр. Нельзя также оставить место действия в этом городе, поскольку каждый решит, что он просто пересказывает общеизвестную байку. Генри подумал, что перенесет рассказ в Венецию, и, поскольку его все больше зазывали в гости, сам решил перебраться туда и работать над рассказом, свойства и обстоятельства которого сулили ему немалое наслаждение в процессе.

В Венеции он обрел пристанище в нескольких комнатах мрачного и сырого палаццо, принадлежащего его давней приятельнице миссис Бронсон. Тот факт, что когда-то в них жил сам Браунинг, не согревал эти комнаты и не делал их светлее, несмотря на уверенность хозяйки, что прошлое разительно повлияло на их атмосферу.

Поужинав в одиночестве, он отправлялся гулять по городским улицам, населенным призраками. Когда спускалась ночь, все венецианцы возвращались по домам и больше на улицу ни ногой. Венеция была туманной и незнакомой, и впервые в жизни он недоумевал — что он делает здесь, в прежде столь любимом им городе?

Он с легкостью мог бы уехать в Англию. Рассказ совершенно сложился у него в уме, и он уже достаточно напитался зрелищем поблекших дворцов, где будут жить его героини, и ощущением древних тайн и героических атрибутов в этих сумрачных, богато украшенных и таких негостеприимных зданиях, некогда исполненных нежной романтики и высокого веселья, а нынче ставших угрюмыми хранилищами мглы и паутины, многие из которых населены бесприютными и немощными.

Однажды вечером, миновав Фрари и перейдя по мосту, ведущему к Гранд-каналу, он увидел фигуру женщины на фоне освещенного окна комнаты на верхнем этаже. Она стояла спиной, беседуя с кем-то внутри. Что-то в ее облике — ее волосы, изгиб шеи — заставило его замереть на месте посреди пустой мостовой. Разговор становился более оживленным, он увидел, как она пожимает

плечами, увидел ее жесты. Она была, насколько он мог судить, моложе Констанс, и волосы у нее были гораздо темнее, плечи шире, так что не физическое сходство напомнило ему о Констанс. Повернув назад, он поймал себя на том, что жаждал оказаться в той комнате, мучительно желая слышать голос женщины и внимать каждому произнесенному ей слову. Он брел сквозь мрак по улицам, где жизнь попряталась за фасадами домов по обе стороны, и медленно осознавал, что, хотя и прожил на Беллосгардо без малого три недели, он скучает по ее обществу, скучает по жизни с Констанс Фенимор Вулсон. Ему не хватало ее одновременно резких и сдержанных манер, американского образа жизни, которого она держалась повсюду, ауры, которая окружала ее в часы уединения, ее неистовой целеустремленности, ее восхищения им, веры в него. Ему не хватало тех нескольких часов в день, которые они проводили вместе, и он скучал по чарующему безмолвию, предварявшему и завершавшему их встречи. Он не мог решить, уехать ему в Англию или вернуться во Флоренцию. Он написал о своих сомнениях Констанс, втайне понимая, что его письмо она воспримет как некую мольбу.

Констанс ответила немедленно, предложив

в его полное распоряжение первый этаж Каса Брикьери-Коломби, который единственной дверью и тремя сводчатыми окнами выходил на собор и на город. Там он сможет работать в тишине и покое. С холма вся Флоренция красочно просматривалась как на ладони, но не наоборот. Беллосгардо стоял в стороне от города дворцов, церквей и музеев. Возвращаться туда ночью, оказавшись за несколько улиц от реки, было все равно что подниматься к любому тосканскому городку на холме. Констанс занимала обширный верхний этаж, а кухней и хозяйственными помещениями они пользовались совместно. Больше в доме никто не жил. На этот раз скрытность его присутствия подразумевалась между ними сама собой. Очень немногие знали, что Генри живет под одной крышей с мисс Вулсон, и никому другому об этом не говорили. Он написал Уильяму и лишь сообщил, что снимает комнаты на Беллосгардо. Миссис Кертис он описывал красоту видов с холма Беллосгардо и как ему хорошо живется. Не уточняя, что все это благодаря великодушию Констанс.

И еще он никому не сообщил, что, пока он уезжал из Флоренции, Констанс, к великому беспокойству Буттов и врача, впала в глубочайшую

меланхолию и буквально не вставала с постели, страдая, по словам Фрэнсиса Бутта, так сильно, как никто и представить не мог. Генри увидел следы этого состояния, когда вернулся, хотя она всеми силами старалась от него это скрыть. Констанс была рада, когда он ужинал в городе и она могла провести вечер в уединении. Как оказалось, ее раздражала глухота, и, побыв с Генри недолгое время, она, похоже, с удовольствием уходила к себе.

Но с приближением весны, когда погода стала мягче и приветливее, настроение Констанс значительно улучшилось. Она любила свой просторный дом и сад, который уже начал расцветать, и каждый день наслаждалась видами старого города, не испытывая искушения выйти за пределы этой маленькой крепости. Таким образом она хранила свою приватность, уважала приватность Генри, и за те шесть недель, что он провел у нее, они ни разу не появились на публике вместе.

Он усердно трудился над рассказом о письмах Шелли, сохраненных Кларой Клэрмонт, и об американском визитере. Генри знал, что его возвращение в этот прекрасный дом, в его идиллическую обстановку, было не совсем прилично с

его стороны, ведь он просил милости у Констанс, когда ей уже нечего было ему дать, у нее ничего не осталось. Она, как и он, знала, что он уедет, что для него это лишь краткая отсрочка одиночества, или жизни в Лондоне, или иных путешествий. Но для нее эта весна, этот дом и постоянное присутствие в нем Генри сделают это время самым утешным и пленительным в ее жизни. Он не сомневался, что ее счастье, каким бы оно ни было, зиждилось на идеальном равновесии между дистанцией, сохраняемой ими, и отсутствием всякой надобности общаться с кем-то еще. Она красиво одевалась, предпочитая белое, много внимания уделяла украшению дома, наводила порядок в саду и привередливым взором следила за кухней.

Однажды под вечер, когда они встретились на террасе за чаем, в Каса Брикьери-Коломби неожиданно явилась романистка английского разлива мисс Рода Броутон, которую он много лет знал, живя в Лондоне. Она сообщала как-то в письме, что собирается навестить Констанс, но не уточнила даты. Она изобразила удивление, что встретила Генри у Констанс, и заключила его в теплые объятья.

— Я знала, что вы в Италии, — сказала она, —

друзья в Венеции сообщили мне об этом, но я даже не надеялась найти вас во Флоренции.

Генри наблюдал, как она устраивается в плетеном кресле, предварительно взбив подушки, как болтает без умолку в своей обычной легкомысленной манере, которая могла бы у какого-нибудь наивного простака создать впечатление, что она не слишком-то умна.

— И оба вы здесь! — воскликнула она. — Как хорошо! Я могла бы годами разъезжать по Италии и никого из вас не встретить, и тут внезапно застаю сразу обоих.

Генри улыбнулся ей и кивнул слуге, который принес чай для мисс Броутон. То, что она якобы никого не слышит и не замечает ничего, кроме своего сиюминутного удобства, было полным притворством. На самом деле эта дама всегда держала ухо востро. Она даже могла заранее знать, допускал Генри, что он пользуется гостеприимством мисс Вулсон. И он был полон решимости сделать все, чтобы, покидая Каса Брикьери-Коломби, она усомнилась в достоверности этого знания. Они обсудили насельников Венеции, с которыми успела повидаться мисс Броутон, а затем разговор повернул к тому, как приятно было оставить Лондон.

— Я всегда мечтала жить во Флоренции, — сказала Констанс.

— И вот вы здесь живете, — сказала мисс Броутон. — Ваша мечта сбылась, какое счастье для вас обоих поселиться в таком чудесном доме.

Мисс Броутон сделала глоточек из чашки, а Констанс в это время пронзала взглядом пустоту. Генри очень жалел, что не сидит сейчас и не пишет в уединении своей комнаты — там он смог бы придумать достойный ответ. А думать нужно было очень быстро, и он не был уверен, что ему удастся полностью опровергнуть ее предположение.

— Конечно, мисс Броутон, я просто гощу здесь, как и вы. А счастливица у нас мисс Вулсон.

Посмотрев на Констанс, он увидел, что его замечание она словно бы не заметила.

— А где вы остановились? — поинтересовалась Рода Броутон.

— О, мне довелось поскитаться с места на место, — ответил он. — Был, как вы знаете, в Венеции, а теперь собираюсь в Рим. Флоренция восхитительна, но для бедного писателя здесь слишком обширное культурное сообщество.

— Я даже не надеялась найти вас во Флоренции, — повторила Рода Броутон.

Генри подумал, что теперь эта фраза прозвучала еще неубедительнее, однако пора было завершать вечер вопросов и ответов. По счастью, на этот раз мисс Броутон оставила ему лазейку. Сухим поклоном он дал ей понять, что, возможно, ее неосведомленность входила в его намерения. Пока она обдумывала связанные с этим последствия, Констанс перевела разговор на другую тему.

Он не желал, чтобы его новый рассказ читался как перепев истории Клары Клэрмонт и ее внучатой племянницы, поэтому ему было недостаточно просто перенести место действия из Флоренции в Венецию, нужно было сделать покойного писателя американцем, одним из пионеров американской прозы. По ходу дела он понял, что ссылается на кого-то наподобие Джеймса Фенимора Купера, а когда вплотную занялся образом американского авантюриста, осознал, что включил в его жизнь эпизоды из собственного повторного приезда во Флоренцию, своего собственного вторжения. И пока он фиксировал черновик рассказа, до него начала доходить вся ирония ситуации. Если он ищет отверженную старую деву, которая хранит старые бумаги и приходится родней пионеру американ-

ской литературы, таковая обитала этажом выше. Правда, она отличается куда большей независимостью, чем героиня рассказа.

А что, если вычеркнуть требование старой девы жениться? Что, если сделать финал истории близким к правде, к той странной, полной загадочных нюансов, открытой для любой развязки и бесконечно увлекательной жизни, которую он вел сейчас рядом с Констанс Фенимор Вулсон? Что, если его авантюрист вдруг ощутит или подумает, что ощущает, необходимость осесть, стать чем-то вроде жильца у этой очень умной и сдержанной женщины, одинокой, но не желающей стать чьей-то добычей. Она никогда не попросит о чем-то настолько очевидном, как женитьба. Все, чего она хотела, — тесных и утешных и, если необходимо, лишенных условностей отношений. Она хотела преданности, заботы и привязанности так же сильно, как уединения и сохранения дистанции.

Однажды флорентийским утром, открыв принесенное горничной письмо от Кэтрин Лоринг, в котором шла речь о здоровье и общем благополучии его сестры, он завел с Констанс разговор об Алисе.

— У нее была трудная жизнь, — сказал он. — Ка-

жется, сама жизнь и стала причиной ее недуга.

— Я думаю, нам всем трудно живется. Слишком уж велика пропасть, — сказала Констанс.

— Вы имеете в виду — между ее воображением и рамками, которые ее ограничивали?

— Я говорю о пропасти между возможностью для женщины в полной мере использовать свой ум и общественными предрассудками, — сказала Констанс. — Алиса сделала то, что должна была, и я восхищаюсь ею.

— На самом деле она только и сделала, что осталась лежать в постели, — сказал Генри.

— Об этом я и говорю, — ответила Констанс.

— Не понимаю, — сказал он.

— Я имею в виду, что эти самые предрассудки проникают в самую глубь вашей души.

Она мягко улыбнулась ему, словно сказала что-то приятное.

— Уверен, она согласилась бы с вами, — сказал он. — Настоящее благословение, что у нее есть мисс Лоринг.

— Она сущий ангел-хранитель, — сказала Констанс.

— Да, нам всем нужна такая мисс Лоринг, — сказал Генри и немедленно пожалел о сказанном. Имя мисс Лоринг ассоциировалось со старой

девой, искусной только в том, чтобы служить другим и заботиться о них.

Генри просто хотел разрядить обстановку — пошутить или выразить благодарность, но теперь фраза повисла в воздухе, словно легкомысленно озвученная им его собственная нужда, как будто именно этого он ждет от Констанс. Он повернулся к ней, чтобы загладить вред, причиненный его словами, но понял, что она, судя по всему, не заметила подтекста или не приняла его слова на свой счет. И тем не менее она их услышала, в этом не было сомнений, но невозмутимо продолжила разговор.

Со дня его отъезда из Флоренции и до самой ее смерти они продолжали переписываться и встречаться. Как-то раз они оба остановились в Женеве, жили на противоположных берегах озера, но виделись ежедневно. И Алиса начала догадываться об их близких отношениях. «Генри где-то на континенте флиртует с Констанс», — написала она Уильяму. Вернувшись, он нашел сестру в куда более язвительном состоянии, чем обычно. Несносная, почти злобная, Алиса упрекала его в том, что он пренебрегает сестрой, заигрывая со своей романисточкой.

Констанс оставила Флоренцию, поняв, что не

в силах дальше выносить набеги и вторжения местного общества, — во всяком случае, именно так она объяснила свой отъезд. Она снова перебралась в Лондон, где с прежним рвением поставила уединение и тяжкий труд на первое место в списке собственных нужд. Воодушевленно и независимо она отправилась путешествовать на Восток и слала оттуда Генри регулярные отчеты — игриво-ироничные и в то же время отстраненные. Вернувшись в Англию, она поселилась в Челтнеме, а позднее — в Оксфорде. Ее способность к самоотверженному трудолюбию, как писал Генри Фрэнсису Бутту, была, как всегда, замечательной и достойной восхищения.

Они поддерживали близкие отношения, всегда зная о заботах и местонахождении друг друга. Когда начала умирать Алиса, Констанс жила в Оксфорде, и Генри сообщал ей в письмах новости о состоянии сестры. В первые месяцы 1892 года дамы обменивались краткими, нервными, остроумными записками. Констанс оставалась в Англии еще несколько лет после смерти Алисы, пока не решила окончательно переехать в Венецию.

К тому времени писатели выработали довольно странную, бессистемную и удовлетворявшую обо-

их форму близких взаимоотношений. Они стали настоящими мастерами свиданий в провинциальных английских местечках, где проводили сутки, живя в разных гостиницах, но гуляя и ужиная вместе. Констанс обычно бывала на редкость неподатливой и воинственной, вступая с ним в споры по поводу недавно прочитанных книг или местных достопримечательностей, которые они посетили, и всегда охотно вышучивала его чрезмерную склонность к утонченности и комфорту. Интересно, думал Генри, что подумал бы о них сторонний наблюдатель? Оба они были американцами, много лет назад покинувшими Америку. Ни он, ни она не познали ни компромиссов брака, ни любви и забот родительства. Никого из них не будил по ночам детский плач. Их, наверное, можно было принять за брата и сестру. Но потом он увидел, как она наслаждается игрой собственного ума, эта повелительница сотен случаев и категорий, сообразно которым она как по полочкам раскладывала своих современников-смертных, целые здания и города, свои воспоминания и его наблюдения. И когда она улыбалась ему, Генри понимал: никто и никогда не вообразил бы, что его подруга, такая мрачно-оживленная сейчас, такая веселая и ча-

рующая, находится в обществе своего брата. Он чувствовал, что точно так же, как они остаются тайной друг для друга, оба они являют собой тайну для тонкой прослойки общества, способной их заметить.

Генри встретил ее в Париже, когда она перевозила свои пожитки из Оксфорда в Венецию. Упаковка чемоданов и сборы в дорогу заняли у нее несколько месяцев. Она была измотана и сбита с толку, а боль в левом ухе причиняла ей невероятные страдания. Она ясно дала понять по прибытии, что не сможет уделить ему много времени. Пусть он один гуляет по городу, сказала она, а потом, как-нибудь вечером, возможно, они встретятся ненадолго. Но она не уверена, прибавила она, что вообще будет в состоянии его принять.

Однако, несмотря на опасения, на следующий вечер Констанс почувствовала себя вполне сносно, чтобы поужинать с ним. Он заметил некоторую заторможенность ее движений. И ей приходилось поворачиваться к нему правым ухом, чтобы его расслышать.

— Я получила письмо от Фрэнсиса Бутта, — сообщила она. — Он знал, что вы будете в Париже, но думал, что вы едете туда в одиночку и что мы

с вами уже некоторое время не общаемся.

— Ах да, — вспомнил Генри, — когда я писал ему о своих планах, они были очень туманными.

— Думаю, он очень удивился, — сказала Констанс, — потому что я рассказала ему, что мы собираемся встретиться на несколько дней, а в это же время ему пришло письмо от вас, где вы сообщили, что едете в Париж один. Он спросил меня, как это вы можете быть один и в то же время вместе со мной.

— Милый Фрэнсис, — сказал Генри.

— Напишу ему, что быть отчасти невидимой — маленькая особенность моего неповторимого обаяния.

Это прозвучало горько, почти раздраженно.

— А Венеция, конечно же, будет прекрасна, — сказал он. — Прекрасна, как мечта, — как только вы там устроитесь.

Она вздохнула и затем кивнула.

— Переезжать — ужасно трудно, но бывает так, что остаться гораздо труднее, — сказала она.

— Очень жаль, что в окрестностях Венеции нет холмов, — сказал он. — Ты или в городе, или нет. Но в Венеции гораздо легче найти жилище с чудесным видом, чем во Флоренции.

— Я уже боюсь туда ехать. Сама не знаю поче-

му, — призналась она.

— Я всегда думал, — сказал он, — что хорошо бы проводить там часть зимы, в тихую пору, когда наши соотечественники не попадаются на каждом шагу. Ходить куда вздумается, делать что хочется и ни от кого не зависеть.

— Об этом мечтает каждый, кто едет в Венецию, — сказала Констанс.

— После смерти сестры мои финансовые проблемы существенно пошли на убыль. Так что нет ничего невозможного.

— Снять этаж, временное прибежище в Венеции, одна нога на земле, другая — на воде?

— Пожалуй, обе на земле.

Она улыбнулась и, кажется, впервые выглядела расслабленной, почти воодушевленной.

— Не представляю вас на Гранд-канале, — сказала она.

— Нет, где-нибудь в закоулке, — сказал он. — Не важно где, но чтобы затеряться среди лабиринта слепых улочек.

— Порой Венеция меня пугает, — сказала Констанс. — Пугает ее вероломство — я всякий раз боюсь там заблудиться.

— Мы сделаем все возможное, чтобы вы не сбились с пути, — пообещал Генри.

За несколько лет до того, как арендовать Лэм-Хаус, Генри легко и спокойно зимовал в Лондоне. Его распорядок дня, когда никто не приезжал к нему из Соединенных Штатов, а знакомые лондонцы уважали его привычки, вполне его устраивал, и желания путешествовать не возникало. Что-то было в той отдаленной, пульсирующей энергии, притягивавшей его к Лондону, даже если городские новости поступали к нему из вторых рук.

Он любил неизменный ход времени с утра до полудня, знакомые книги, плодотворные часы уединения, красоту ускользающего дня. В Лондоне он несколько раз в неделю ужинал вне дома, а остальные вечера проводил в одиночестве, чувствуя усталость и странное беспокойство после определенного часа, но постепенно учился справляться с беззвучием, безмолвием и собственным обществом.

Письма от Констанс, которая теперь обустроилась в Венеции, свидетельствовали о перемене в ее привычках. Она писала о Венецианской лагуне, о том, что исследует другие острова и скрытые от глаз туристов уголки, о своих катаниях на гондоле. Но еще она начала описывать людей, с которыми встречалась, упоминать общих друзей в Венеции — например, миссис Кертис и миссис

Бронсон. К ним добавлялись другие имена — такие как леди Лейярд, и это говорило о том, что она вхожа в их круг или, по крайней мере, они регулярно приглашают ее в гости и она с удовольствием пользуется их радушием.

Так Генри решил, что его подруга, которую он обожал за ее отстраненность от мирской суеты и самодостаточность, по всей видимости, охотно влилась в жизнь англо-американского сообщества Венеции, позволив себе воспользоваться покровительством наиболее богатых и влиятельных дам тамошнего высшего света. Когда она написала, что миссис Кертис подыскивает ему «временное прибежище», он встревожился. В ужасе он представил себе, что его подруга обсуждает его планы с людьми, которых она не знает настолько хорошо, как знает их он. Тон ее писем, а также письма́, которое он получил от миссис Кертис, говорил о том, что Констанс уже почти объявила всем, насколько они с Генри близки и как часто виделись за последние десять лет. Он знал, как быстро и как легко разлетится эта новость и как неверно она будет истолкована.

Пока была возможность, Генри вел безмятежную жизнь. Он никого не обижал, во всяком случае искренне верил в это, и редко обижал-

ся сам. Его могли раздражать издатели, а еще был один театральный деятель по имени Августин Дейли[61], чьи выходки приводили его в бешенство, и редакторы журналов постоянно испытывали его терпение, которое не было бесконечным. Вдобавок если обещанные гонорары задерживались, обещались снова и снова не выплачивались, или книга не выходила вовремя, или не продавалась, или газеты нападали с особо злобной критикой — все это тревожило его разум, особенно по ночам. Но с течением времени такие заботы отходили на задний план, казались второстепенными и не требующими затрат времени и энергии. Он забывал о них и ни на кого не держал зла.

Теперь же мысль о том, что Констанс свободно обсуждает его с хозяйками пышных палаццо Гранд-канала, вопреки своей сдержанности и скрытности, которыми она всегда гордилась, не шла у него из головы. Следующее ее письмо, в котором она описывала других жильцов Каса Би-

[61] Сноски: 61

Джон Августин Дейли (1838–1899) — театральный менеджер, драматург и актер, первый признанный режиссер в Америке. Жестко, тирански контролировал все аспекты своих постановок и был прозван «самодержцем сцены»; ввел для актеров и актрис крупные штрафы за опоздания и забытые реплики. Открыл Театр Дейли в Нью-Йорке в 1879 г. и второй в Лондоне в 1893 г.

ондетти, среди которых была и Лили Нортон, отец и тетка которой дружили и с Генри, и с Уильямом, наполнило его душу тягостным предчувствием. Он работал над пьесой и, как он любил писать Констанс, вел в Лондоне жизнь затворника. Он не упоминал о том, что собирается приехать в Венецию и снять там квартиру, пока на него не стали давить, требуя подтверждения его предварительных планов, сама Констанс и миссис Кертис, которые теперь, похоже, действовали в тандеме.

Дважды при помощи Констанс ему удалось пожить на холме над Флоренцией, и почти никто об этом не знал. Дорога на Беллосгардо была узка, извилиста и крута, так что всем, кто хотел прийти в гости, нужно было приложить усилие и точно знать маршрут. А вот в Венеции, похоже, у Констанс насчет него были совсем иные намерения. Не то чтобы он тешил себя надеждой жить в Венеции инкогнито, но теперь, когда его связь с Констанс предали огласке, он предвидел тот светский круг, в который они оба неминуемо будут вовлечены. Генри вообразил, как она с почти нескрываемым раздражением напрягает здоровое ухо, чтобы выслушивать бородатые анекдоты Дэниела Кертиса или рассказы миссис

Бронсон о ее подвигах с Браунингом. Представил, как она, повернувшись к нему, одним пронзительным взглядом высказывает свое презрение ко всей этой компании. А еще — и это терзало его больше прочего — она будет готова вступить в сговор с его же старыми друзьями, войдя теперь в их тесный круг, сговориться у него за спиной с благими намерениями; но это категорически помешало бы Генри самому принимать решения и поступать по собственному желанию, что являлось его неприкосновенной потребностью. После известия о том, что Констанс и миссис Кертис вместе ищут от его имени апартаменты, прошло несколько недель, и постепенно им овладела такая беспомощность, какой он не ощущал с раннего детства.

В июле он написал миссис Кертис, пояснив, что мисс Вулсон неверно истолковала его намерения найти квартиру в Венеции. Он осознает, писал Генри, что неосмотрительно поддался обаянию города на воде и, вероятно, слишком неуклюже выразил свой восторг, раз мисс Вулсон всерьез решила, что он собирается поселиться в Венеции. На самом деле у него таких планов нет, написал он, множество всевозможных практических резонов удерживают его в Лондоне. Всякий раз,

приезжая в Венецию, он начинает лелеять мечту найти скромное пристанище в этом городе, и в следующий приезд несомненно будет то же самое, и, пока он на месте, мечта становится все явственнее, но исчезает, стоит ему вернуться домой в Лондон. Он поблагодарил миссис Кертис за все ее хлопоты, прибавив напоследок, что, несмотря на свое страстное желание поехать зимой в Италию, он на собственном горьком опыте научился не принимать скоропалительных решений и не строить твердых планов.

Генри знал, что Констанс покажут его письмо, и представлял себе ее реакцию. В Англии они каким-то непостижимым образом стали зависеть друг от друга. И хотя существовали вещи, которых они никогда не касались, все прочее, включая их собственные произведения, их взаимоотношения с редакторами и издателями, они всегда обсуждали друг с другом. Генри знал, как много значила для нее его откровенность, и представлял, как позднее, в одиночестве она обдумывала сказанное, все малейшие детали, в которые он ее посвятил. Теперь она узнает не только то, что он не собирается поселиться в Венеции, но и что не приедет этой зимой, хотя обещал. Она останется в Венеции одна, брошенная им на произвол судьбы

среди праздных богачей, которых, как он точно знал, она будет презирать.

Может, они встретятся весной, думал он, в Женеве или в Париже, но он точно не поедет в Венецию. Он представил себе, как она окинет его критическим взглядом, как только он переступит порог салона миссис Кертис, а потом наедине будет припоминать ему его галантное поведение, язвительно намекая на то, что он тщеславно наслаждался радушием местного англо-американского светского общества, члены коего видели в нем ценный приз.

Лето перекатилось в осень, а от Констанс все не было вестей. Он допускал, что она очень обижена и что, как и он сам, она много работает. Корреспондентов у него было много, и каждому отдельно взятому он писал нечасто. Но молчание между Кенсингтоном и Венецией было иного свойства. В конце концов на исходе сентября она отозвалась, но тон ее письма был отстраненным и холодным, она просто уведомляла его, что переехала из Каса Биондетти, где ее опекали неустанно, в более приватное жилище неподалеку — Каса Семитеколо, где она сможет побыть одна. Чуть ли не мимоходом она упомянула, что совершенно выдохлась, пока писала и пе-

переписывала последний роман, и теперь больше всего мечтает о бескнижной зиме. «Любящая вас Констанс», — каллиграфически вывела она подпись. Он еще раз перечитал письмо, зная, как тщательно она подбирала каждое слово. Он зацепился за «бескнижную зиму» и задумался над этим выражением, но только позднее до него дошел его зловещий смысл.

Декабрь он провел в дальнейших препирательствах с Августином Дейли, который имел наглость вернуть его пьесу «Миссис Джаспер». По этому поводу между ним и Дейли развернулась бурная эпистолярная перепалка, и несколько недель, вплоть до Рождества, она занимала почти все время его бодрствования. Впрочем, Рождество и Новый год прошли в спокойных раздумьях, поскольку Генри переписывал пьесу.

Однажды пополудни в январе он спокойно писал, когда Смит положил на каминную полку телеграмму. Позднее Генри припоминал, что, погруженный в работу, он на час или даже более напрочь забыл о ней. И только прервавшись на чай, рассеянно подошел к камину и вскрыл конверт. Телеграмма сообщала, что Констанс умерла. Сперва он пошел и спокойно попросил Смита подать чай, а потом вернулся в кабинет и, плотно

прикрыв дверь и усевшись за стол, еще раз внимательно изучил телеграмму, которую прислала из Америки сестра Констанс — Клара Бенедикт.

Он понял, что должен поехать в Венецию, и теперь размышлял над тем, у кого бы узнать подробности ее смерти. Подали чай, он выпил его, а затем подошел к окну и начал лихорадочно обшаривать взглядом улицу, как будто некая отдаленная деталь, некое движение или даже звук могли помочь ему в полной мере осознать случившееся или вымарать из памяти это осознание, медленно осевшее в голове.

Как именно она умерла? И внезапно холодком по спине пробежало подозрение, что умерла она не от болезни. Она была сильной, думал он, и отличалась превосходным здоровьем, и он представить не мог ее во власти недуга. Она закончила книгу, и это, как всегда, совершенно ее опустошило. Он знал, что она ненавидела зиму, а зима в Венеции могла быть на редкость мрачной и суровой. В ужасе он припомнил свой отказ приехать в Венецию и то, что не сообщил ей об этом напрямик. Он был уверен, что его нежелание встретиться с ней глубоко ее ранило. И вот, пока он стоял у окна, его вдруг ударила мысль, что она могла покончить с собой. И тогда его затрясло,

и он с трудом добрался до кресла, сел в него и, цепенея от ужаса, стал вспоминать снова и снова все известные ему факты ее существования в течение последнего года.

Чуть погодя его горестные раздумья прервал Смит, принеся вторую телеграмму. Генри поспешно распечатал ее. Телеграмму прислала племянница Констанс, которую печальная новость застала в Мюнхене. Теперь она приехала в Венецию и подтвердила ее. Отложив телеграмму в сторону, он решил, что не поедет сейчас в Венецию. Там он будет совершенно беспомощен, а мысль о ее окоченевшем теле, физическом факте ее трупа, о ее неподвижном лице — смертной маске, то скрывающей, то раскрывающей прошлое этого лица, насколько позволит свет, привела его в ужас. Он не хочет видеть ее тело, не хочет приближаться ко гробу, который, как сообщала телеграмма, через неделю будет предан земле на протестантском кладбище в Риме.

Весь день он просидел дома и никому не сообщил о случившемся. Он написал врачу Констанс в Италии, их общему другу, что потрясен и раздавлен и до сих пор не уверен, как именно она умерла. Все это страшное, непостижимое горе, писал он. Он ведь даже не знал, что она болела,

сетовал Генри в письме, и теперь ему горько и мучительно думать, что в конце концов она умерла в полном одиночестве, без друзей, и никого несчастнее ее и печальнее ее он не встречал на белом свете. Он дописал письмо, и перед глазами возникло ее открытое и восприимчивое лицо — такое сложное и живое, ее сияющие, умные глаза. Он позволил себе выплакаться, прежде чем вернулся к окну и уставился на улицу внизу, где сновали живые люди, которые ничего для него не значили.

Утром, пробудившись, он ощутил, что, хотя она ему не снилась, ее дух, ее взыскующая сущность давала о себе знать всю ночь, и он хотел поскорее снова зажмуриться и погрузиться в сон, чтобы избежать холодной реальности ее исчезновения. Никто в целом мире не читал его книг так внимательно, не пытался узнать его так явственно. Ни в ком другом так причудливо не сочетались честолюбие и резкость, ранимость и меланхолия, непредсказуемость и храбрость. Ни с кем у него не было такого глубочайшего родства душ, и потеря этого родства стала для него тяжким бременем и опустошила.

Больше никаких новостей не пришло, и с каждым часом он воображал сценарий за сценарием,

следовал за вероятным развитием событий, продумывал последствия. Он метался между мыслью о том, чтобы не ехать в Рим на похороны и внезапным желанием выехать немедленно, несколько раз он посылал Смита то заказать билеты до Италии, то отменить заказ. А потом, промаявшись несколько дней, он открыл «Таймс» и узнал, что Констанс разбилась насмерть, выпрыгнув из окна дома, в котором жила в Венеции. Это было самоубийство, сообщила газета. Он немедленно начал убеждать себя, что не виноват. Он ни в чем не виноват, думал он, потому что не давал ей твердых обещаний. Они не были любовниками, не состояли в кровном родстве. Он был обязан ей только дружбой, как и многим другим, говорил он себе, и все остальные его друзья знали, что, когда он пишет книгу, его ставни закрыты и он недоступен. Все его друзья знали, что в такие моменты от него ничего нельзя требовать, и Констанс тоже знала.

Генри написал Джону Хею — их общему другу, который уже находился в Риме. Он сообщил Хею, что почти собрался поехать в Рим, чтобы постоять у ее могилы на протестантском кладбище, но, когда выяснилась причина смерти Констанс, он совершенно упал духом от горя и ужаса, писал он,

и теперь не в силах куда-либо ехать. Она всегда была, прибавил он, настолько мало приспособленной для простого человеческого счастья, что любая привязанность к ней всегда была смешана с тревогой пополам.

Генри отбрасывал мысль, которая пришла к нему, когда он, дописав письмо, сидел в одиночестве. Мысль эта обладала чудовищной разрушительной силой, и он сопротивлялся ей как мог. Он позволил себе считать, что Констанс не так-то легко давалось и общение с ним, и такое эмоциональное сосредоточение. Она была достаточно утонченной и нервной, чтобы выдвигать свои требования безмолвно, но от этого они становились еще яснее и выразительнее. И теперь ему следовало взглянуть фактам в лицо: он сам, в свою очередь, исподволь посылал ей мощные сигналы, что он отчаянно в ней нуждается. И всякий раз, когда становилось очевидно, что она откликается на его призыв, он прятался в раковине своего внутреннего мира, в безопасности которого он нуждался так же отчаянно, как в участии Констанс.

Фигурально выражаясь, она стала жертвой огромного недоразумения, не понимая, что он не просто добровольный оседлый изгнанник, но

мужчина, который не хочет и никогда не захочет иметь жену. Конечно, ее проницательный ум не мог не предупреждать ее, что при малейшем давлении он просто испугается и сбежит. Но ее потребность и само свойство ее привязанности оказались выше здравого смысла, подумал он. И тем не менее она действовала осмотрительно, она признавала его нужды, его сдержанность и была готова держать дистанцию, но, когда слишком приблизилась, сделав их отношения публичными, он ее отверг.

У него были собственные причины оставаться одному. Впрочем, его воображение не могло выйти за пределы его страхов. Приходилось напрягаться, чтобы контролировать себя. То, что он натворил, заставило его содрогнуться. Если бы он поехал этой зимой в Венецию, она бы не наложила на себя руки. Если бы она прямо попросила его приехать, а он отказал, теперь ему было бы легче испытывать лишь чувство вины. Но она больше никогда и ни о чем его не попросит. Он ее подвел. Неизвестно, поняли ли ее или его венецианские друзья, что причина именно в этом, и не это ли обсуждали они между собой сразу после ее смерти.

Страшно было подумать, что Констанс долгое время планировала самоубийство. В письмах к

Роде Броутон, к Фрэнсису Бутту, к Уильяму он внушал каждому из них, что ее последний поступок был внезапным, сиюминутным приступом безумия. Он и сам до конца не верил в то, что писал, но с каждым новым повторением эта мысль как будто становилась все более правдоподобной и вероятной. Он никого не посвятил в свои страшные предположения, почему она на самом деле ушла из жизни. Но незримый дух Констанс витал в его комнатах еще несколько недель после ее смерти, и Генри почувствовал, что только она была способна точно расшифровывать несказанное и недосказанное. Не нужно было даже шепотом произносить слова, даже полностью формулировать их мысленно не было необходимости. Ее новоявленный призрак понимал, что Генри знает, он точно знает, что никаких приступов безумия у нее не было, она была не склонна к необдуманным жестам, независимо от обстоятельств. Она была очень целеустремленной женщиной и принимала все решения взвешенно и рационально. Ей претил всякий надрыв и театральность.

А как только спускалась ночь, и в камине полыхал огонь, и зажигались лампы, он оставался один на один с бедой, постигшей его подругу.

Она планировала собственную смерть, он уже не сомневался в этом, и некоторое время просчитывала возможности. Она дописала роман, и он знал, что часто после завершения очередного произведения она не верила, что снова возьмется за перо. Зима в Венеции была грустная и промозглая, и Констанс тосковала от одиночества среди людей, которых она легко могла возненавидеть.

И вот ради чего-то, спрятанного в потайных глубинах его души, — чего-то, сопротивлявшегося ей, — ради соблюдения приличий, ради светских условностей он бросил ее там одну. Он был тем, кто мог бы ее спасти, лишь подав ей знак.

Она планировала смерть, думал он, как прежде планировала книгу, неуверенно, нервно, но честолюбиво и с непоколебимым физическим мужеством. Инфлюэнца, которой, по словам ее врача, она болела в те недели, только укрепила ее желание. Она решила, что наконец-то будет счастлива, и готовилась совершить над собой ужасное насилие, разбить вдребезги свои кости и голову о брусчатку, чтобы достичь цели. Ее неустанная любознательность, чистая искренность чувств, деятельная природа ее воображения — все это сейчас явственно предстало перед его внутренним взором, словно она самолично явилась

навестить его посреди зимы в Лондоне, когда ее смерть уже перестала быть новостью, и он понял, что должен ехать в Венецию, где она умерла, а оттуда отправиться в Рим, где ее искалеченное тело покоится в земле.

Все дни, предшествовавшие его отъезду, она навещала его — явственно, ощутимо. Женщину, которую он прежде держал на расстоянии вытянутой руки, заменила женщина его мечты, призрак упущенных возможностей. Родители давно умерли, и сестра уже два года как скончалась. А Уильям был далеко. Его самого очень мало интересовало лондонское сообщество, мнение которого прежде так сильно его заботило. Он мог поступить, как ему заблагорассудится, мог поселиться на Беллосгардо в одном доме с Констанс, а мог сподвигнуть ее найти два дома рядом в какой-нибудь прибрежной английской деревушке.

Теперь он думал о ее мертвом теле, о комнатах, которые наполняла аура ее страстной натуры — ее книги, ее памятные вещицы, ее одежда, ее бумаги. Она предпочитала эти комнаты большинству людей. Комнаты были ее сакральным пространством. Он начал воображать ее комнаты в Венеции — Каса Биондетти, потом Каса Семитеколо, и ее комнаты в Оксфорде до того, как она

покинула Англию. Теперь он тосковал по этим обиталищам, словно был с ними знаком, словно у него имелись резоны скучать по ним. Он увидел ее фигурку, такую аккуратную в каждом движении, порхающую по этим комнатам, и начал осознавать, почему изначально отказался ехать в Венецию после ее смерти и в Рим на похороны. Ему пришлось бы уйти от нее, пришлось бы узаконить их расставание. Лишиться отношений, таких неопределенных, исполненных надежд и возможностей, и столкнуться с ее отсутствием во всей его непоправимости. Он ей больше не нужен.

Ощущение, что его резко и яростно отвергли, каким-то образом приблизило Генри к Констанс. Теперь перспектива оказаться в ее комнатах в Венеции, взглянуть на ее бумаги, побыть в атмосфере, созданной ею, начала его увлекать. Он скучал по ее обществу и в ожидании отъезда в Италию, гадал, всегда ли он скучал по ней так же, и если только теперь, когда это не грозит ему никакими последствиями, может ли он позволить себе потакать своим желаниям в полной мере?

Дожидаясь в Генуе сестру Констанс Клару Бенедикт, Генри написал Кэй Бронсон и попросил ее зарезервировать для него комнаты в Каса Би-

ондетти, которые Констанс занимала прошлым летом. Условия те же, писал он, и было бы желательно, чтобы падроне готовил для него как для мисс Вулсон, памятуя, как довольна была его подруга хозяйской стряпней. Он не удивился, когда ему сообщили, что комнаты свободны. Дух Констанс вселил в него уверенность, что так и будет. Даже теперь, два месяца спустя после смерти, она его направляла.

Американский консул пришел вместе с ними, чтобы снять печать, которую наложили власти на апартаменты Констанс после ее смерти. Внизу их дожидался Тито, ее гондольер. Миссис Бенедикт с дочерью молча стояли, пока отпирали двери обители смерти. Генри показалось, что они не сразу решились войти. Он стоял позади, пытаясь верить, что дух ее не блуждает по этим покинутым комнатам, что здесь только ее бумаги, ее пожитки, безделушки, вещицы, которые она любила собирать. Теперь он еще острее ощутил, что она все планировала и предвидела. С ее любовью к деталям она способна была предвидеть появление консула, слом печати и лодку, ожидающую внизу, и еще она могла вообразить, как трое стоят у двери в ее жилище — сестра Клара Бенедикт, ее племянница Клэр и ее друг Генри Джеймс.

Такова, думал Генри, была ее последняя повесть. Они все играли свои роли. Он наблюдал, как две американки в страхе сторонятся выхода на маленький балкон, с которого она выпрыгнула. Констанс наверняка очень точно представляла себе их лица и, уж конечно, лицо Генри, наблюдающего за ними с холодным сочувствием. Она улыбнулась бы про себя, зная эту его способность тщательно скрывать свои подлинные чувства даже от себя самого и ничего не говорить. Таким образом, вся сцена, происходившая в ее комнатах, каждый их вдох, выражения лиц, каждое сказанное и несказанное слово — все принадлежало Констанс. Генри не сомневался, что она не раз с иронией и интересом рисовала себе эти сцены, уже зная, что умрет. Они были ее персонажами, она написала для них сценарий. И она предвидела, что Генри узнает руку мастера, создавшего эти сцены. И само это узнавание было частью ее грезы. Не важно, на что он смотрел и что думал, он ощущал четкость ее плана и как будто слышал ее грустный смех: до чего же легко оказалось манипулировать сестрой и племянницей и как сладко управлять действиями друга-писателя, который, судя по всему, пожелал от нее освободиться.

Мать и дочь Бенедикт не знали, что делать. Они

наняли Тито, чтобы возил их по городу. Очень скоро они уже души в нем не чаяли. Они искали утешения в обществе друзей Констанс, но когда им рассказали, что Констанс нашли еще живой, что она лежала на мостовой и стонала, умирая, то сделались еще безутешнее. Они плакали всякий раз, входя в комнаты Констанс, пока Генри не почувствовал, что, если бы Констанс могла это видеть — а может, именно это она и предвидела, — пожалела бы о том, что совершила. Она никогда не была настолько жестокой.

В практическом плане ее сестра и племянница оставались совершенно беспомощны. Сперва они не хотели касаться бумаг Констанс и, кажется, были рады оставить все как есть. Похоже, они никак не могли поверить, что она мертва, и считали, что прикасаться к ее вещам значило бы предать забвению их владелицу.

Через несколько дней растерянности и горя, смягченных стараниями друзей Констанс, пытавшихся обедами, ужинами и посиделками отвлечь и утешить сестру и племянницу, Генри, которому вручили ключи от квартиры, договорился с ними о встрече. Констанс оставила множество бумаг — незаконченные или неопубликованные произведения, письма, отрывки, черновики. Он

не касался их в предыдущие визиты, но составил себе воображаемую карту, где что лежит. Он предвидел, что, если придется вступить в сражение с дамами Бенедикт по поводу того, что следует оставить, а что — уничтожить, он проиграет. И, дожидаясь их, решил всячески избегать споров.

Услышав, как поворачивается ключ в замочной скважине, Генри вздрогнул. Голоса звучали подобно вторжению. И впервые он услышал обычный разговор между ними, в котором не упоминалось самоубийство Констанс или их собственное горе и шок. Но, войдя в спальню и увидев его у окна, они снова сделались печальными и серьезными.

— Все собираюсь спросить, удобно ли вам здесь, — сказала миссис Бенедикт.

— Квартира очень приятная, — сказал он, — в ее атмосфере чувствуется присутствие мисс Вулсон.

— Наверное, я бы не смогла здесь спать, — сказала Клэр. — Только не в этой комнате.

— В квартире очень холодно, — заметила миссис Бенедикт. — А здесь — самое холодное место.

Она вздохнула, и он почувствовал, что она вот-вот расплачется. Впрочем, под внимательными взглядами Генри и Клэр она взяла себя в руки. И теперь он увидел, что этой женщине присуща

твердость, от природы свойственная и ее покойной сестре. Миссис Бенедикт заставила себя заговорить и в ту минуту была просто вылитая Констанс.

— Мы должны кое в чем разобраться, — сказала она. — Нам не удалось найти завещание; наверное, оно затерялось где-то среди бумаг. И надо уладить практические вопросы.

— Констанс была выдающимся писателем, — сказал Генри, — весьма значительной фигурой американской литературы. Поэтому нужно очень внимательно и осторожно отнестись к ее бумагам. Здесь могут быть рукописи — повести или рассказы, которые она не закончила или не отправила редактору. Я считаю, что все это нужно сохранить со всей тщательностью.

— Мы были бы вам очень признательны, — сказала миссис Бенедикт, если бы вы просмотрели ее бумаги вместо нас. Ни я, ни моя дочь не отважимся на это, да мы и не сумеем должным образом сосредоточиться. Эта комната кажется мне самым печальным местом на свете.

Слуге было велено ежеутренне растапливать камин в кабинете и спальне Констанс и поддерживать огонь до наступления вечера. Дамы Бенедикт приплывали и отчаливали на гондо-

ле Тито, опекаемые американской колонией, и каждый раз Генри показывал им что-то новое — неопубликованный рассказ, несколько стихов, интересное письмо. Они сошлись во мнении, что даже отрывки надо сохранить, возможно, переправить все это в Америку, где за ними будут присматривать в память о Констанс.

Сам он хотел взять лишь одну вещь на память о ней. Печально и нерешительно перебрав все предметы из коллекции Констанс, он наконец выбрал маленькую картину. Это был пейзаж, изображавший дикую, неукрощенную американскую природу, которую она так страстно любила. Когда он показал пейзаж сестре Констанс, та сказала, что Генри должен непременно взять его себе.

С утра и дотемна он просиживал за ее письменным столом. Всякий раз, проводив мать и дочь Бенедикт до дверей, он подходил к окну и смотрел, как они садятся в гондолу и на глазах оживают, а потом возвращался к столу, к отложенным бумагам, и кое-что сжигал в камине прямо в спальне, а прочее — в кабинете. Он предавал их огню и стоял, глядя, как они превращаются в пепел. А потом перемешивал угли и этот пепел, чтобы их невозможно было различить.

Он не хотел, чтобы странные, загадочные и горькие послания его сестры Алисы к мисс Вулсон стали частью сохраненной для потомков переписки Констанс и чужие люди могли прочитать их. Он даже сам не хотел их читать. Когда, пробегая глазами бумаги, он замечал почерк своей сестры, то откладывал письмо в сторону, холодно и методично, убедившись, что оно спрятано под стопкой других бумаг и не бросится в глаза дамам Бенедикт, если те внезапно появятся. Нашел он и несколько своих писем и, не открывая, отложил конверты в сторону. Ему не было интересно перечитывать их — он хотел их уничтожить. Ни дневника, ни завещания он так и не нашел.

Зато нашел среди прочего недавнее письмо от врача, где обсуждались ее разнообразные хворобы и склонность к меланхолии. Он прочел его ровно до упоминания своего имени и тут же поместил в стопку для сожжения. Все ее литературные рукописи, включая черновики и заметки, Генри отложил в другую стопку — ее дамы Бенедикт отвезут домой.

По вечерам он чаще всего ужинал с родственницами Констанс, заранее устраивая так, чтобы за столом присутствовал кто-то еще и чтобы разговор касался более общих тем, а не причины

их приезда в Венецию. Он предпочитал большие компании, так было легче избежать обсуждения той миссии, которую он сейчас выполнял, и тех дел, которые сестре и племяннице Констанс приходилось улаживать. Постепенно он осознал, что Венеция начала их утомлять. Пустые дни, дождливая погода, серость и сырость, однообразие окружения заставило их задуматься об отъезде. А еще он заметил, что с каждым днем друзья Констанс и местное сообщество в целом постепенно утрачивают интерес к ее родственницам. Поначалу все были полны сочувствия и симпатии, но спустя месяц пребывания матери и дочери Бенедикт в Венеции приглашения стали менее настойчивыми.

В такие вечера он охотно уходил из-за стола пораньше, поскольку все понимали сложность и срочность его работы, что освобождало его от соблюдения общих правил. Дамы Бенедикт предоставляли Тито в его распоряжение, если путь до его квартиры был слишком далек. Хотя на нижних этажах Каса Биондетти проживало несколько американцев, включая Лили Нортон, он с удивлением обнаружил, что можно легко добраться до его квартиры на верхнем этаже, не встретив по пути никого из прочих жильцов.

Каждый вечер в его комнате потрескивал камин, горела лампа у его кровати, а вторая — на столике рядом с креслом. Комнаты не были роскошными, но при таком освещении их расцветка казалась богатой и насыщенной. Эти апартаменты не принадлежали ни к разряду дворцовых покоев, ни к помещениям для прислуги, а хозяин, весьма жаловавший мисс Вулсон, расстарался для нее в свое время, и Генри было здесь уютно и удобно. На высокой мягкой кровати он поначалу почти мгновенно погружался в глубокий сон и спал без сновидений до самого утра, просыпаясь отдохнувшим и готовым к дневным трудам.

Он с нетерпением ждал вечера. Ему хотелось поскорее вернуться в свое пристанище на Каса Биондетти — и не из-за усталости, не потому, что его утомило общение, а потому, что комната сама по себе излучала тепло, не иссякавшее всю ночь.

Тито всегда оставался на подхвате. Как все, кто работал на Констанс, он любил ее и хотел приглядеть за ее сестрой и племянницей. Он уважительно молчал, пока вез Генри к его жилищу, но явственно давал понять, что, поскольку они прежде не были знакомы и Генри не являлся членом семьи, в глазах Тито он оставался почти чужаком. Генри не сомневался, что если кто и

знал доподлинно умонастроения и состояние души Констанс в последние месяцы ее жизни, так это, скорее всего, Тито.

Однако, узнав Тито чуть получше, он понял, что тот вряд ли станет делиться подобными сведениями. Тито лишь однажды заговорил о ней в его присутствии. Как-то вечером, пока они ждали мисс Бенедикт, ее мать попросила Генри передать Тито, что она восхищена мастерством, в особенности его маневрами в узких каналах и умелым огибанием углов. Когда Генри перевел ее слова, Тито торжественно поклонился ей и сказал, что мисс Вулсон отыскала его не за его мастерство, которым владеют все гондольеры, а потому, что он знает лагуну и умеет безопасно плавать в открытом море. Мисс Вулсон всегда предпочитала уплывать из города в лагуну, сказал он. Многие американцы, прибавил он, любят Гранд-канал и могут весь день плавать по нему туда и обратно. Но не мисс Вулсон. Он любила Гранд-канал только за то, что он вел к большой воде, открытому пространству, где можно побыть подальше от остальных людей. Даже зимой она любила там бывать, сказал он, даже в дурную погоду. Любила заплывать подальше. У нее там были любимые места, сказал Тито.

Генри хотел было спросить его, предпринимала ли она подобные путешествия в последние свои дни, но из того, как завершил свою речь Тито, он понял, что никакой другой информации не последует, разве что миссис Бенедикт задаст вопрос. Впрочем, как только Генри перевел ей его ответ, она рассеянно улыбнулась гондольеру и поинтересовалась у Генри, чем, по его мнению, может быть занята ее дочь и почему заставляет их ждать так долго.

Какое-то время спустя он начал просыпаться по ночам. Его будили тревожные мысли, оставляя по утрам неприятный осадок. Однако со временем эти пробуждения стали просто интерлюдией между двумя фазами сна, скорее еще одним аспектом глубокого ночного отдыха, чем беспокойством. Он не чувствовал страха, и не тревожные мысли посещали его, а лишь уютное тепло. В этот период он совсем не ощущал присутствия Констанс. Вместо этого он чувствовал рядом что-то безымянное и сверхъестественное. Постепенно просветленность, которая окутывала его, когда он входил в эти комнаты и когда просыпался посреди ночи, приобрела более специфическую интенсивность. Он поймал себя на том, что не может дождаться ее наступления, и га-

дал, останутся ли с ним эта легкость и сладостное чувство доброй воли, когда он уедет в Лондон.

Это был не призрак, не беспокойный дух, преследующий его, а скорее фигура, которая мягко парила над ним, окутывая тенистой сенью материнской ауры, защищавшей его в ночи, чистая и изысканная в своей женственной нежности. Она обнимала его мягко и убаюкивала, навевала сон по ночам в этих комнатах, где еще недавно жила его подруга, чья смерть до сих пор наполняла его чувством вины и чей печальный, бесстрастный дух наблюдал за его решимостью каждый день, пока он сидел за письменным столом, тихо откладывая в сторону письма от доктора и от подруги Алисы мисс Лоринг, чтобы потом, когда горизонт будет чист, бросить их в огонь.

После длительных переговоров с американским консулом об имуществе своей родственницы, после суеты и пустопорожних разговоров мать и дочь Бенедикт проследили за тем, как были упакованы бумаги, картины и драгоценные вещицы, которые потом поместили под надзор консула, пока юридические формальности не будут решены к его удовлетворению. Апрель выдался дождливый и промозглый, обе женщины подхватили простуду и долго не выходили на

улицу. А когда наконец выздоровели, Венеция изменилась — дни стали длиннее, ветер утих, а многие их знакомые по разным причинам покинули город. Поэтому прощальный ужин получился сумбурным, на него почти никто не пришел, а Генри по привычке не терпелось вскочить из-за стола еще до девяти, пожать им руки, расцеловать, если им потребуются поцелуи, заглянуть им в глаза и пообещать, что, поскольку ключ от квартиры в Каса Семитеколо все еще у него, он проследит за окончательным вывозом вещей и вернет ключ хозяину.

Утром, когда дамы Бенедикт покинули город, оказалось, что они не сделали никаких распоряжений касательно одежды Констанс. Они не могли не знать, что ее гардероб и комод полны вещей, поскольку наверняка заглядывали туда в поисках завещания. Интересно, думал Генри, обсуждали они этот вопрос или он вызывал у них еще большую грусть и они все откладывали, а потом, уже перед отъездом, им было неловко заговорить об этом? В любом случае они, похоже, оставили Генри одного разбираться с гардеробом и личными вещами Констанс. Он выждал несколько дней, в надежде, что они поручили это кому-нибудь из венецианских друзей. Но никто

так и не проявился, и Генри понял, что мать и дочь Бенедикт просто переложили эти заботы на его плечи, а сами сбежали, оставив полные шкафы платьев, полные комоды обуви, белья и прочих вещиц, которых, судя по всему, никто не касался.

Ему не хотелось дальнейших дискуссий насчет имущества Констанс, и он не желал вступать в контакт с ее друзьями, которые, как он точно знал, быстро разнесут весть о том, что у покойной в квартире остались горы одежды, тем самым подстрекая всякого желающего приходить, брать ключи и слоняться по комнатам в свое удовольствие, вторгаясь в приватную жизнь его подруги, которую он так тщательно охранял после ее смерти. Когда он прежде воображал, что она планировала каждую сцену, в которой примут участие он и ее родственницы, этот аспект ее исчезновения как-то прошел мимо его сознания. Генри был уверен: ей бы вовсе не хотелось, чтобы ее одежду после смерти просто выбросили или раздали. Пока сжигал письма, он чувствовал ее глубокое неудовольствие, а теперь, раздумывая, как бы освободить шкафы и комоды, ощущал давившую на него тупую безысходность и мрачную тяжесть ее отсутствия.

Он никого не посвятил в это дело, кроме Тито, который, как думал Генри, под его присмотром будет рад вывезти остатки земной жизни его бывшей хозяйки. Он не сомневался, что Тито знает, как распорядиться вещами. Но когда Генри показал Тито шкаф, забитый одеждой, полный комод обуви и белья, Тито лишь пожал плечами и покачал головой. И повторил то же самое, когда Генри предположил, что старая одежда может заинтересовать, например, какой-нибудь монастырь. Только не одежда покойницы, сказал Тито, нет, никто не захочет брать одежду покойницы. В какой-то момент Генри пожалел, что не отдал ключи хозяину и не уехал из города, но он знал, что очень скоро его догнали бы письма, и не только от хозяина, но и от членов американской колонии, и все они вопрошали бы: что же делать с одеждой?

Тем временем Тито стоял в комнате, прежде служившей Констанс спальней, и яростно следил за каждым его движением.

— Что же нам со всем этим делать? — спросил его Генри.

На сей раз тот передернул плечами чуть ли не презрительно. Генри выдержал его пристальный взгляд и твердо настоял, что одежду надо унести:

— Мы не можем ее здесь оставить.

Тито не ответил. Генри знал, что гондола ждет внизу, что вместе им придется вынести эти вещи и погрузить в лодку.

— Вы можете их сжечь? — спросил Генри.

Тито помотал головой, не отрывая пристального взгляда от шкафа, будто сторожа его содержимое. Генри казалось, что, начни он высвобождать гардероб, Тито набросится на него, не давая осквернить одежды госпожи. Вздохнув, он опустил глаза, надеясь, что безвыходность ситуации вынудит Тито заговорить, предложить какое-то решение. Пока между ними длилась эта игра в молчанку, он вышел на балкон и посмотрел на здание напротив и на мостовую, о которую разбилась Констанс. Обернувшись, он заметил, что Тито будто бы хочет что-то сказать, и жестом подбодрил гондольера. Все это, сказал тот, надо было увезти в Америку. Генри кивнул, соглашаясь, а потом сказал, что теперь уже слишком поздно.

И снова Тито пожал плечами.

Генри выдвинул один ящик, потом другой. Тито следил за ним взглядом, в котором интерес боролся с тревогой. Генри повернулся и посмотрел ему прямо в глаза.

Помнит ли он, спросил Генри, точное место в

лагуне, куда любила выплывать Констанс? То самое, о котором он недавно рассказывал, где нет никого и ничего?

Тито кивнул. Он ждал, пока Генри снова заговорит, но Генри молча смотрел на него, давая тому обдумать только что сказанное. Вид у лодочника был встревоженный. Несколько раз он пытался что-то сказать, да только вздыхал. Наконец, будто опасаясь, что кто-то подслушивает из соседней комнаты, он исподтишка показал на гору одежды, на дверь, а потом ткнул пальцем в направлении лагуны, голубевшей вдали. Они могли бы, безмолвно предложил он, увезти вещи Констанс на лодке и похоронить под водой. Генри кивнул в знак одобрения, но никто не пошевелился, пока Тито не выставил вперед правую руку, растопырив пальцы.

— В пять часов, — прошептал он. — Здесь.

В пять пополудни Тито ждал у дверей. Никто из них не проронил ни слова, когда они входили в квартиру. Генри думал, что Тито захватит кого-нибудь еще, и колебался, может ли он доверить им самим увезти и похоронить одежду Констанс без лишних вопросов. Однако Тито пришел один. Он дал понять Генри, что вынести вещи и погрузить их в гондолу нужно сейчас же, быстро, и эту

работу им придется сделать вдвоем.

Тито подхватил один тюк платьев, пальто и юбок и махнул Генри головой, чтобы тот хватал второй и шел за ним. Взяв в охапку платья, он почувствовал насыщенный запах, всколыхнувший в нем отчетливые воспоминания о матери и тетушке Кейт. Насыщенное благоухание их деятельной жизни, пропитавшее их гардеробные комнаты и шкафы, запах их приготовлений к путешествиям, свертков и картонок, которые они всегда упаковывали сами, где бы ни находились. А потом, идя через комнату с охапкой вещей, он почувствовал иной аромат, который принадлежал только Констанс, — наверно, каких-то ее духов, которыми она пользовалась все годы их дружбы, и теперь он вдыхал этот аромат, смешанный с тем другим запахом, пока нес ее платья по лестнице и укладывал в гондолу.

Двигаясь быстро и настороженно, как будто совершали что-то незаконное, они постепенно опустошили шкафы. Вынесли ее туфли и чулки, а потом, стараясь не глядеть друг на друга, ее белоснежное белье, которое спрятали в гондоле под платьями и пальто, чтобы никто не видел. Оба тяжело дышали, поднимаясь в квартиру последний раз, чтобы посмотреть, не осталось

ли чего-нибудь. Запах до того приблизил ее, что Генри не удивился бы, увидев Констанс посреди пустой комнаты. Он чуть было не заговорил с нею, оглядывая квартиру напоследок, когда Тито уже спустился в гондолу, до того ощутимым было ее абсолютное присутствие. Она была здесь, ее всегдашняя практичная сущность, и она радовалась, что дело сделано и ничего от нее не останется. Генри не видел в комнате ни пустоты, ни пыли, он чувствовал присутствие хозяйки, которая, помедли он еще хоть мгновение, прожгла бы его взглядом.

Когда свет начал меркнуть над городом и розовое марево смешалось с блеклыми и насыщенными красками дворцов над Гранд-каналом, а вода отразила небо, подернутое красным и розовым, они поплыли к лагуне. Теперь они вздохнули с облегчением, хотя по-прежнему не разговаривали и даже не признавали существование друг друга. Генри смотрел на здания в вечернем свете и любовался на Салюте, чувствуя странное удовлетворение. Он устал, но ему было интересно, куда именно везет его Тито.

Он как будто снова встречался с нею, вдали от общих друзей и семьи, от водоворота светской жизни, только вдвоем в укромном уголке. Так они

общались всю жизнь. Никто никогда не узнает, что он побывал там, вряд ли Тито когда-нибудь поделится этим секретом с кем-то из его друзей. Только Констанс видела, как Тито ведет гондолу мимо Лидо и направляет в те воды, куда Генри ни разу не отваживался заплывать до сих пор. Они плыли и плыли, пока не очутились в компании одних лишь морских птиц да солнца, клонившегося к закату.

Сперва Генри был уверен, что Тито ищет конкретную точку, но вскоре он понял, что, кружа на гондоле взад-вперед, лодочник просто оттягивает момент, когда им придется сделать то, ради чего они сюда приплыли. Взгляды их встретились, и Тито кивнул — пора, мол, начинать их скорбные труды, — но Генри только замотал головой. Они вот так же могли привезти сюда ее тело, подумал он, поднять его и сбросить в воду, дать ему погрузиться на дно. Тито продолжал кружить, оплывая небольшой участок, и, увидев, что Генри не может пошевелиться, усмехнулся, не то с упреком, не то с раздражением, и положил шест. Гондола мягко покачивалась на спокойной воде. Прежде чем протянуть руку за первым платьем, Тито осенил себя крестным знамением, а затем положил платье на воду, словно вода была кроватью,

словно хозяйка платья готовилась выйти в свет и вот-вот появится. Оба они смотрели, как ткань темнеет, а потом медленно погружается в воду. Тито нежно опустил на воду второе платье, затем третье, а потом продолжил работу медленными, умиротворяющими движениями рук, склоняя голову всякий раз, когда платье уплывало, и время от времени шевеля губами в беззвучной молитве. Генри следил за ним, но не двигался.

Гондола покачивалась на волнах так мягко, что Генри казалось, она не движется вовсе. Когда скрылось под водой и белье, он представил себе, что оно погружается на морское дно прямо под ними.

И когда гондольер уже взялся за шест, менее чем в десяти ярдах от них оба заметили в воде нечто черное, и Тито вскрикнул. В сгустившихся сумерках оно напоминало тюленя или еще что-то темное, округлое, всплывшее из глубин на поверхность. Тито взял шест в обе руки и выставил перед собой, будто обороняясь. А потом Генри разглядел, что это. Несколько платьев всплыли на поверхность, чтобы засвидетельствовать странные морские похороны, в которых они только что приняли участие, их наполненные водой рукава и юбки пузырились, словно черные надувные

шары. Когда Тито развернул гондолу, Генри заметил, что Венеция вдали подернулась серой дымкой. Скоро туман накроет лагуну. Тем временем Тито уже направил гондолу к ожившим нарядам. Генри смотрел, как он притапливает вздувшуюся материю шестом, удерживая ее под водой, а потом берется за следующее платье, снова выглянувшее на поверхность, и решительно и яростно расправляется с ним. Он все топил и топил непокорную одежду, пока не убедился, что все платья пошли на дно. Закончив, Тито в последний раз оглядел воду, темная ее гладь теперь была пуста. Но внезапно что-то снова вздулось в нескольких футах от них.

— Оставь его! — крикнул Генри.

Но Тито устремился туда и, снова перекрестившись, ткнул шестом в самый центр платья и втолкнул что есть силы под воду, а потом кивнул Генри, будто говоря: «Дело сделано». Это было трудное дело, но они справились. Тито поднял шест и снова занял привычное место на носу гондолы. Пора было возвращаться. Медленно и умело он повел гондолу через лагуну к городу, погрузившемуся во мрак.

Глава 10

Май 1899 г.

По мере того как Рим вокруг становится все более современным, сам он все глубже впадает в античность, писал он Полю Бурже. Он бежал от воспоминаний и отголосков, населивших воздух Венеции, и поначалу отвергал все приглашения и предложения крова, что поступали от римских друзей. Своим пристанищем он избрал гостиницу неподалеку от площади Испании. Первые дни по городу он передвигался еле-еле, словно разомлел в мае от июльского зноя. Он намеренно не спешил подниматься по Испанской лестнице и не совершал паломничества дальше пары кварталов от гостиницы, нарочито не предавался воспоминаниям, не сравнивал город, каким он был почти тридцать лет назад, с тем, что открывалось его глазам сейчас. Недопустимо, чтобы флюиды ностальгии окрашивали нынешние ощущения и тревожили сладостное оцепенение этих дней. Он был нерасположен к встрече с более молодым и впечатлительным собой и, кручинясь от осознания того, что новые открытия и волнения его не

ждут, мог безраздельно предаваться пересмотру старых. Он позволял себе любить эти улицы, словно они были строчками стихотворения, которое он когда-то выучил наизусть, и времена, когда он впервые увидел эти камни и краски, когда он изучал и постигал эти лица и лики, теперь казались сокровищницей возводимого год за годом храма его личности. Все, что представало его взору, отныне уже не приводило в изумление и восторг, но и не утомляло его.

Достаточно было посидеть в уличном кафе под раскидистым тентом, изучая штукатурку на стене — там, где двигались пятна солнечного света, она из охряной становилась ослепительно-яркой, — и его собственный дух словно бы сиял от мысли, что такие простые радости способны вызволить его разум из нависающей венецианской тени. Здесь было бы легче состариться, думал он; ничего новорожденного, ничего элементарного, любой цвет сложен, и даже в самом солнечном луче каким-то образом преломляется древность. В Венеции ему приходилось избегать кварталов между Фрари и Салюте, держаться преимущественно по ту сторону Гранд-канала, чтобы не оказаться случайно на улице, где разбилась насмерть Констанс. В один из последних вечеров

накануне бегства он возвращался в Палаццо Барбаро, чувствуя себя почти в безопасности — ибо полагал, что находится неподалеку от моста Риальто. Потом понял, что придется вернуться на несколько шагов назад — а там выйти к мосту будет совсем нетрудно. Однако, куда бы он ни свернул, путь вел либо в тупик, либо к одному из причалов, либо, что было самым зловещим, делал вираж направо, приближая его к той ужасной улице, на которой, как он надеялся, ноги его больше никогда не будет. Казалось, кто-то ведет его сквозь ночную тишь, а он слишком ослабел от угрызений совести, чтобы не подчиниться. Ему всегда нравилась такая Венеция — неожиданно рано притихшая и безлюдная; любил он и блуждать одиноким странником, порой сворачивая не туда и полагаясь на удачу и наитие не меньше, чем на знание и опыт, но сейчас вдруг осознал, что не просто заблудился, но находится в непосредственной близости от места ее смерти. Он замер и стоял неподвижно. Впереди был тупик, там он уже побывал, думая, что выйдет к воде. Направо тянулась длинная узкая улица. Оставалось лишь повернуть назад, и, сделав это, он ощутил нестерпимое желание заговорить с ней здесь, на этих улицах, где, как ему казалось,

ее беспокойный, независимый и отважный дух будет обитать до скончания времен. Она не соглашалась на легкую жизнь, думал он, — поэтому то, что от нее осталось, и пребывает в смятении и тревоге. «Констанс, — шепнул он, — я подошел так близко, как мог, так близко, как только осмелился». Ему представилась морская рябь лагуны и бездна глубоководной ночи. Представился ветер, воющий в пустоте первобытной воды, место, где не было ни света, ни любви, и там, увидел он, парит она, став частью этого хаоса. И тогда он медленно-медленно повернулся и пошел туда, откуда пришел, осторожным сосредоточенным шагом, не оступаясь и не сбиваясь с дороги, пока не достиг знакомых мест, палаццо, где он гостил, где были его книги, его записи, его теплая постель. В ту ночь он понял, что покинет Венецию так быстро, как только сможет, но не вернется домой, а отправится на юг.

Погода в Риме стояла превосходная; сам воздух казался подсвеченным нежными, прекрасными тонами, когда он отважился на ежедневные прогулки — от Корсо до самой Латеранской базилики и виллы Боргезе, где молодая трава выросла ему по колено. Все вокруг сияло лучезарным теплом. Город улыбался ему, и он отучился хму-

риться в ответ, когда на его пути возникало все больше туристов и назойливых гостиничных зазывал. Первый раз он посетил Рим, когда ему было немного за двадцать и он был волен делать что только душе угодно, и он это делал: заводил новых друзей, странствовал там и сям, катался в Кампанью от Порта-дель-Пополо по старому почтовому тракту на Флоренцию в середине мягкой зимы, когда сельские склоны пестрят пурпурным, синим и шоколадным. Ныне он сам уподобился Вечному городу — помятый историей, с расслоившейся на археологические пласты памятью; на нем лежала ответственность, за ним наблюдали, его проверяли, он пользовался большим спросом. И теперь ему придется показать себя публике. Поскольку улицы старого города были теперь чище и лучше освещены, ему тоже подобало сделать мужественное лицо, прикрыть старые раны, затереть старые шрамы и обставить свой выход как должно, постаравшись не разочаровать поклонников и в то же время обнажив не слишком много сокровенного.

Семьи Уолдо Стори и Мод Хау Эллиот[62] принялись наперебой заманивать его в собственные римские узилища, причем каждое из почтенных семейств было уверено, что в первые свои дни в Риме он угодил в силки соперников, и посему действовали они мягко, но непреклонно. Уолдо Стори обитал в огромных апартаментах Уильяма Уэтмора Стори в Палаццо Барберини и намеревался склонить Генри к написанию биографии маститого скульптора, куда более ревностного, нежели талантливого; Мод Хау и ее муж-художник ничего от него не требовали, кроме того, чтобы он был готов к обязанностям гостя Палаццо Аккорамбони в любое время дня и ночи, беседовал с их гостями и любовался видом с террасы на крыше так же восторженно, как они сами.

Никто из них не жил в Риме ради удовольствия, которое он может доставить одиночке, и, будучи не в состоянии даже вообразить удовольствие, которому они сами не предавались регулярно, друзья сочли его потребность в одиночестве

[62] Сноски: 62

Томас «Уолдо» Стори (1855–1915) — англо-американский скульптор, бóльшую часть жизни проживший в Италии, сын известного скульптора Уильяма Уэтмора Стори (1819–1895), биографию которого впоследствии написал Генри Джеймс; *Мод Хау Эллиот* (1854–1948) — писательница, лауреат Пулитцеровской премии, дочь знаменитой американской феминистки и писательницы Джулии Уорд Хау, написавшая в соавторстве с сестрами биографию своей матери.

вздорным предлогом, не заслуживающим внимания. На четвертый или пятый день он сдался на милость победителей и вскоре обнаружил, что каждый вечер подвергается их поочередному гостеприимству. В Англии ему доводилось порой с интересом наблюдать за поведением какого-нибудь наследника после кончины отца — тот вступал во владение огромным домом и угодьями так, словно все здесь было построено, обустроено и усовершенствовано исключительно для него одного. Сейчас он наблюдал за наследниками, которые приспосабливали для личных нужд целый город, — Уолдо Стори столь же неутомимо и с тем же добросовестным наслаждением, как и его родитель, терзал глыбы белоснежного мрамора, а все, что выходило из-под его резца, столь же мало, если не еще меньше, удовлетворяло общественный спрос; что же до Мод Хау Эллиот, дочери Джулии Уорд Хау, — та продолжила дело своей тетки миссис Лютер Терри, двумя десятилетиями раньше наводнившей художниками и выходцами из Новой Англии дворец Одескальки.

Они перестали быть американцами и не заделались римлянами, но их образ жизни был сформирован и отшлифован, а манеры безупречны. При помощи верного чутья и толики добросерде-

чия они собирали вокруг себя преданных друзей и коллекционировали приятных в общении заезжих знаменитостей с таким же мастерством и вкусом, с каким в их палаццо были расставлены и развешаны шедевры древности. Джон Эллиот, муж Мод, был художником, но, как и у многих соотечественников, его талант не был согрет и расцвечен огнем подлинного стремления. Он, Уолдо Стори и им подобные в своих мастерских преданно служили богеме, но при этом отлично умели отдавать приказы собственным слугам. В Риме, имея твердый независимый доход, быть дилетантом куда комфортнее и приличнее, нежели в чопорном Бостоне, где подобный образ жизни не приветствовался. Для этой молодежи Генри был не только земляком, осевшим в Старом Свете и отлично говорившим по-итальянски, но и художником слова, ведущим своеобразной хроники, что придавала некую осмысленность их странному пребыванию в Европе, их ауре противоречий и драматизма. Он сознавал: они слишком любят его, чтобы обижаться на горький тон его романов и выведенных в них персонажей, чья жизнь отравлена поражением и разочарованием. У них доставало почтения к прошлому, чтобы включить 1870-е годы в область своих

интересов, а он, поскольку знал Рим в те годы, может стать частью драгоценной и малолюдной вселенной, открытой их родителями.

Так он в последнем году девятнадцатого века очутился теплым майским вечером на крыше Палаццо Аккорамбони, где веселая компания созерцала роскошный вид с цветущей террасы на площадь Святого Петра. Они смотрели на умирающие лучи солнца, любовались римскими куполами и крышами и открывавшимися за ними акведуками Кампаньи среди Альбанских и Сабинских гор. Не испытывая потребности в разговорах, он лишь согласно кивал, когда другие гости указывали на замок Сант-Анджело и темные купы деревьев, обозначающих Пинчо и виллу Боргезе. Они пребывали в каком-то восторженном изумлении. Почти все они были молоды, и их легкие летние одежды живописно трепетали на фоне ранних роз, анютиных глазок и лаванды, которые римские хозяева научились выращивать на своих террасах, чтобы угодить взыскательным детям Нового Света. Качество усов и дружелюбная невинность лиц выдавали в мужчинах соотечественников-американцев; на некоторых дамах лежала неизгладимая печать Новой Англии, это можно было понять по

их готовности предоставить своим спутникам право заговориться до смерти, ограничивая собственное участие в беседе бойкими репликами, дельными и остроумными или даже немного едкими — когда мужчины выдыхались. Вот компания, подумал он, в которой его сестре Алисе было бы очень неловко и неуютно, зато ее друзья чувствовали бы себя здесь как рыба в воде.

В обществе, обеспечившем его первый публичный выход, было принято угощать друг друга знаменитостями — лишь только застопорится непринужденная болтовня. Многие из представленных ему гостей носили громкие американские фамилии и посему обладали глубоко укоренившимся осознанием собственного статуса, которое почти естественным образом распространялось на окружение, в котором они путешествовали. Им не нужно было доказывать свое право задавать вопросы известному автору; они излучали безыскусную уверенность в том, что здесь, на этой крыше, как и внизу, в одной из самых роскошных гостиных города, они могут столкнуться лишь с равными себе, и были странным образом невосприимчивы к нему как к писателю. Он с облегчением понял, что никто из этой компании не собирается расспрашивать его, сколько ему

осталось до завершения книги, не жаждет узнать, о чем будет новый роман, и не интересуется его мнением о Джордж Элиот. Когда ему пришло в голову сказать пару слов о каком-то памятнике, это было принято так же между прочим, как они выслушивали друг друга.

Он заметил, что за группой, в которой он стоял, пристально наблюдает молодой человек, державшийся наособицу, не слишком успешно притворяясь, что его занимает то же, что и остальных. Вскоре Генри обнаружил, что и сам то и дело поглядывает на юношу, разительно отличавшегося от стоящих неподалеку сверстников. Он не обладал их непринужденными манерами, представлявшими собой причудливую смесь самоуверенности и деликатности. Его движения были слишком скованными, а взгляд слишком проницательным. От Генри не укрылось, что молодой человек на редкость хорош собой, но, казалось, его смущает и настораживает собственная белокурая ширококостная красота. Вокруг него чувствовалось такое напряжение, что никто из все возрастающего числа ценителей заката не подходил к нему близко и не заговаривал с ним. Генри с трудом заставил себя отвести глаза и сосредоточиться на дивном великолепии

угасающего света. Но когда он, налюбовавшись, отвернулся и обнаружил, что молодой человек уже в открытую рассматривает его, то решил избегать незнакомца до конца вечера. Тот и впрямь выглядел как человек, вполне готовый приступить к расспросам о текущей работе и планах на будущее и не отступиться, пока не прояснит вопрос относительно Джордж Элиот, однако его острый бестактный взгляд смягчался общим выражением лица, удивительно нежным для мужчины, и это окончательно убедило Генри, что ему следует держаться подальше. То, что юноша был художником, казалось неоспоримым фактом, и, спускаясь с крыши, Генри решил, что ничего более не желает о нем знать, посему старательно глядел в другую сторону до завершения раута. Когда ему удалось выбраться на улицу, так и не познакомившись с юношей, он испытал нешуточное облегчение.

Однако спустя несколько дней состоялась их новая встреча, уже в более тесном кругу, у Эллиотов, где молодой человек был представлен ему как скульптор Хендрик Андерсен. Прежнюю манеру держаться и смотреть сменила ироническая вежливость, словно Андерсен поработал над собой резцом; когда же все уселись за стол, он вы-

слушивал каждого, кто брал слово, с предельным вниманием, сочувственно и грациозно кивал, но сам хранил молчание. И лишь под конец вечера молодой скульптор вновь напомнил того юношу на крыше. Перед тем как проститься, он изучил каждого гостя с напряженным, почти враждебным выражением лица, а затем резко повернулся и пошел к выходу. В дверях он снова задержался и, поймав на себе взгляд Генри, коротко ему поклонился.

Генри вскоре осознал, что его римским приятелям не прискучивало общество себе подобных; перед тем как разбежаться на лето, они проводили вместе большинство вечеров, развлекая друг друга как умели. Он оставался желанным гостем в обоих палаццо и впустил светские развлечения в распорядок своего римского дня. Пребывая в этой компании, он старался соблюдать осторожность и не слишком предаваться воспоминаниям о своей прежней жизни в этом городе, а уж всяческих сравнений, как много или как мало изменилось или что творилось на этих улицах и в этих самых комнатах в семидесятые годы, и подавно следовало избегать, даже если ему казалось, что это и впрямь интересует молодое поколение, будь то здешние обитатели или приезжие. Он старался

не прослыть ископаемым, но в той же мере стремился оставить свое прошлое при себе как некий ценный актив.

Когда Мод Эллиот сообщила ему, что затевается званый ужин, она была по макушку загружена хлопотами и планированием, и все же по ее тону он понял, что и ее, и ее мужа, и Уолдо Стори с супругой очень интересует город того периода, эпоха расцвета их родителей. Она давала обед в честь тети Энни, которая в девичестве была мисс Энни Кроуфорд, дочерью Томаса Кроуфорда[63], затем много лет — супругой барона фон Рабе, а ныне пребывала во вдовстве. Генри очень давно ее не видел, но с чужих слов знал, что с годами ее суровая внешность сделалась еще более грозной, а дурной характер, отточенный ум и пламенная саркастичность ничуть не смягчились. От него не укрылось, как много сил и энергии вложили Эллиоты в устройство этого приема, который должен был состояться на террасе под перголой; они планировали речи и тосты и вообще вели себя так, будто полагали, что воссоединение пожилой

[63] Сноски: 63

Томас Кроуфорд (1814–1857) — известный американский скульптор, большую часть жизни проживший в Европе; его жена была сестрой Джулии Уорд Хау, матери Мэри Хау Эллиот; таким образом, «тетя» Энни на самом деле является двоюродной сестрой Мэри.

тетушки с ее давним знакомцем будет одним из самых ярких событий подходящего к концу римского сезона.

Баронесса внимательно оглядела собравшуюся компанию. Ее тонкие волосики были уложены в искусную прическу, кожа напоминала фрукт из компота. Когда молодежь принялась расспрашивать ее, насколько изменился Рим, она поджала губы, как будто к ней приближался билетный контролер, и сказала во всеуслышание:

— Я не признаю перемен. Это не в моих правилах. У меня есть все основания считать, что замечать новшества — прискорбная ошибка. Я предпочитаю наблюдать за тем, что находится прямо передо мной.

— И за чем же вы наблюдаете нынче? — лукаво поинтересовался один из молодых людей.

— За скульптором Андерсеном. — Баронесса кивнула в сторону Хендрика Андерсена, заерзавшего на краешке шезлонга. — И должна сказать, что это наблюдение, несмотря на мои преклонные годы и деликатное воспитание, доставляет мне большое удовольствие.

Все взоры устремились в сторону Андерсена, а он смотрел на баронессу снизу вверх, точно породистое, холеное животное.

— И я наблюдаю за вами с тем же удовольствием, баронесса, — сказал он.

— Не надо глупостей, — ответила она и сверлила юношу взглядом, покуда он не покраснел.

Когда Мод Эллиот после ужина попросила Генри выступить, его уже утомило общество хрупкой пожилой дамы, которая наслаждалась вином сверх всякой меры и на протяжении всего вечера не стеснялась сообщать всем и каждому свое мнение по тому или иному поводу с откровенностью, граничившей с грубостью. Его радовала мысль о том, что, пока он произносит свою речь, она не посмеет его перебить. Хотя он не собирался говорить о Риме, каким тот был четверть века тому назад, начал он именно с этих воспоминаний — и вовсе не потому, сказал Генри, что ему пришла блажь ностальгировать или обозревать новшества, но потому, что в преддверии летнего сезона настала пора зажечь свечу и вместе со старыми друзьями и новыми знакомцами обойти дом и подвести итоги, что он и предлагает сделать, воображая Рим их общим домом. Никто из тех, кто когда-то влюбился в Рим так, как можно влюбиться в него в юности, уже не захочет его разлюбить. Когда ему было двадцать, он увидел здесь не только новые краски и новые обычаи,

но и ощутил тени неких прежних присутствий, точно город оставался мастерской и кабинетом американских художников и писателей былого; неудивительно, сказал он, что, к примеру, Натаниэль Готорн, работавший здесь десятью годами ранее, обрел в этом городе столько вдохновения и в свою очередь использовал его так продуктивно. Уже тогда в этом городе соревновались на меценатском поприще дома семейств Терри и Стори, и в здешних гостиных он впервые увидел актрису Фанни Кембл и познакомился с Мэтью Арнольдом[64], именно здесь рождались персонажи его собственных книг — воображаемые, но почти реальные люди, для которых Рим был местом не только изгнания, но и прибежища, местом творения и гибели, местом, где простиралась бессмертная красота и кипели смешные интриги англо-американского мирка. Достаточно произнести названия дворцов, сказал он, и они немедленно вызовут ассоциации — благородство, преданность искусству, в конце концов, гостеприимство. Для неоперившегося юнца из Ньюпорта апартаменты Стори в Палаццо Барбе-

[64] Сноски: 64

Мэтью Арнольд (1822–1888) — английский поэт, педагог и культуролог, один из наиболее авторитетных литературоведов и эссеистов викторианского периода.

рини, или обитель семейства Терри в Палаццо Одескальки, или даже кафе Шпильмана на виа Кондотти были овеяны славой и величием, и он желает поднять этот бокал не только в честь баронессы, с которой свел знакомство в те годы, когда Американская Красота царила в Риме безраздельно, но и в честь самого́ древнего города, который он никогда не переставал любить и куда никогда не устанет возвращаться.

Сев, он заметил слезы на глазах скульптора Андерсена, и наблюдал за ним все время, пока терпеливо выслушивал, как баронесса фон Рабе обсуждает преимущества творческого метода ее брата Мэриона Кроуфорда в сравнении с произведениями миссис Хамфри Уорд[65].

— Разумеется, они оба очень талантливы, — говорила она, — и весьма популярны среди читающей публики по обе стороны Атлантики. И они очень красиво обыгрывают итальянские сюжеты, может быть, потому, что хорошо понимают Италию, и характеры у них такие утонченные. Мне, как и многим другим, нравится читать их

---

[65] Сноски: 65

Фрэнсис Мэрион Кроуфорд (1854–1909) — известный американский беллетрист; *Мэри Огаста Уорд* (1851–1920) — английская писательница и общественная деятельница, свои произведения подписывала как «миссис Хамфри Уорд».

книги. Думаю, они переживут свое время.

С этими словами баронесса взглянула на Генри, словно проверяя, не осмелится ли он ей противоречить. Какое-то время она будто колебалась, раздумывая, достаточно ли неприятно себя вела, чтобы вывести его из себя. Но он был спокоен, и она пришла к выводу, что придется потрудиться еще.

— Я прочитала несколько статей вашего брата Уильяма, а потом одолела целую его книгу, — сообщила она. — Ее дал мне мой старый друг, который знавал всех вас в Бостоне, а в записке он поделился со мной убеждением, что стиль вашего брата — это образец ясности, ни одного лишнего слова, никакой шелухи, каждое предложение начинается и заканчивается в необходимом месте.

Генри внимал ей с таким видом, словно баронесса описывала какое-то восхитительное лакомое блюдо, которое ей довелось отведать, и не забывал кивать в нужных местах. Никто не прислушивался к их беседе, кроме Андерсена, — когда Генри бросал на него взгляд, юноша слегка улыбался и по его лицу было ясно, что он прекрасно осознает происходящее. Казалось, его взор переполняет сочувствие. Между тем баронесса еще не покончила с Генри.

— Помню вас, когда вы были молоды, все дамочки увивались вокруг вас, да нет, они чуть ли не дрались друг с дружкой за право сопровождать вас на верховую прогулку. И миссис Самнер, и юная мисс Бутт, и юная мисс Лоу. Не только барышни, даже особы более почтенного возраста были от вас без ума. Полагаю, мы вам тоже нравились, но вы были слишком заняты сбором материала, чтобы всерьез в кого-нибудь влюбиться. Вы, конечно, были очаровательны, но смахивали на молодого банкира, который прибирает к рукам наши сбережения. Или священника, который, навострив уши, слушает о наших прегрешениях. Помню, моя тетушка предупреждала нас, чтобы мы не вздумали вам что-нибудь рассказывать. — Баронесса с заговорщическим видом наклонилась к нему ближе. — И я уверена, что вы все еще не оставили этого занятия, хотя пора бы выйти на пенсию. Однако мне хотелось бы, чтобы вы выражались яснее, и уверена, что юный скульптор, который не сводит с вас глаз, желает того же.

Генри улыбнулся ей и слегка поклонился:

— Вы же знаете, я изо всех сил стараюсь доставить вам удовольствие.

Когда баронесса отвлеклась на других гостей,

Генри подошел к Андерсену.

— По-моему, ваша речь была великолепна, — сказал скульптор. Генри был удивлен, насколько по-американски звучал его акцент. — Не знаю, что говорила вам старая леди, но думаю, вы на редкость терпеливый слушатель.

— Она говорила о том, о чем обещала не вспоминать: о былых временах, — тихо сказал Генри.

— Мне понравилось, как вы рассказывали о тогдашнем Риме. Вы заставили всех нас желать, чтобы здесь и сейчас сделалось «тогда».

Андерсен стоял, прислонившись к стене, но теперь выпрямился в полный рост. Выражение его лица сделалось почти благоговейным, и, хотя с того места, где он находился, можно было обозревать всю комнату, смотрел он только на Генри. Спустя несколько мгновений губы его шевельнулись, точно он хотел что-то сказать, но в последний момент одумался. В полумраке, царившем в апартаментах, на его лице читалось колебание — продемонстрировать ли уязвимость, опустошенность своей красоты или удивить глубиной своего интеллекта и вдумчивого анализа. Прежде чем нарушить наконец молчание, он нервно сглотнул.

— Очевидно, вы любите Рим и были здесь

счастливы, — прошептал он с вопросительной интонацией и смотрел на Генри, ожидая ответа; Генри только кивнул, читая в глазах скульптора странную смесь внутренней силы и какой-то грустной слабости, почти вялости. — Есть у вас в Риме какое-то место, куда вы ходите… какой-нибудь памятник или картина, которые вы регулярно навещаете?

— Я почти каждый день хожу на протестантское кладбище, оно, полагаю, само по себе является произведением искусства и своего рода важным памятником, но, может быть, вы имели в виду…

— Нет-нет, именно такое место я и имел в виду, — перебил его Андерсен. — Я спросил, потому что, где бы это ни находилось, я хотел бы вас туда сопровождать. Даже если вы привыкли ходить в одиночку, я просил бы вас сделать исключение.

Серьезность прорывалась сквозь его застенчивость решительно, если не сказать одержимо, и Генри был тронут тем, как искренне молодой человек сбрасывает броню. Он ожидал беседы в другом ключе — возможно, полной скрытого напряжения, но более легкой, ироничной, даже более обыденной, житейской.

— И, если можно, в ближайшее время, — признался Андерсен.

— Тогда завтра в одиннадцать, — просто сказал Генри. — Мы можем встретиться в моей гостинице и отправиться туда вместе. Вы раньше не бывали на этом кладбище?

— Я был там, сэр, но хотел побывать еще раз и буду с нетерпением ждать завтрашнего дня.

Андерсен еще раз коротко взглянул на него, записал название отеля, а потом поклонился и направился к выходу, искусно лавируя между гостями.

Утром Андерсен, по наблюдениям Генри, вел себя нервно и скованно. Появление Генри он встретил молча, поклонившись по своему обыкновению. Генри не мог определить, насколько этот юноша осознает собственную красоту — красоту, которая, когда он улыбался, оборачивалась ясноглазой прелестью. Пока они ехали на извозчике до старого кладбища у Пирамиды[66], Андерсен умудрялся выглядеть одновременно нетерпеливым и застенчиво-колеблющимся. Несмотря на американский выговор, в нем не было спокойной уверенности представителей Нового Света. Не объясняется ли полное отсут-

[66] Сноски: 66

Пирамида Цестия — древнеримская усыпальница в форме неправильной пирамиды; расположена на Авентине, одном из семи римских холмов.

ствие дерзости и напора в манерах Андерсена, его равнодушие к собственной привлекательности просто-напросто его скандинавским темпераментом? Когда Андерсен вышел из экипажа и остановился у кладбищенских ворот, поджидая его, в его движениях чувствовалась агрессия, словно это был другой, более уверенный человек — он не казался таким, когда улыбался, говорил или позволял своему лицу расслабиться.

Для Генри это кладбище значило больше, нежели любой из городских памятников или шедевров живописи и зодчества, здесь наиболее полно и созвучно слились искусство и природа, и сейчас, в тени густых крон корявых черных кипарисов, на дорожках и тропинках, протоптанных среди ухоженных кустов и цветников, это был островок комфорта и успокоения, где царило мирное тепло. Когда они шли в сторону Пирамиды к могиле поэта Китса, ему казалось, что застенчивость и скрытность Андерсена наложили на них обоих чары, которые не могут быть развеяны в этом месте величия и славы.

Он не был уверен, что Андерсену известна трагическая история последних дней Китса в этом городе, не был даже уверен, что скульптор узнает его могилу, ведь на надгробии не значилось

имени поэта. Генри с особой остротой ощущал близость молодого скульптора, ему нравилось шагать рядом с ним в тишине, нарушаемой лишь птичьим пением, в компании одних лишь кладбищенских кошек; покой здешних умерших, в том числе и трагически погибшего молодого поэта, защищенных теплой, щедрой землей, обретал некий особый смысл. И все вокруг — и чистое небо, и просторы кладбища, полного укромных уголков, — провозглашало, что с последним упокоением приходит конец печали; и этот отдых казался ему сейчас, майским утром в Риме, пропитанным любовью или чувством, близким к ней.

Они тихо и наугад бродили по кладбищу. Андерсен держал руки за спиной и читал каждую надпись, а потом застывал, точно в молчаливой молитве. Роль Генри в качестве гида сводилась к тому, что молодой скульптор двигался, когда двигался сам Генри, и останавливался, когда останавливался он.

— Имена никогда не переставали меня интересовать, — сказал Генри. — Грустный перечень англичан, погибших в Риме. — Он вздохнул.

Андерсен коротко покачал головой и повернулся, изучая тощего рыжего кота, который замер

позади него с задранным хвостом. Генри тоже обернулся, а кот лениво замурлыкал и сузил глаза, потом зашел к Генри с тыла и принялся тереться об его икры, толкаясь в них всей тяжестью своего костлявого тела, а затем равнодушно удалился, чтобы найти местечко в солнечном пятне и разлечься там поудобнее.

— Кошки знают, чего хотят, — сказал Андерсен и разразился смехом, до того пронзительным, почти визгливым, что Генри с трудом подавил внезапное желание пуститься наутек.

Вместо этого он с улыбкой развернулся, и они побрели дальше по дорожкам, пока не добрались до могилы Шелли на задворках кладбища — здесь птичьи трели звучали особенно громко. Теперь, когда между ними восстановилось прежнее молчание, он почувствовал, что печаль, о которой он говорил, ничего не значит перед окончательностью и завершенностью, которую претерпели витавшие вокруг духи. На этом кладбище, которое они принялись обходить вторично, состояние не-знания и не-чувствования, обретенное почившими, казалось куда ближе к абсолютному счастью, нежели все, что представлялось ему когда-либо ранее.

Андерсен, должно быть, считает это блуждание

среди могил совершенно бесцельным, думал Генри, ведь они не следуют какому-либо плану и задерживаются только у надгробий поэтов. Он был явно озадачен, как целеустремленно Генри, лавируя среди надгробий, поскольку прямого пути не было, стал пробираться к могиле Констанс Фенимор Вулсон, чье имя, как он думал, ничего не говорило молодому скульптору. Именно здесь Генри заканчивал все свои предыдущие экскурсии по кладбищу; о нынешнем визите он уже почти жалел, понимая, что ему придется что-то рассказать об этой могиле и убедиться, что его понимают. Он почувствовал мимолетное облегчение, заметив, что Андерсен заинтересовался ангелом над гробницей Уильяма Уэтмора Стори, которого Стори изваял собственноручно, и направился туда, чтобы рассмотреть статую. Андерсен коснулся белых крыльев, провел кончиками пальцев по чертам резного лица и отступил на шаг, предавшись до того сосредоточенному созерцанию, что его собственное лицо тоже почти окаменело. Пока его молодой друг любовался ангелом, Генри бросил взгляд вправо, на могилу Джона Аддингтона Саймондса, и подумал, как всегда с ним бывало на этой освященной земле, до чего же все они любили Италию — Уэтмор

Стори, Саймондс и Констанс — и до чего же много было общего у этих людей, живших в живописных местах и убедивших себя, что этот чудный свет, и великолепные виды, и роскошь гостиных стоили всех лет изгнания, отверженности, утраты чувства родины. Констанс, думалось ему, вряд ли так уж часто встречалась бы с теми двумя; богатство и социальные амбиции Уэтмора Стори вкупе с его бесхребетным творчеством утомили бы ее так же, как и сексуальная озабоченность Саймондса с его велеречивой прозой. Скромная плита, на которой были выгравированы лишь ее имя и даты, выглядела образцом хорошего вкуса по сравнению с вычурной усыпальницей Стори. Вечера, размышлял он дальше, усмехаясь про себя этим мыслям, она хотела бы проводить в одиночестве. Ее Америка не была их Америкой, ее Италия была более скромной, а искусство — более амбициозным. Но она знала бы, что о них написать.

Подняв голову, он встретился взглядом с Андерсеном.

— Констанс была близким другом, — сказал он. — Конечно, я был знаком со Стори и встречался с беднягой Саймондсом, но Констанс была близким другом.

Андерсен посмотрел на плиту и наверняка обратил внимание, что Констанс покинула мир совсем недавно. Он собирался что-то сказать но, видимо, передумал. Генри отвернулся, подавив вздох: не стоило приводить человека, которого он так мало знал, в место, значившее столь много. А самое главное, не следовало ему сейчас ничего говорить, ведь стоило лишь произнести ее имя, и на глазах его выступили слезы. Пытаясь совладать со своими чувствами, он хотел уйти, но обнаружил, что не может сдвинуться с места: скульптор обхватил его так, что его плечи уперлись ему в грудь, а руки Андерсена непреклонно сжимали его руки, не давая ему высвободиться. Он был удивлен хваткой Андерсена, мощью его больших ладоней. Озираясь исподтишка, дабы удостовериться, что за ними никто не подсматривает, он позволил себе наконец отдаться этим объятиям, ощутить рядом теплое, крепкое тело другого мужчины, отчаянно желая, чтобы его удерживали как можно дольше, но в то же время сознавая, что эта близость — единственное утешение, которое он получит. Он затаил дыхание и закрыл глаза, а потом Андерсен отпустил его и они как ни в чем не бывало тронулись в обратный путь к кладбищенским воротам.

В карете, пока они ехали в студию Андерсена на Виа Маргутта, он размышлял, как описать Андерсену свою жизнь. Будучи художником, Андерсен должен знать, или, по крайней мере, допускать возможность того, что каждая изданная книга, каждая описанная сцена или сотворенный им герой несут отпечаток его собственной личности и становятся неотъемлемой частичкой его души, накапливаясь подобно грузу прожитых лет. Объяснить его отношения с Констанс будет трудно; вероятно, Андерсен слишком молод, чтобы понимать, как устроена человеческая память, постичь сложную смесь горечи и раскаяния, осознать, сколько печали может уместиться в душе и как порой кажется, что ничто на свете не обретет ни формы, ни смысла, пока не будет погребено под слоями былого и утраченного, и сколько мучительного напряжения воли требуется, чтобы отвергнуть и забыть лишь для того, чтобы оно пронзительной болью возвращалось в ночи.

Андерсен предложил пообедать в ресторанчике на первом этаже под его студией, прежде чем туда подняться. Едва переступив порог этого тесного, хорошо знакомого ему заведения и встретив дружеские приветливые кивки хозяина и его жены, он тут же сделался оживленным и

разговорчивым. Генри был удивлен — не только тем, как много молодой скульптор знает о нем, а тем, как свободно он распоряжается этими сведениями. Поразило его и то, как непринужденно Андерсен говорит о собственном таланте, безо всякого стеснения цитируя восхищенные отзывы поклонников его творчества.

За обедом Андерсен продолжал говорить; казалось, облик скульптора изменился так же разительно, как и его манеры. Глаза утратили мягкое сочувственное выражение, взгляд стал более сосредоточенным, и, о чем бы он ни говорил, поток его объяснений сопровождался энергичной мимикой. Должно быть, накопленное за эти дни молчание требовало немедленного выхода. В тусклом освещении ресторанчика Генри любовался его лицом: такое юное и восторженное, такое беспокойное и честолюбивое, выражавшее такую готовность к жизни — и все же такое сырое!

Прежде Генри воображал, что Андерсен привык работать медленно и обдуманно, что из-под его резца выходят изысканные, тонкие произведения; теперь же, видя, как изрядно раскрасневшийся скульптор встает из-за стола, он подумал, что и его работы может отличать то же отсут-

ствие самоконтроля. У него не было возможности судить о них. Стори и Эллиоты приглашали Андерсена к себе, но о его творчестве никогда не говорили. Поднимаясь в студию Андерсена, Генри вспомнил, как впервые приехал в этот город и сколько он обошел мастерских — иные их обитатели впоследствии преуспели, прочие канули в безвестность. И вот теперь, спустя столько лет, он снова здесь, в сопровождении молодого скульптора, преисполненного изменчивости и невинности, умевшего быть то робким и осторожным, то властным и самоуверенным, — таинственная колдовская смесь. Он смотрел, как Андерсен шагает по ступенькам впереди него, разглядывал, как сильная белая кисть скульптора обхватывает перила, наслаждался чудесной свободой и ловкостью его движений и предавался мечтам о том, что вопреки своим планам останется в Риме еще на некоторое время и будет каждый день приходить сюда, в студию своего нового молодого друга.

В мастерской царил дух напряженной деятельности, большая часть работ была лишь наполовину закончена скульптором, очевидно влюбленным в классическую традицию, классические пропорции и сознающим, что скульптура

предназначена для публичной и триумфальной демонстрации. Генри гадал, намеренно ли Андерсен начинает каждую работу с вопиющей и риторической дисгармонии и ждет ли их в дальнейшем утонченная и выверенная детализация. Переходя от постамента к постаменту, он высказывал мнение, что его друг обладает значительным талантом и демонстрировал надлежащее благоговение перед обилием фигур и торсов, мысленно спрашивая себя, будет Андерсен прорабатывать лица или оставит их блаженно-невыразительными и пустыми. Его подвели к композиции, работа над которой, очевидно, была в самом разгаре. Она изображала обнаженных мужчину и женщину, взявшихся за руки. Он вслух восхищался масштабами и дерзновенностью замысла, ибо Андерсен горделиво красовался рядом, словно позировал для фотографии.

К концу дня Генри многое узнал о Хендрике Андерсене. Кое-что из этого поразило его, особенно известие о том, что семья Андерсенов по прибытии в Новый Свет обосновалась в Ньюпорте, в доме, который был расположен в паре кварталов от места, где жили Джеймсы, и что скульптор по-прежнему считает Ньюпорт своей

американской вотчиной. Когда Андерсен начал рассказывать о старшем брате и жаловаться на то, какое это бремя быть вторым сыном, Генри сообщил ему, что и он провел юность в тени своего брата Уильяма. Андерсен, казалось, уже знал это и вслух удивлялся, неужели именно это свело их с Генри, заставило потянуться друг к другу; он задавал множество вопросов о Генри и Уильяме и часто еще до того, как Генри заканчивал ответ, сравнивал услышанное с собственным опытом, касающимся его брата Андреаса. По ходу разговора Генри обнаружил, что Андерсен много знал о семействе Джеймс. Он упомянул что его собственный отец, как и отец Генри в юности, питал пагубное пристрастие к алкоголю — в семействе Джеймс об этом говорить было не принято, зато в Ньюпорте об этом, видимо, болтали достаточно часто, чтобы эти слухи достигли ушей Хендрика Андерсена.

— Мы побратимы благодаря нашим старшим братьям и пьянчугам-отцам, — засмеялся Хендрик.

Генри с интересом наблюдал, как багровые пятна расплываются по его щекам, как речь становится лихорадочной и бессвязной, перескакивая от предмета к предмету вне зависимости

от реакции собеседника или полного отсутствия таковой. Когда Генри сказал, что ему пора, скульптор принялся настойчиво упрашивать его остаться, на что Генри пришлось выдвинуть встречное предложение прогуляться по старому городу и подыскать местечко, где они смогут освежиться. Но прежде Андерсен еще раз провел его по своей студии. Вторично разглядывая изображение обнаженной пары, Генри подумал, что Андерсен, должно быть, пытается обрести индивидуальность в универсальности. Вся эта каменная и мраморная плоть обладала неким усредненным подобием, хотя ягодицы, лона и животы были изваяны с необыкновенным усердием и самоуверенностью. Он еще раз выразил свое восхищение и надежду, что ему удастся почаще бывать в студии и увидеть каждую работу на завершающей стадии.

Он виделся с Хендриком Андерсеном почти каждый день, встречаясь с ним наедине или в компании других, и чем больше узнавал о нем, тем больше поражался, до чего же молодой скульптор по своему происхождению и характеру походит на Родерика Хадсона, заглавного героя романа, который Генри опубликовал двадцать с лишним лет назад. Колония американцев в Риме

знала его в основном как автора «Дейзи Миллер», а посвященные, такие как Мод Эллиот и ее муж, читали еще и «Женский портрет». Они знали разницу между романом, похожим на светскую байку, легкомысленным по тону и воздействию, и поздним произведением, более тонким и смелым по композиции и текстуре. Однако никто из них, насколько ему было известно, даже не открывал «Родерика Хадсона», где описывался живущий в Риме и переживающий крах и упадок молодой американский скульптор — этому персонажу были присущи талант Андерсена, его страстный и порывистый характер. Мечты и устремления Хадсона, так же как и Андерсена, сразу же становились понятны каждому новому знакомому. Оба вырвались из-под навязчивой опеки любвеобильной матери, и каждый из них, приехав в Рим, обрел пожилого друга, который за ним присматривал, — одинокого странника, ценившего красоту, глубоко заинтересованного человеческой психологией и обуздавшего свои страсти. Каждый раз, встречаясь с Андерсеном, Генри пытался постичь мотивы его поведения, как будто ожил один из его собственных персонажей, не переставая интриговать и озадачивать создателя, заставлять его сдерживать свои чув-

ства и воздерживаться от личных суждений, деликатно отказывая ему в позволении контролировать дальнейший ход событий. Андерсену, как и Родерику Хадсону, покровительствовали состоятельные люди, уверовавшие в его талант, таким образом что ему никогда не приходилось ради куска хлеба предавать свои идеалы в искусстве. Его скульптуры представляли собой мощные, энергичные акты утверждения, сообразные его дерзновенным мечтаниям. Словесные хитросплетения, использованные в романах, развитие сюжета и характера через действие, описания природы и диалоги не представляли для него ни малейшего интереса, как не стремился он и изваять реалистичное человеческое лицо, для чего требовалось немало усердия, терпения и вдумчивой наблюдательности. Если бы он был поэтом, он писал бы гомеровские эпосы, а будучи скульптором, делился с Генри планами по созданию грандиозных монументов.

Генри слушал по большей части с неподдельным интересом; он продлил свое пребывание в городе, и у него было время поразмышлять об Андерсене и о том, как его очарование умеряет его недостатки, и эти размышления сообщали золотистый оттенок часам одинокого ожидания. Как

и Маллет в «Родерике Хадсоне», он желал помочь молодому человеку оценить, кем он является, и посоветовать, куда двигаться дальше, однако Генри с бóльшим, как он надеялся, успехом удалось спрятать под маской изящной невозмутимости собственную тоску.

Мысль о том, что он опубликовал несколько книг, которые сейчас никто не читает и не видит причин ссылаться ни на одну из них, каким-то образом рождала в нем ощущение, что сам он принадлежит истории, прошлому и ему, подобно Андерсену с его сверстниками, следует присягнуть на верность будущему. Именно это чувство заставило его наконец с тяжелым сердцем приготовиться к возвращению домой — и тут же в его сердце зародилась нежность к Андерсену и страстное желание увидеть его в Англии. Эта нежность возникла еще и благодаря впечатлению, становившемуся от каждой новой встречи с Андерсеном все сильнее — а порой в эти недели они виделись дважды в день, — впечатлению, будто молчание молодого скульптора и то, как он словно бы тяготится беседой, свидетельствуют об его одиночестве и отчаянной потребности в одобрении, чего создание монументов никак не могло утолить. Видел он и что его привязанность

к Андерсену, то, как он изучает его слова и движения, чрезвычайно занимают самого скульптора, хотя тот не обращал особого внимания на Генри, очевидно думая, что он в этом не нуждается. К примеру, Андерсен никогда не напоминал о сцене, разыгравшейся на протестантском кладбище, и вообще, казалось, предпочитал думать, что одиночество писателя является ключевым аспектом его творчества. От Генри ему требовался лишь интерес Генри к нему; он как бы открыл себя для регулярного пристального наблюдения, подобно собору, открывающему двери для молитвы. Андерсен был одновременно и озадачен, и очарован самим собой. Его невероятный талант и его грандиозные амбиции, его происхождение, его страхи и его маленькие горести стали темой ежедневных нескончаемых разговоров, невинных и самовлюбленных. Он говорил, но не слушал; Генри заметил, как вдумчиво он пользуется своим молчанием, зная, какое глубокое впечатление оно производит на других. Молодой человек сам был инстинктивно насторожен тем, как перемены в его темпераменте — насколько мягким могло стать выражение его глаз или насколько сильным и властным он мог показаться в иных обстоятельствах, — по словам Генри, при-

влекают к нему людей. А когда они сходились ближе, Андерсен сам не знал, что делать с этими людьми, знал лишь, что не желает лишиться власти над ними. Он жаждал их безоговорочного внимания и уважения, возможно даже любви — а уверившись, что завоевал их, отвечал на это приветливым равнодушием.

Однако ревнивее всего он относился к возможности прославиться на поприще скульптора, тут он становился алчным и безжалостным, подобно хищному зверю; мастерская была его охотничьими угодьями, он рыскал в поисках добычи, неустанно работал над своими огромными фигурами, высвобождая их из камня, сглаживая торсы, бедра и чресла, но никогда не прорабатывая лица, словно его ничуть не интересовало, что может раскрывать или, наоборот, скрывать человеческое лицо, и под мягкой чистой красотой его собственного лица по большей части таилась пустота; это завораживало Генри, и чем чаще он находился в обществе молодого скульптора, тем настойчивее пытался представить себе, каким становится это лицо, когда они порознь, и это интриговало и раздражало и отнимало слишком много времени и сил.

Готовясь к отъезду из Рима, он задумался, не

переоценил ли серость и провинциальность своей жизни в Лэм-Хаусе. Андерсен одобрительно кивнул, когда он объяснил свою потребность в такой жизни и желание вернуться к ней, но ведь сам Андерсен, как было известно Генри, покинул Ньюпорт и приехал в Рим отнюдь не в поисках серости и провинциальности. В обществе, где он вращался, им восхищались с таким энтузиазмом, которого трудно было бы добиться в Ньюпорте или Рае. Генри подумал, что в будущем это может стать проблемой молодого скульптора — возможность неудачи и осуждения, вынужденное одиночество. И как он справится с этим вызовом? Генри представил себе лицо Андерсена, сосредоточенного на работе, как его взгляд становится все более самоуглубленным, высказывания — сдержаннее и точнее, а статуи уменьшаются в размерах, становятся изящным и утонченным свидетельством того, как много трудился и как много перечувствовал их создатель. И с годами, пока будет происходить это преображение, для Андерсена, размышлял Генри наконец перестанет иметь значение, кто им восхищается или где он живет.

Накануне отъезда Генри у Эллиотов собралось человек двадцать его знакомых. Он проявил

максимум осторожности, чтобы появиться и удалиться на собственных условиях, участвовал в общем разговоре и беседовал со многими из приглашенных, в то же время не выпуская из виду Андерсена. В конце концов он нашел возможность пообщаться с ним наедине, но им помешала Мод Эллиот, которая начала прохаживаться насчет их задушевной дружбы. Она, думал Генри, плоть от плоти своей семейки, мастеров искусного намека; ее мать, ее тетка, ее дядя-писатель, все они славились своим умением избегать замалчивания неудобных вопросов и не имели обыкновения оставлять свои мысли невысказанными. Поднятая бровь и острое словцо — их наследственные черты, думал он, пока Мод Эллиот уводила от него Андерсена, спрашивая на ходу, был ли у него когда-либо такой внимательный друг, как мистер Джеймс. А потом, загнав Генри в угол, ясно дала понять, что никуда он от нее не денется, пока она не выскажет все, что у нее на уме.

— Уверена, что его матушка с нетерпением ожидает его возвращения в Ньюпорт, более того, я точно это знаю, но мы намерены придержать его при себе, — говорила Мод. — Все жаждут его общества, в этом секрет его привлекательности.

Полагаю, вы каждый день навещали его мастерскую.

— Да, — ответил Генри. — Я восхищаюсь его трудолюбием.

— И тем, что, возможно находитесь в обществе гения? Вы должны были знать его еще до вашего приезда в Рим, полагаю, он довольно известен и за пределами Италии.

— Нет, я познакомился с ним только в вашем доме.

— Но вы же слышали о нем? Он-то о вас был наслышан.

— Я ничего раньше о нем не знал.

— О, я уверена, что лорд Гауэр о нем упоминал — он так восторгался его работами, будучи в Риме.

— До сегодняшнего дня я никогда не слышал и о лорде Гауэре, — признался Генри.

— Ну, он пишет на разные темы, и еще он страстный коллекционер. Настолько увлеченный, что проникся обожанием к нашему молодому скульптору, ежедневно с ним виделся и даже хотел забрать его с собой. — Она заговорила доверительным заговорщическим тоном. — Я слышала, лорд Гауэр хотел его усыновить и сделать своим наследником. Он невероятно богат. Но Андерсен

не захотел его, или не захотел быть усыновленным, или и то и другое вместе; словом, не видать ему огромного состояния лорда Гауэра. Возможно, он ждет лучшего предложения или чего-то, что больше его заинтересует. У него самого ни гроша за душой. Пожалуй, он интереснее ваших героинь — ведь, в конце концов, он отказал лорду. Но если он не будет осторожнее, боюсь, ему не избежать судьбы Дейзи Миллер. Он изрядная кокетка, правда же? Но как бы ни повернулось дело, не могу себе представить, что он вернется в Новую Англию.

— Возможно, каждый из нас время от времени нуждается в коротком перерыве, — с улыбкой сказал Генри.

— По словам мистера Андерсена, вы пригласили его к себе в Рай, — продолжала Мод Эллиот.

— Раз вы так внимательны к нему, вероятно, мне следует пригласить и вас, — ответил Генри.

Когда на следующий день он посетил студию Андерсена, там кипела работа над очередной грандиозной композицией — причудливо переплетенные мужские и женские тела символизировали весну. Андерсен, уверенный, что его новый проект быстро обретет своего мецената, пребывал в самом лучшем расположении духа

и был не прочь освежиться после утренней физической нагрузки. Расхаживая по мастерской, Генри обратил внимание на небольшой бюст, оставшийся незамеченным в предыдущие посещения и выполненный в куда более скромной и сдержанной манере, чем прочие изваяния вокруг. Андерсен сообщил, что это портрет юного графа Бевилаквы и все от него в восторге. Было в нем что-то незавершенное и неуклюжее, но, возможно, благодаря небольшим размерам и сорту камня портрет показался Генри близким родственником археологических находок, которые извлекались из-под брусчатки на улочках, где они прогуливались. Он тотчас же выразил желание захватить бюст с собой в Англию на память о неделях, проведенных с его новым другом, и щедро заплатить за это счастливое воспоминание. Стоило Андерсену сообразить, что Генри не просто восхищается его работой, но и намерен ее приобрести, как молодой скульптор раздулся от гордости и самомнения. Генри стало ясно, что возможность продавать свои работы, отправить их в большой мир значит для него куда больше, чем любые изъявления дружбы. В небывалом возбуждении Андерсен метался по мастерской, а как только цена была согласована, заключил

Генри в объятия, выражавшие небывалую привязанность. Он пообещал, что при первой же возможности приедет в Англию. Он с упоением обсуждал вопросы упаковки и сроков доставки. Было в этом самодовольном восторге, который он был просто не в состоянии скрыть, нечто настолько искреннее, что Генри растрогался.

В тот же вечер они отпраздновали покупку в семейном ресторанчике под мастерской Андерсена. Молодой человек по этому поводу принарядился, и, как только они уселись за столиком с зажженной свечой, он заговорил совсем по-новому. С глубоким интересом и участием он задавал вопросы и выслушивал ответы, интересовался, как Генри живет в Англии, зачем он там поселился и почему так мало путешествовал в последние годы. Генри был почти изумлен истовостью, которую он вкладывал в эти расспросы, — в них была та же мальчишеская энергия, которую ранее Андерсен тратил на свои молчания и монологи. Однако попытки Андерсена почесать языком насчет родителей Генри ничуть того не позабавили, и он постарался повернуть беседу в менее интимное русло. Когда же молодой человек, не без легкой провокации со стороны Генри, начал прохаживаться насчет собственного отца, Ген-

ри ощутил легкое самодовольство, хотя и счел тон скульптора слишком развязным, слишком раздраженным и слишком откровенным для описания того, что Генри считал чисто семейными делами. Впрочем, узнав по завершении трапезы, что Андерсен проводит его до самой гостиницы и им предстоит соблазнительное уединение на полночных улицах старого Рима, Генри был счастлив. Это будет их последний вечер вместе, так как оба приняли приглашение на прощальную вечеринку в честь отъезда Генри, которая состоится завтра в апартаментах Стори.

Его поразила мысль, что с тех пор, как двадцать пять или тридцать лет назад он вот так же прогуливался по Риму в ночи, сам он нисколько не изменился. Он никогда не обсуждал с посторонними ни своих родителей, ни свои творческие амбиции; все эти годы его речи оставались такими же выверенными и обдуманными, как и его тексты. Андерсен был совсем иным, и Генри вдруг подумал, что и Андерсен, должно быть, уже не изменится. Он останется на всю жизнь таким же невинным и ошеломляющим, обаятельным и открытым. Когда их разговор прерывался, Генри так и подмывало повернуться к своему другу и сказать, что, пока он молод, он должен брать от

жизни все, что она предлагает, что он должен желать всего и жить так полно, как только сможет. У подножья Испанской лестницы он в какое-то мгновение решил остановить своего друга и указать ему на окна комнаты, где скончался поэт Китс, но вовремя сообразил, что эхо страданий и смерти разрушит чары этой ночи. И когда на пороге гостиницы Андерсен оступился, желая заключить его в объятия, он не мог не любоваться его улыбкой, пытаясь удержать ее в своей памяти и понимая, что по возвращении в Англию ему придется долго, очень долго вспоминать о ней.

Вернувшись в Рай, где его встретил обрадованный Берджесс Нокс с традиционной тележкой, Генри увидел город как будто бы глазами Андерсена. Он понял, каким Рай может показаться захолустным и тусклым, что гостиные и холлы здесь ничтожней кладовок и чуланов в римских чертогах, и даже сад, который он с такой гордостью расписывал своему новому другу, выглядел будто бы съежившимся и ссохшимся. Он наблюдал, как Берджесс распаковывает вещи, и готовился приступить к повторному обретению собственного дома, не переставая гадать, как бы воспринял эти сцены Хендрик Андерсен.

До благополучного прибытия маленького бю-

ста он ничего не писал Андерсену, хотя мысленно сочинил множество писем, повествуя, как обрел сознание ясное и свежее, словно английский полдень, теперь, когда установилась погода, и каким великолепным показался ему его обнесенный кирпичной стеной садик, как только он привык к его скромным размерам. Он знал, что Андерсена все это едва ли заинтересует, и ему трудно было найти подходящий тон, полный сдержанного дружелюбия.

Однако когда бюст был распакован и водружен на специально сооруженный постамент в углу гостиной у каминной полки, где вроде бы чувствовал себя отлично, Генри наконец смог написать Андерсену, выражая свое восхищение скульптурой и превознося ее достоинства, зная, что подобные похвалы Андерсен впитывает жадно, как губка, и будет перечитывать его письмо вновь и вновь. Находясь на таком расстоянии от Андерсена, ему было легко описывать, как нежно и бережно он распаковывал его работу и подыскивал ей уютный уголок и какое счастье будет иметь такого замечательного компаньона, который отчасти скрасит ему разлуку с любимым другом. Сказать Андерсену, что его работа выглядит живой и человечной, общительной

и отзывчивой, добавив, что эта привязанность, по-видимому, на всю жизнь, было куда легче, чем признаться Андерсену, что тот и днем и ночью пребывает в его мыслях, что порой, работая, он вдруг замирает, захваченный непостижимым ощущением счастливого света и теплого ожидания, а затем понимает, что это отсвет дней, проведенных в Риме, и надежды, что Андерсен приедет в Рай.

Вскоре пришел ответ от Андерсена — корявым почерком, со множеством ошибок он писал что и впрямь намерен заехать погостить. Несмотря на краткость письма и примитивность эпистолярного стиля, в этих торопливых, сбивчивых предложениях звучал подлинный голос Андерсена, искренний и полный бурных эмоций. Генри обнаружил, что не в силах расстаться с письмом, и огромным усилием воли принудил себя наконец его отложить. Но он не мог совладать со своим воображением, мысленно размещая мощное тело Андерсена в садовом кресле, под раскидистой старой шелковицей, представляя, как мягкий солнечный свет нежит их лица. В столовой, питаясь в полном одиночестве, он усаживал Андерсена напротив себя и позволял им обоим засиживаться за графином подольше,

прежде чем подняться в гостиную, и не возражал против того, что речи Андерсена становятся слишком сумбурными или хвастливыми. Он надеялся на его приезд до конца лета — чтобы они смогли разделить долгие светлые вечера, чтобы, отваживая прочих, они наслаждались обществом друг друга и чтобы Андерсен приучился к жизни в более сдержанных масштабах.

Он решил, что было бы неплохо отремонтировать маленькую студию, которая являлась частью его владений и выходила окнами на Уочбелл-стрит. Когда они с Андерсеном окончательно согласовали дату его приезда, он принялся воображать своего друга в этой мастерской, представлять себе, как тот, увидев плодотворные труды Генри в садовом кабинетике в летние месяцы, привыкнет к мысли, что эта студия легко могла бы стать его рабочим ателье на определенный сезон. Он нашел ключ от студии, изучил ее план и убедил себя, что, если Андерсен и архитектор Уоррен поладят, можно будет переоборудовать студию в скромную и современную мастерскую скульптора. Он упивался мыслями об одиноком счастье грядущих дней, пока он будет писать новый текст, зная, что неподалеку скульптор Андерсен творит в камне. Да, он созна-

вал, что принимает желаемое за действительное, что надежды его преждевременны и что нарисованная в его воображении картина совместного созидания весьма нереалистична, но эти видения позволяли ему проживать дни в сладостной легкости и строить прочие планы со счастливой уверенностью.

По мере того как близилась дата приезда Андерсена — хотя скульптор и предупредил, что, завернув в Рай по пути из Рима в Нью-Йорк, погостит у него лишь пару дней, — Генри постоянно с ужасом думал о неизбежном моменте расставания и в то же время мечтал, как будет встречать Андерсена на станции, и выдумывал разные способы его развлечь. Должно быть, другие тоже испытывают подобные чувства, размышлял он; его отец, вероятно, чувствовал то же самое после знакомства с его матерью, и, очень может быть, с тем же чувством Уильям ожидал, согласится ли Алиса выйти за него. Он недоумевал, отчего это состояние колдовского оцепенения овладело им настолько полно: в силу его почтенного возраста или потому, что Андерсен пробудет здесь совсем недолго, а возможно, оттого, что не суждено сбыться ничему из того, что Генри себе навоображал. Прогуливаясь по Раю пешком или

на велосипеде, на каждого встречного он смотрел, гадая, переживал ли этот прохожий такое же нежное томление, такое же восторженное напряжение всего существа, дожидаясь чьего-либо приезда.

Решение Андерсена не затягивать визит дало Генри — помимо разочарования и крушения его иллюзий — возможность испытать вновь, но на этот раз гораздо острее, ту обреченность, что неизменно сопровождала любые его привязанности. Словно пытаясь прогнать боль грядущей разлуки, он снова и снова вызывал в памяти время, проведенное с Полем Жуковским в Париже более двадцати лет назад. Как же часто Генри воскрешал ту ночь в памяти, она не оставляла его, не давала ему покоя своей драматичностью и окончательностью. Он вспоминал, как бесконечно кружил и кружил у дома Поля, думая, что вот-вот уйдет, растворится в вечернем тумане, вернется в мрачное убежище своей парижской квартиры, но вместо этого лишь подходил ближе. Он стоял на тротуаре, когда наступила ночь и туман превратился в дождь. И хотя сама эта мысль вызывала у него дрожь, он не мог заставить себя перестать думать о том, что могло бы тогда случиться. Стоя там и ожидая неизвестно чего, он смотрел вверх,

на окно Поля, четко обозначенное светом лампы, и из последних сил удерживал себя от того, чтобы перейти через улицу и показаться ему на глаза. Это казавшееся бесконечным бдение под окнами закончилось поражением. Многие годы оно преследовало его в самые неожиданные моменты, например сейчас.

Берджесс Нокс уже привык к гостям, особенно в летние месяцы, а новые слуги, которых Генри нанял после ухода Смитов, проявляли неизменную готовность радушно принимать вялый ручеек давних его друзей и родственников, стекающихся в Лэм-Хаус. От природы Берджесс Нокс не был любопытен; он предпочитал воспринимать все как есть. Но накануне приезда скульптора он то и дело приставал к Генри с разными смущенными и сбивчивыми уточнениями по части привычек и предпочтений мистера Андерсена.

В день, когда нужно было встречать поезд Андерсена, Генри увидел, что Берджесс Нокс слоняется по комнате для завтраков, а потом застал его праздно торчащим у дверей своего кабинета. От него не укрылось, что Нокс одет куда тщательнее обычного, он по-новому подстригся и как будто сделался куда расторопнее. Генри улыбнулся при мысли о том, что его смутные мечтания и

надежды передались его домашним. В семь часов Берджесс Нокс уже стоял перед дверью чуть ли не по стойке «смирно», а рядом стояла наготове его тележка — точно пушка, готовая к выстрелу.

Андерсен начал говорить, как только вышел из вагона. Ему вздумалось перезнакомить Генри со всеми своими попутчиками, а когда поезд тронулся, он не раз обернулся, чтобы помахать им на прощание. Берджесс Нокс, позаботившись о багаже Андерсена и разместив его на тележке, с этой минуты не сводил преданных глаз с хозяина и ни разу, насколько мог заметить Генри, не взглянул в сторону гостя, а позже, в Лэм-Хаусе, постоянно его избегал, словно боялся, что Андерсен его укусит.

Скульптор расхаживал по дому, осматривая его без особого энтузиазма, будто бывал уже здесь много раз и все это видел. Даже бюст графа Бевилаквы в углу гостиной вызвал у него лишь мимолетный интерес. Путешествие до того его возбудило, что, по собственному признанию, он был просто не в состоянии ни подняться в свою комнату, чтобы переодеться, ни освежиться, ни посидеть где-нибудь в саду или на каком-нибудь диване. Казалось, его только что подсоединили к электрической сети и включили ток на всю ка-

тушку. Светясь как люстра, он без умолку болтал о том, над чем сейчас работает, с кем намерен встретиться в Нью-Йорке, что скажут люди о его скульптурах и что они уже сказали. Он вперемешку сыпал фамилиями торговцев произведениями искусства, коллекционеров, архитекторов, чиновников, занимавшихся вопросами градостроительства, а также миллионеров и женщин, пользующихся влиянием в высшем свете. Париж с Нью-Йорком, как и Рим с Лондоном, — все эти города, по его словам, восхищались им, и работы его пользовались там невероятным спросом.

По возвращении из Италии Генри принялся обдумывать сразу несколько проектов и знал, что по меньшей мере два из них потребуют от него недюжинных усилий. Сперва содержание, подобно отпечатку дыхания на холодном стекле, будет туманным и зыбким, и он мог лишь надеяться, что сумеет распознать некие внятные черты, прежде чем это дыхание растает. А затем придется трудиться — куда тщательнее и добросовестнее, чем когда-либо раньше. Поэтому, слушая болтовню Андерсена, он испытывал горькое удовлетворение оттого, что сам уже имеет опыт поражений, понимает, какую боль и стыд они несут с собой. Но раз Андерсен еще этого не

познал, Генри будет молчать и просто наслаждаться сознанием того, что его друг наконец приехал.

Утром после завтрака, узнав, что Андерсен еще не встал, Генри отправился в садовый домик, чтобы приступить к работе, запланированной на сегодняшний день. Секретарь, казалось, не замечал его колебаний, запинок, бесконечных повторов целых предложений, но ничем не выдавал своего удивления и когда Генри диктовал так стремительно и без поправок, что пальцы шотландца буквально порхали над клавишами машинки. Работа отвлекала от мыслей о том, чем занимается его гость — возможно, до сих пор нежится в постели, или принимает ванну, или сидит за очень поздним завтраком, или вот-вот появится на пороге его кабинета. Уже давно, с предыдущими гостями, Генри обнаружил, что, погружаясь в работу, легко достигает полной, неистовой сосредоточенности на тексте; это был способ не думать о гостях или предвкушение скорой встречи с ними, а иногда и то и то. Генри трудился с небывалым рвением, будто хотел доказать самому себе, на что способен. Так продолжалось до полудня, пока он не довел шотландца до полного изнеможения и мог быть

уверен, что Андерсен уже поджидает его где-нибудь в доме или в саду.

В Риме Генри заметил, что Андерсен обычно одевается так же, как и его собратья-художники: не слишком по-мещански, но и не чересчур богемно. Однако сейчас, когда скульптор поднялся с кресла, стоящего в углу гостиной на втором этаже, и поздоровался с хозяином, Генри бросились в глаза и его черный костюм, и белоснежная сорочка, и голубой галстук-бабочка, прекрасно гармонировавший с цветом глаз Андерсена. Было похоже, что молодой человек провел изрядную часть утра, готовясь к этой встрече.

Пока они обедали, стало ясно, что погода портится и любую прогулку, будь то пешая экскурсия по городу или поездка по окрестностям на велосипеде, придется отложить. На мгновение Генри задумался о том, чем же занимался Андерсен в Риме в те часы, когда шел дождь, но быстро сообразил, что там дожди редкость и что скульптор в любую погоду с легкостью найдет себе занятие в собственной мастерской. Когда Генри стал расспрашивать молодого человека о дождях в Ньюпорте, Андерсен сообщил, что это сплошной кошмар — день-деньской маешься в четырех стенах, ощущая себя узником в собственном доме,

непрерывно выглядываешь в окно, ожидая, что вот-вот прояснится, но мрачная слякоть глядит оттуда в ответ до самого вечера, когда становится совсем темно и грустно. Он признался, что эти ужасные воспоминания никогда не изгладятся из его памяти, а потом рассмеялся.

Они еще не покончили с обедом, а капли уже дробно застучали в окна Лэм-Хауса, в столовой стремительно потемнело, сад сделался угрюмым. Сумерки быстро сгустились и в настроении Андерсена. Если бы Генри был один, он бы взял книгу и погрузился в чтение до самого ужина, а после трапезы вернулся бы к прерванным занятиям, но, насколько он мог понять, Андерсен вообще ничего не читал, да и трудно было бы представить себе человека его склада, покойно расположившегося в кресле и коротающего день с книгой в руках.

Прошлым вечером Генри заикнулся насчет пустой студии на Уочбелл-стрит, а за обедом выяснилось, что Андерсен охотно на нее взглянул бы, если они раздобудут зонтик и отважатся выйти под дождь. Генри хотелось бы, чтобы расстояние до студии было больше, чтобы экскурсия забрала больше времени и чтобы к ней нужно было готовиться. Но до нее было всего несколько шагов, и

Берджесс Нокс поджидал их у дверей с зонтиками наготове. На этот раз он разглядывал Андерсена так, будто тот собирался сделать с него набросок. Они почти что бегом двинулись к заброшенному зданию. Генри нащупывал в кармане ключ.

Пусть он не знал, но должен был догадаться, корил себя Генри, что крыша мастерской протекает в двух или трех местах. Стоило открыть дверь, как все трое застыли на пороге, разглядывая, как капли бодро барабанят по бетонному полу. Сейчас в студии было темновато и неуютно, в углу валялся какой-то хлам и стояли старые велосипеды, и от шума дождя все выглядело еще тоскливее и непригляднее. Ни один из них не выразил желания пройти вглубь, так они и топтались у порога в полном молчании. Генри расписывал мастерскую как убежище, где скульптору будет приятно спасаться летом от удушающего римского зноя, как место, где зимой можно хранить готовые работы и демонстрировать их лондонским галерейщикам. Но сейчас студия больше походила на ветхий сарай, который только на то и годится, чтобы складировать тут заржавевшие велосипеды, и Генри не мог не понимать, что его молодой друг, мечтая об оглушительном успехе в крупнейших городах мира, до такой степени

пленен собственным воображением, что в нем не отыщется ни капли снисхождения к подобному помещению, унылому и потрепанному. Даже поведение Берджесса Нокса, который переводил полубезумный взгляд с прохудившейся кровли на мокрый пол и с хозяина на его гостя, тоже служило тому, чтобы ноги Хендрика Андерсена больше не было в Рае.

Остаток дня Генри и Андерсен провели в бессистемных разговорах, а когда дождь наконец прекратился и небо прояснилось, они так же бессистемно прогулялись по улицам Рая и его окрестностям. Андерсен был всецело поглощен мыслями о путешествии в Нью-Йорк и предвкушал свидание с этим городом, и Генри не сомневался, что, если бы его молодой друг не боялся нарушить лишь зарождающуюся между ними приязнь, — сию минуту сбежал бы в Лондон.

Пока они сидели в гостиной, дожидаясь ужина, Андерсен разглагольствовал о своих планах и перспективах. Но когда он поведал, что мечтает построить город городов, Генри, не стерпев, слегка раздраженным тоном осведомился, не идет ли речь о миниатюре. Увлеченный своими фантастическими прожектами, Андерсен, каза-

лось, просто не в состоянии был заподозрить в этом вопросе даже тени сарказма или прямой насмешки. Нет, ничего подобного, объяснял он, это настоящий город, город городов, с величественными постройками и памятниками, где будут собраны лучшие образцы архитектуры и скульптуры всех времен и народов. Он станет воплощением мировой гармонии и всеобщего согласия, в этом городе все человечество будет представлено в символическом виде, там будут демонстрироваться все этапы нашей цивилизации, там смогут собраться вместе и принцы с монархами, и художники с философами, там найдут свое отражение все лучшие надежды и чаяния человека.

Андерсен все больше возбуждался, вдохновляясь собственным красноречием, а последние лучи солнца коснулись старой кирпичной стены в конце сада, и Генри подумал, что подсвеченная хрупкость красного кирпича и яркая свежесть зелени еще сырых ползучих растений после дождя выглядят очень успокаивающе. Но он не забывал регулярно кивать в ответ на слова Андерсена. В столовой Генри сел лицом к выходящему в сад высокому окну, чтобы наслаждаться тем, как в уходящем свете дня сгущаются сумерки и как под

деревьями залегают тени. Андерсен уже перешел к рассказу о том, какая поддержка ему понадобится в реализации этого проекта и кто уже согласился ему помогать. Он сказал, что легко мог бы всю свою жизнь ваять безделушки, подобные той, что так понравилась Генри и другим, однако, пока еще не состарился, желает посвятить себя великому интегрированному проекту, над которым придется работать много лет, но который будет иметь значение для всего человечества.

— Работа на человечество, — Генри не заметил, как произнес эти слова вслух, — весьма ответственное дело.

— Да, — сказал Андерсен. — Но человечество разделено столькими надуманными конфликтами и многими ошибочными идеями. Достижения человечества никогда еще не были собраны в одном месте, не в музее, а в живом, действующем городе, где будут процветать красота и согласие.

Мозг Генри наполовину был занят обдумыванием сегодняшних литературных трудов. Он наконец нашел героя, который давно интересовал его, — серьезного, вдумчивого журналиста, чувствительного, талантливого интеллектуала, которому поручили работу, подобную той, за которую в Риме его просили взяться Стори,

мечтавшие, чтобы он написал биографию их отца, и готовые предоставить все необходимые материалы. Нынешнее утро Генри посвятил описанию этого персонажа — после смерти некоего писателя, весьма похожего на самого Генри, этот журналист оказывается в его кабинете, похожем на кабинет в Лэм-Хаусе, и, стоя буквально на том же самом месте, где стоял Генри, надиктовывая этот текст, обозревает письма и бумаги покойного, прежде чем ими завладеть. Но и журналист, которого описал Генри, был чуть ли не вылитый он сам, так что приходилось скрупулезно разлагать самого себя на составляющие, чтобы в точности воспроизвести свой собственный дух и его появление в месте, где когда-то обитал и скончался его двойник. И тут перед внутренним взором Генри на мгновение возник образ этого журналиста, как он пробирается полутемными узкими венецианскими улочками, пытаясь избежать встречи с чем-то. Но он отверг это видение, не зная, как его использовать. Ни один из будущих читателей, подумал он, не догадается, что Генри играл в раздвоение личности, маскируясь и сбрасывая маски с самого себя.

Это будет читаться как классический рассказ с привидениями, но для самого Генри, который

должен был воссоздать собственную смерть и придумать героя, который с каждым днем становился все реалистичнее, эта история приобретала особое значение, возымев над ним некую странную власть. Она вдохновляла на дальнейшую работу, но в душе он до сих пор еще трепетал от дерзновенности собственного замысла, удивляясь, как он только осмелился на такой немыслимый для писателя поступок. По сравнению с городом городов, который задумал создать Андерсен, это было ничто и все. Множество мельчайших подробностей, неспешные диалоги, медленное развитие действия и мистический колорит будут выгодно отличать эту историю от нелепых абстракций, от безликости и глупости грандиозных концепций. Но история эта будет оставаться скромной и одинокой, беззащитной, почти незаметной; она будет занимать так мало места в огромной монументальной библиотеке города-мечты, в котором его молодой друг вовсе не позаботится о чтении для избранных.

— Да, прежде всего, — говорил Андерсен, — требуется, чтобы этот проект стал известен как можно более широкому кругу людей.

— Несомненно, — поддакнул Генри.

— И я подумал, поскольку вы уже знакомы с

моими работами, может, захотели бы поучаствовать, написав статью в какой-нибудь журнал? — спросил Андерсен.

— Боюсь, я скорее прозаик, нежели журналист, — ответил Генри.

— Но вы же писали статьи?

— Да, однако сейчас я занимаюсь исключительно художественной литературой. Увы, это единственное, на что я гожусь.

— Но ведь вы знакомы с влиятельными редакторами?

— Большинство редакторов, с которыми я работал, уже благополучно завершили земные дела или давно вышли на пенсию.

— Но вы бы написали о моих работах, если бы нашелся журнал, который заинтересуется этой темой? — напирал Хендрик.

Генри колебался.

— Думаю, я мог бы, — продолжал Андерсен, — найти кого-нибудь в Нью-Йорке, кому это было бы интересно.

— Полагаю, критику искусства лучше доверить художественным критикам, — сказал Генри.

— А если найдется редактор, которому понравится ваше описание моих работ?

— Я сделаю для вас все, что только смогу, — за-

верил Генри, улыбаясь Андерсену, и вышел из-за стола; на дворе совсем стемнело.

На следующее утро, покончив с завтраком, он несколько минут просидел в саду, ожидая прихода мистера Макалпайна. На небе не было ни облачка; он поставил кресло в той части сада, куда в эти часы заглядывало солнце. Насколько ему было известно, Андерсен все еще спал, да и в любом случае он упомянул, что позавтракает в своей комнате. Когда шотландец явился, они прошли в садовый кабинет и сразу же принялись за работу. Вчера перед сном Генри просмотрел напечатанные страницы и внес некоторые правки, так что сегодня ему довольно и часа, чтобы закончить эту историю, и, пока солнечные лучи будут захватывать сад, разжигая дневной зной, он примется за новый рассказ, по объему даже меньше предыдущего, еще менее бьющий на эффект, непритязательный до неприличия. Он диктовал в своей обычной манере, которая представляла собой смесь решительности и колебаний, то делая паузы, то стремительно двигаясь вперед к своей цели; порой он подходил к окну, как будто слово или сравнение, которые он подыскивал, могли вызревать на кустах и лозах среди других плодов щедрой поры позднего лета,

а потом возвращался в прохладу кабинета с уже готовой метафорой и сформированной фразой, необходимой для завершения абзаца.

К обеденному часу жара была в разгаре. Андерсен облачился в белый костюм и держал в руках соломенную шляпу, точно приготовился к лодочной прогулке. Они обсудили, как им лучше провести полуденные часы, и, когда Андерсен узнал, как близко отсюда до моря и как легко добраться до побережья на велосипеде, он поведал, что самым заветным его желанием было бы искупаться в соленой воде и походить по песку босиком. Этот спортивный энтузиазм стал приятным разнообразием, ведь на протяжении всего обеда скульптор воздерживался от какого-либо упоминания своих грандиозных планов по завоеванию мировой славы. После трапезы они переоделись в костюмы, более подходящие как для езды на двух колесах, так и для битья баклуш на морском берегу, а затем на отлично смазанных велосипедах, извлеченных Берджессом Ноксом из пристройки за кухней, отправились в путь. Они неторопливо скатились с вымощенного булыжником холма и направились к Уинчелси, где их лица овеял прохладный соленый бриз. Андерсен, на чьем багажнике болтался сверток с

купальным костюмом и полотенцем, в отличном расположении духа энергично крутил педали на спуске в Удимо, к морю.

Оставив велосипеды, они проследовали по тропинке, протоптанной в песке среди дюн, и Генри заметил жаркую дымку — она висела в воздухе, сглаживая очертания пейзажа и делая горизонт почти неразличимым. Легкая физическая нагрузка и близость моря, казалось, разительно повлияли на Андерсена, он сделался непривычно молчаливым. Когда они наконец дошли до кромки воды, он остановился, посмотрел вдаль, щурясь на солнце, а потом ласково приобнял Генри за плечи.

— Я и забыл об этом, — сказал он. — Я не знаю, где нахожусь. Я мог бы доплыть до Бергена, я мог бы доплыть до Ньюпорта. Окажись здесь мой брат… — Он запнулся и изумленно покрутил головой. — Знаете, если закрыть глаза и снова открыть, я могу вообразить такой же пляж, и такой же свет, и себя самого в Норвегии, мне было, наверно, лет пять-шесть, но и Ньюпорт бывает таким в летний день. Этот воздух и этот бриз… я сейчас словно бы дома.

Они пошли вдоль линии, оставленной морской водой на песке. Волны были спокойными,

а пляж почти безлюдным. Генри стоял, глядя на море, пока Андерсен переодевался в купальный костюм; поручив Генри охранять его вещи, он превратился в ожившую версию одной из своих скульптур — гладкий белоснежный торс, мускулистые руки и ноги.

— Вода холодная, — заметил он. — Сразу видно.

Молодой человек вошел в море, подскакивая перед каждой волной, прежде чем погрузиться в воду, а затем поплыл энергичными мерными гребками. Порой он поддавался волнам, позволяя им толкать себя к берегу, и махал рукой Генри, который стоял на берегу полностью одетый и наслаждался солнечным теплом.

Когда Андерсен вытерся и снова переоделся, они побрели по берегу и прошли много миль, почти никого не встретив на своем пути. Время от времени оба без предварительной договоренности останавливались, смотрели на море, изучали горизонт или лодку вдалеке. Андерсен слушал рассказ Генри о том, как здешние земли были отвоеваны у моря, в результате чего поселения из рыбацких портов превратились в сухопутные городки.

— В Ньюпорте, — сказал Андерсен, — мы могли

бы сейчас посидеть на пирсе, поглазеть, как разгружают улов или готовятся к ночной рыбалке.

И Андерсен заговорил о Ньюпорте, первом городе, который он увидел, когда они приехали из Норвегии — он, его родители, двое братьев и сестра. Тогда он и услышал о семействе Джеймс, рассказывал он. Он знал, где они жили, и знал, что один из сыновей стал писателем, — об этом все говорили. Андерсены, по его словам, были щедро одарены всем, кроме денег; его старший брат в детстве тоже проявлял незаурядные художественные способности, а младший был многообещающим музыкантом. Весь старый Ньюпорт — пожилые дамы, полуевропеизированные семейства — верили в талант больше, чем в деньги, говорил он, но это лишь потому, что у них было достаточно денег, заработанных или унаследованных, чтобы не думать о них до конца своих дней. А вот Андерсены тоже могли показаться похожими на них, когда ходили в гости или в церковь, но в их семье деньги никогда не водились, поэтому они думали только о деньгах.

— Эти господа покупали нам мольберты и масляные краски, притворяясь, что не замечают заплат на нашей одежде, — рассказывал Андерсен. — С нами беседовали о великом искусстве

по вечерам, пока мы принюхивались к ароматам горячих блюд, которые готовились на их кухнях, зная, что дома нас ждет холодный и унылый ужин.

— Рим, — сказал Генри, — должно быть, принес вам облегчение.

— Если бы только в Риме были пляжи и соленая вода, — отозвался Андерсен.

— И если бы в Ньюпорте был Колизей, — подхватил Генри. — И если бы у Андерсенов было состояние.

— И если бы братья Джеймс щеголяли в залатанных штанах! — засмеялся Андерсен и с дружеской непринужденностью ткнул Генри кулаком в живот, прежде чем обнять его.

Домой они катили в сумерках, лишь ненадолго спешиваясь — чтобы миновать Удимо и второй раз, уже неподалеку от Лэм-Хауса. Они договорились, что встретятся в саду после того, как переоденутся к ужину, и опрокинут рюмочку, прежде чем садиться за стол.

Ожидая, пока Андерсен спустится, Генри решил, что размеры его сада, его скромные и бдительно охраняемые пропорции в косых прохладных лучах умирающего солнца, его гармония с ландшафтами, по которым они сегодня

колесили, куда более созвучны диапазону их чувств, нежели распахнутые величественные перспективы Рима. Может быть, теперь, когда дождь перестал, а Андерсен немного угомонился, подумал Генри, будет проще склонить его к тому, чтобы оба они просто наслаждались отдыхом и обществом друг друга.

Когда Андерсен спустился, его волосы еще не просохли после купания, а светлая кожа покраснела от солнца. Он улыбнулся, поудобнее устроился в кресле, отхлебнул из своей рюмки и внимательно оглядел сад, как будто не видел его раньше. Генри ранее уже показал ему на садовый павильон, заметив, что летом он превращается в его рабочий кабинет, но еще не предлагал его посетить. Сейчас он сделал это, и они не спеша двинулись через лужайку.

— Значит, здесь вы и работаете, — сказал Андерсен, когда Генри закрыл за ними дверь.

— Здесь рассказываются истории, — ответил Генри.

Слева от входа был книжный стеллаж во всю стену, и, когда, вдоволь насладившись видом и выразив восхищение светом, Андерсен подошел, чтобы изучить книги, он не сразу понял, что на всех корешках значится имя его хозяина и

друга. Он снял с полки одну книгу, потом другую, и постепенно до него дошло, что весь этот огромный книжный шкаф содержит романы и рассказы Генри Джеймса, изданные в разные годы по обе стороны Атлантики. Взволнованный и ошарашенный, он один за другим извлекал тома, изучал переплеты и титульные страницы.

— Вы написали целую библиотеку, — сказал он. — Я чувствую себя обязанным прочитать все. — Он повернулся и посмотрел на Генри. — Вы всегда знали, что напишете все эти книги?

— Я знаю, каким будет следующее предложение, — сказал Генри, — и часто знаю, о чем будет следующий рассказ, и делаю заметки для будущих романов.

— Но разве вы не запланировали все это заранее? Разве вы не говорили себе: «Вот что я собираюсь делать со своей жизнью»?

Когда прозвучал этот вопрос, Генри уже отвернулся от своего собеседника, делая вид, что смотрит в окно, и не имея ни малейшего понятия, отчего его глаза наполнились слезами.

После ужина они еще немного поболтали, а затем Генри отправился спать, оставив Андерсена внизу за чтением одного из своих сборников — молодой скульптор настаивал, что, прежде чем

завтра покинет Рай, он должен прочитать по крайней мере большинство рассказов. Спустя некоторое время Генри услышал, как заскрипели ступеньки, и начал воображать рослую фигуру Андерсена: вот он поднимается с книгой в руках, ступает на лестничную площадку, входит в свою спальню. Вскоре до его слуха опять донеслись шаги — Андерсен идет через площадку в ванную, затем возвращается в спальню и затворяет дверь.

Когда за стеной под ногами Андерсена заскрипели половицы, Генри представил себе, как его друг раздевается, снимает пиджак и развязывает галстук. А потом он услышал только тишину, — возможно, Андерсен стягивал обувь и носки, сидя на кровати. Генри ждал, прислушиваясь. И вот после некоторого перерыва вновь послышался скрип половиц — теперь, как предположил Генри, он, должно быть, снимал рубашку; ему пригрезилось, как молодой скульптор, обнаженный до пояса, стоит посреди комнаты, а затем тянется к постели за ночной сорочкой. Что он будет делать дальше, Генри не знал, но напряженно думал, не снимет ли он брюки и нижнее белье, чтобы постоять нагим перед зеркалом, изучая собственное тело, разглядывая солнечные

отметины на своей шее, любуясь силой своих мышц и голубизной своих глаз, и все это молча, без единого звука.

А потом он услышал новый скрип, как будто Андерсен ненадолго переменил позу. Генри представил себе его спальню, глухие темно-зеленые шторы и светло-зеленые обои, ковры на полу и большую старинную кровать, купленную по настоянию леди Вулзли, и лампы на ночных столиках по обеим сторонам кровати, которые Берджесс Нокс, вероятно, зажег, по своему обыкновению, погасив во всех комнатах верхний свет. Лежа на спине, отложив книгу, которую читал до этого, Генри закрыл глаза, чтобы свет его собственной лампы не мешал ему мечтать, и вообразил своего гостя, его обнаженное тело в свете ламп, мощное и совершенное, его кожу, гладкую и мягкую на ощупь; тем временем половицы снова скрипнули за стеной, как будто, закончив любоваться на себя в зеркало, молодой человек накинул ночное одеяние, пересек комнату — вероятно, чтобы взять книгу, — и вернулся к своему ложу. Затем воцарилась тишина. Генри слышал только собственное дыхание. Он ждал, не двигаясь. Андерсен, думал он, сейчас, должно быть, лежит в постели. Потушил молодой человек свет

или же продолжает читать? Генри услышал за стеной, как гость не то откашлялся, не то высморкался, — а больше ничего. Он нащупал книгу, нашел место, на котором остановился, и заставил себя продолжить чтение, сосредоточиваясь из последних сил на прочитанных словах и листая страницу за страницей в молчании, окутавшем Лэм-Хаус.

Утром небо было ясным, и они отправились прогуляться по городу, пока Берджесс Нокс упаковывал багаж Андерсена, а шотландец перепечатывал начисто несколько рассказов, предназначенных для отправки в редакции журналов. После обеда, когда чемоданы уже стояли в прихожей, а до лондонского поезда оставался целый час, Генри и Андерсен развлекались тем, что гоняли ос, не давая им пировать на тарелках с десертом, которые они прихватили с собой в сад.

Генри гадал, что именно запомнится Андерсену из его поездки в Рай и насколько искренне тот сожалел, что его пребывание было таким недолгим, и обещал вернуться как можно скорее, чтобы погостить в Лэм-Хаусе подольше. Молодым человеком явно владело беспокойство, и Генри сочувствовал ему без тени зависти. Он сознавал, что в Нью-Йорке, а затем и в Риме Андерсен будет

окружен поклонниками, сраженными его красивой внешностью и будоражащим обаянием. Генри испытывал странное чувство собственника и защитника. Он представил себе мать Андерсена, живущую в Ньюпорте, усилия, которые она прилагала, чтобы получше устроить своих детей в этом мире, и то, сколько тревог доставляет ей этот баловень, бесхитростный, переменчивый, уязвимый и, несомненно, весьма неаккуратно пишущий домашним, и догадывался, что она так же страстно ждет его возвращения домой, как сам Генри желает удержать его здесь. Но наверняка Андерсен мысленно готов к любому повороту судьбы, исключая возвращение под родной кров, что бы там его ни ожидало. Идея столкновения богемного образа жизни сына, его творческих амбиций, выпестованных пребыванием в Риме, с материнской тоской, заботами и нуждами заворожила Генри своим драматизмом.

Андерсен, влюбленный в собственное будущее, без сомнения, не мог разглядеть здесь драму. Он был тем, кем казался, — молодым человеком, с радостным нетерпением ожидавшим поезд. Он расточал благодарности и похвалы, но больше всего на свете его интересовало грядущее путешествие. Когда багаж молодого человека

загрузили в купе, Андерсен взял Генри за руку, а затем обнял его.

— Вы были так добры, — сказал он. — Для меня так важно то, что вы в меня верите.

Он еще раз обнял Генри, а затем повернулся и шагнул на подножку, напоследок неловко всучив Берджессу Ноксу небольшое вознаграждение. Генри и Нокс остались на платформе, Нокс стоял неподвижно, а Генри махал рукой вслед поезду, который отправлялся в Лондон, покидая Рай.

Глава 11

Октябрь 1899 г.

В последнее утро накануне отъезда Андерсен, весь в предвкушении грандиозных перспектив, без особого интереса расспрашивал Генри, каковы его собственные планы — не собирается ли он, к примеру, отправиться в путешествие, и созрел ли уже у него замысел следующего произведения, и не ждет ли он гостей, которые займут освобожденную им, Андерсеном, комнату. Поколебавшись, Генри улыбнулся и сказал, что, скорее всего, ближайшие месяцы он посвятит своим рассказам и, если повезет, до наступления следующего года избежит приступа вдохновения и не погрязнет в работе над очередным романом.

Когда Андерсен уехал, Генри пожалел, что не признался ему: он действительно ожидает приезда гостей — брата Уильяма, невестки Алисы и племянницы Пегги. Раскаивался он и в том, что не поделился с Андерсеном воспоминаниями о своем появлении на сцене в день премьеры «Гая Домвиля». Притворяться уверенным в себе, чтобы сохранить лицо, было куда легче. Впро-

чем, едва ли он решился бы на откровенность, даже если бы его друг передумал и задержался на пару дней. Рассказ о прошлых неудачах не мог тронуть Андерсена, по-прежнему завороженного ожиданием собственного грядущего триумфа. Наверняка молодого человека изрядно поразила и озадачила бы причастность Генри к чему-то настолько катастрофическому, как провал «Гая Домвиля», и Генри тешился сознанием того, что на время визита Андерсена удержался от искушения открыться ему.

Его неприятно поразили нападки Андерсена на собственного отца и то, что скульптор с такой легкостью рассказывал о своих непростых отношениях с братом. Генри не ответил взаимностью и не выразил готовность обсуждать нескончаемые капризы Генри Джеймса-старшего или неизменную способность Уильяма причинять ему боль (в глазах Генри отец и брат заслуживали его преданности в первую очередь), так что не мог упрекнуть молодого человека в нечуткости.

И когда они встречались в Риме, и недавно, когда Андерсен гостил в Рае, скульптор то и дело упоминал о богатстве семейства Джеймс — без сомнений, наслушавшись об этом еще в Ньюпорте. Генри заметил, что Андерсена удивила

непритязательность гостиницы, в которой он остановился в Риме, и относительно скромные размеры Лэм-Хауса. Молодой человек был уверен, что Генри стал писателем из-за удовольствия видеть свои работы опубликованными, а не в силу необходимости зарабатывать себе на жизнь. А между тем до его приезда денежные вопросы были постоянной головной болью Генри, переплетаясь с раздражением от нежелания Уильяма выпускать из рук вожжи управления семейным имуществом и его неизменной склонности раздавать деловые советы, в которых никто не нуждался.

Владелец Лэм-Хауса некоторое время назад скончался, и вдова выставила особняк на продажу, оценив его в две тысячи фунтов. Если Генри не поторопится, дом может достаться кому-нибудь другому; от одной мысли, что здесь он сумеет, если пожелает, затвориться и повернуть ключ в замке и никто не будет вправе к нему войти, на душе делалось тепло. Совершить покупку следовало как можно скорее, а у него не было свободных денег. Гонораров, которые он получал за сборники рассказов и журнальные публикации, хватало на покрытие текущих трат. Однако проценты с капитала и дивиденды

с родительского наследства всецело контролировались Уильямом. Основную часть доходов составляла арендная плата от нескольких домов в Сиракьюсе — сами здания Генри обозрел лишь однажды и надеялся больше никогда в жизни их не видеть, но Уильям вроде бы управлялся с ними вполне благоразумно и успешно. Сообщив в письме Уильяму о своих планах, Генри не помышлял покушаться на основной капитал или закладывать сиракьюсскую недвижимость; он рассчитывал получить кредит в собственном банке и быстро погасить его за счет новых литературных гонораров.

Поскольку Уильям собирался в Европу, Генри пригласил его обосноваться со всем семейством в его квартире в Кенсингтоне, которую уже освободили временные съемщики, а потом приехать в Лэм-Хаус. На это великодушное предложение Уильям ответил, что имеет иные планы: они с Алисой отправятся в Германию, где ему предстоит курс лечения в Наухайме, и только после этого посетят Англию. Квартира в Кенсингтоне, судя по всему, ему была не нужна.

Отписав ему в Наухайм, Генри сообщил о своих планах купить Лэм-Хаус. Позже он решил, что объяснение было слишком многословным, точно

он был блудным сыном, который взывает к родителям, или, точнее, расточительным, погрязшим в грехах младшим братом, испрашивающим совета и помощи у старшего.

Он не просил у Уильяма ни денег, ни совета. С какой стати он вообще писал ему, вместо того чтобы купить Лэм-Хаус, не посвящая в свои планы никого, кроме управляющего своего банка, раскаивался Генри. Минутная слабость, вызванная лихорадочным возбуждением, имела неприятные последствия: брат разразился двумя письмами. В первом, неприятно-назидательном, тоном непревзойденного эксперта в области недвижимости Уильям сообщал ценные сведения о процентных ставках и о необходимости, заключая сделку, проявить непреклонность и хитроумие. А повстречав в Наухайме кого-то из знакомых, мельком видевшего Лэм-Хаус, Уильям написал повторно, чтобы предупредить: запрошенная цена, согласно полученным им сведениям, представляется ему неоправданно высокой, и, прежде чем Генри сделает глупость, ему следует проконсультироваться с кем-то из друзей, которые знают толк в таких делах.

На это Генри намеревался ответить, что вполне способен самостоятельно управляться со своими

делами и не нуждается в советах и контроле. И он был бы признателен, если бы Уильям прекратил обсуждать его намерения приобрести Лэм-Хаус по упомянутой цене или по любой другой цене не только с первым встречным, но и с ним, Генри, когда они увидятся вновь.

В подобном духе он написал несколько черновиков письма, а потом обнаружил, что, несмотря на первоначальное намерение держаться хладнокровного тона, объясняя ценность особняка и разумность запрашиваемой цены, слишком явственно демонстрирует намерение купить его во что бы то ни стало. Вдобавок он настаивал, что еще не до такой степени одряхлел, чтобы нуждаться в опеке. Он все еще обдумывал это послание, когда пришло письмо от его невестки, которая, с одобрения Уильяма, предлагала одолжить ему собственные деньги для покупки Лэм-Хауса. Он надменно уведомил брата и его жену, что, не нуждаясь от них ни в пенни, искренне благодарит Алису, но Уильям должен понять: намерение Генри заполучить Лэм-Хаус ничуть не зависит от поддержки брата, которой он никогда не искал.

Ни деловая хватка брата, ни его любезные советы никак не могут повлиять на его решение, и,

хотя зловещие прогнозы отравили ему радость предвкушения осесть в собственном доме, наверняка он справится с этим разочарованием. Он так редко хотел чего-то так, как хочет Лэм-Хаус, писал он брату, и уповает на то, что Уильям поймет его чаяния.

Он закончил письмо глубокой ночью, заклеил, не перечитывая, и оставил конверт в прихожей, чтобы Берджесс Нокс отправил его утренней почтой. Он знал, что его невестка Алиса руководствовалась самыми лучшими побуждениями, а советы Уильяма шли от чистого сердца, но подозревал, что оба страдают от глубоко укоренившейся потребности считать, будто он не в состоянии действовать вопреки их мнению. Им было бы куда комфортнее гостить под его кровом, если бы тот был приобретен на их условиях и с их помощью.

Уильям вновь написал брату, сожалея, что, как он выразился, «погладил его против шерсти», и предложил изъять определенную сумму из фонда недвижимости Джеймсов в Сиракьюсе. Это лишь усугубило обиду Генри, тлевшую после молчаливого отказа Уильяма поселиться в квартире в Кенсингтоне и его решения начать вояж с Германии. Уильям кичился положением семьянина,

человека практичного, не скомпрометировавшего себя беллетристикой, но выступавшего с популярными лекциями, — одним словом, эдакий трезвый истинный американец, в своем образе жизни и убеждениях представлявший полную противоположность рафинированному братцу; отказу снять его лондонские апартаменты Генри не находил разумных объяснений.

Чего Генри не учел в переписке, так это причин, побудивших его брата отправиться в Наухайм. Хотя профессор Джеймс упомянул о своем больном сердце и в одном из ответных писем Генри выразил свое сочувствие по этому поводу, он и не думал, что здоровью брата может угрожать серьезная опасность. Однако в октябре, когда после семилетней разлуки братья встретились на станции, Генри был потрясен тем, до чего ослабел Уильям, хоть и постарался скрыть это первое впечатление.

Уильям сошел с поезда с таким видом, как будто только что очнулся от глубокого сна. Он не видел Генри и не делал попыток разыскать брата в небольшой толпе встречающих, а стоял на перроне, ожидая, пока его жена выйдет из вагона. Когда Берджесс Нокс принял на себя заботы о багаже, Уильям наконец увидел Генри и, мгновенно

отбросив старческую немощь, бодро двинулся к нему. Обнявшись с братом, Генри отметил, как осунулось его лицо, затем к ним присоединилась Алиса, и они принялись следить за тем, как их вещи грузятся на тележку. Уильям настоял на том, что сам понесет один из чемоданов, хотя Алиса возражала, а Генри доказывал, что в тележке полно места и Берджесс Нокс, вопреки свой внешности, посрамит любого спортсмена-чемпиона. Берджесс покончил со спорами, водрузив чемодан на тележку, и покатил вперед.

Тогда Уильям остановился, внимательно посмотрел на Генри и снова улыбнулся. Генри оценил его необыкновенное лицо, точно видел брата в первый раз. Лицо это было открытым и пытливым, взгляд переходил с предмета на предмет, как будто ему требовалось учесть и взвесить множество противоречивых факторов, прежде чем принять окончательное решение. Было что-то пленительное в том, как проявлялся его блестящий ум. В его взоре смешивались вызов и веселье, в глазах и в чертах лица проявлялись вдумчивость и сочувствие, было видно, что ему не привыкать к решению самых сложных вопросов и он готов это делать с уверенностью, не теряя остроумия и ясности мысли. Он не просто

не походил на американца, но даже не был похож на настоящего члена семьи Джеймс. Казалось, он сам вылепил свое лицо и придал его чертам жизнь. По мнению Генри, понять Алису было проще, она была красива, следила за собой, ее доброта не скрывала и не приуменьшала ее ума, но эмоциональные привязанности всегда были у нее на первом месте. Еще когда они были на полпути к холму, Генри почувствовал, что они явились словно бы в роли родителей — отец слегка рассеян, занят мыслями о делах, мать добродушно улыбается. Теперь он не сожалел, что так категорично объявил им о покупке Лэм-Хауса, и надеялся, что на время своего пребывания здесь они воздержатся от критических замечаний в отношении дома и его хозяина.

Было очевидно, что Алиса заранее настроилась на то, что Рай придется ей по душе, и потому тщательно выбирала выражения, чтобы они не звучали слишком восторженно и сумбурно. Она говорила о красоте старинного местечка и о том, что Лэм-Хаус сочетает преимущества деревенского поместья и удобства городской жизни. И когда особняк открылся их взорам, Уильям согласился с этим определением. Хотя погода и установилась, сад сейчас не в лучшем виде, оправдывался

Генри, им стоило приехать летом, чтобы оценить его красоту. Не успели они переступить порог дома, как он продемонстрировал Уильяму его временный кабинет, затем проводил гостей в их спальню, по дороге заглянув в комнату, где будет спать их дочь, которая должна была приехать позже. Затем он повел их осматривать столовую, нижнюю гостиную, садовый кабинет, который скоро погрузится в зимнюю спячку, кухню и подсобные помещения. Он познакомил их со слугами и опять повел наверх, чтобы они увидели его спальню, а затем верхнюю гостиную, которая была самой большой комнатой в доме, — хотя, разумеется, Уильяму и Алисе, привыкшим к масштабам бостонских и кембриджских помещений, все здешние комнаты могут показаться крохотными.

Он показывал им Лэм-Хаус, как будто они были потенциальными покупателями, и дом удостоился благосклонных похвал. За ужином Генри взбрело в голову, что, даже если бы сюда вновь ворвались Смиты, пьяные и безалаберные, Алиса и тогда бы нашла добрые слова о персонале Лэм-Хауса и здешних порядках, а Уильям, как полагается мужу, согласно кивал бы.

Назавтра после обеда, когда посуду уже убрали

со стола, Алиса Джеймс закрыла дверь столовой и спросила Генри, не могли бы они втроем поговорить так, чтобы их никто не беспокоил, — это очень важно. Генри разыскал в коридоре Берджесса Нокса и попросил его позаботиться о том, чтобы в столовую никто не входил. Когда он вернулся в комнату, Алиса сидела за столом, положив перед собой руки с переплетенными пальцами, а Уильям стоял у окна. На их лицах лежала печать серьезности. Генри не удивился бы, появись в эту минуту семейный поверенный, дабы огласить длинное и запутанное завещание.

— Гарри, — сказала Алиса, — мы нашли другого медиума, миссис Фредерикс. Мы уже были у нее несколько раз, а первый раз я посетила ее одна, и я абсолютно уверена: она не знала, кто я такая, и ничего обо мне не слышала.

— А потом я сопровождал Алису, и в общей сложности мы провели четыре сеанса, — подключился к разговору Уильям.

— Мы думали написать тебе уже после первого сеанса, но потом решили подождать и рассказать обо всем, когда приедем в Англию. Гарри, твоя мать выходила с нами на связь.

— Она общалась с нами посредством миссис Пайпер, — перебил Уильям, — мы в этом уверены.

Но теперь в ее сообщениях содержалось нечто глубоко личное.

— Она почивает в мире? Мама обрела покой? — спросил Генри.

— Она обрела покой, Гарри, и она присматривает за всеми нами, — сказал Уильям. — Сквозь таинственную вуаль между ее обителью и здешней, из ослепительного белого сияния, лежащего за пределами нашего мира.

— Она хотела, чтобы ты знал: она обрела покой, — сказала Алиса.

— А она что-нибудь говорила о нашей сестре? — спросил Генри.

— Нет, об Алисе она не упоминала, — ответил Уильям.

— А что насчет Уилки или отца? — продолжал Генри.

— Ни на одном из сеансов она не упоминала никого из умерших, — веско сказал Уильям.

— Тогда что же она говорила? О чем были ее послания?

— Она хотела, чтобы ты знал: ты не один, Гарри, — сказала Алиса и устремила на Генри серьезный взгляд; он помолчал.

— Значит, ее сознание не угасло, — наконец произнес он.

— Она упокоилась в мире, Гарри, — повторила Алиса. — Она хочет, чтобы ты это знал.

Уильям пересек комнату и сел за стол. Теперь Генри ясно видел, как осунулось его лицо и запали глаза, излучавшие тем не менее какое-то скорбное сияние.

— Наш медиум описала этот дом, а ведь о многих вещах она просто не могла ничего знать. Вчера, когда мы шли через эти комнаты, мы постоянно находили этому подтверждение.

— Гарри, — сказала Алиса, — она описала вон тот бюст на каминной полке.

Взоры всех троих устремились на портрет молодого графа работы Андерсена.

— А в передней комнате было нечто еще более странное, — продолжала Алиса, — какой-то безлюдный пейзаж.

Генри внезапно вскочил и принялся расхаживать по комнате.

— Не знаю, заметил ли ты вчера, как внимательно я изучила эту картину. Гарри, и это потому, что медиум описала ее очень подробно. Она сказала, что этот пейзаж имеет для тебя особое значение, но, когда я спросила тебя вчера, откуда эта картина, ты ничего не ответил.

— Она принадлежала Констанс Фенимор Вул-

сон, — сказал Генри. — Я привез ее из Венеции. Это единственная память о ней в этом доме.

— Миссис Фредерикс описала эти комнаты, окна, цвет обоев и штор, но эти два произведения искусства — бюст и картина — имеют для тебя особенное значение, — сказала Алиса. — Мы должны верить ей, Гарри, мы должны верить.

Генри подошел к двери, открыл и какое-то время стоял на пороге, пока в коридоре не появился Берджесс Нокс, — тогда он снова отступил в комнату. Уильям и Алиса сидели за столом и не сводили с него глаз.

— Мне нужно немного побыть одному, — прошептал Генри.

Брат и невестка встали.

— Не подумай, что мы хотели… — начала Алиса.

— Все в порядке, — перебил ее Генри. — Все в порядке. Мне нужен день или два, чтобы все обдумать. Это большое потрясение, и, когда я буду готов принять мысль о том, что голос моей матери взывает к нам, обещаю, мы вернемся к этому разговору.

Днем он прошел пешком несколько миль, а вернувшись, быстро и молча направился в садовый кабинет, но не мог ни читать, ни писать, его

бил озноб. Как бы ему хотелось, чтобы теперь, доставив ему сообщение из загробного мира, Уильям и Алиса просто уехали! Однако, когда все они вновь встретились за ужином, он испытал к ним прилив необыкновенной нежности. Брат и невестка, действуя в полном согласии, были прекрасными собеседниками, которые приберегли для него множество забавных историй об их общих друзьях. Он слушал, как Уильям весьма живо, рассудительно и с большим знанием дела рассказывает о взлете Оливера Уэнделла Холмса, и как поживают Джон Грей и Сарджи Перри — оба, по словам Уильяма, раньше срока состарились, — и чем занят Уильям Дин Хоуэллс, которым брат до сих пор восхищался. Многие эти анекдоты уже приближались к обычному злословию, но безошибочное чутье Уильяма помогало ему вовремя исправить ситуацию метким замечанием, и это вызывало у Генри неподдельный и искренний восторг.

Отправляясь на покой тем вечером, он пожалел, что с ними не было его сестры Алисы; ему бы понравилось слушать, как она вышучивает эту парочку, грозную в своем супружеском согласии, — казалось, что они с улыбкой протягивают руку всему миру, а на деле, словно

мощный гарнизон, ежесекундно готовы отразить вторжение любого незваного пришлеца. Хотелось бы послушать мнение сестры, которая, как он знал, презирала всех медиумов и считала спиритизм полнейшей чепухой. Ему доводилось читать дневник Алисы, в котором она частенько прохаживалась на счет братца и его жены. Их увлечение оккультизмом Алиса считала вульгарным занятием, сродни идолопоклонству. Она ясно давала им это понять, однако он скрыл от брата и невестки, что, когда они попросили у Алисы ее локон, дабы провести опыт во время очередного сеанса, она немилосердно их разыграла, послав прядь волос своей покойной приятельницы. Отчеты с этих сеансов доставили ей немало удовольствия, а Уильям и его жена, насколько Генри мог понять, до сих пор и не догадывались о том, как их провели, такими мощными и продуманными были бастионы, возведенные, чтобы защитить их самоуважение и новую веру. А вот сам он до сих пор не знал, во что же верить. Сейчас ему казалось разумным слушать да помалкивать, стараясь воздерживаться от лишних реплик.

Уильяму понравилась небольшая комната на первом этаже, отведенная под его кабинет, а в саду он облюбовал укромное местечко, где мог

погреться на солнышке и почитать в часы после завтрака. Уильям и Алиса много прогуливались в окрестностях Рая в компании пса Максимилиана и быстро примелькались в городских заведениях, где во второй половине дня пили кофе и покупали пирожные, чтобы полакомиться ими в Лэм-Хаусе. Уильям ходил неторопливо, как будто погруженный в глубокие раздумья. Сперва Генри не придавал особого внимания тому, что Алиса старается все время держать мужа в поле зрения. Если Уильям сидел в саду, она усаживалась у окна с видом на сад, а если он находился в своем временном кабинете, она держала дверь в коридор открытой, чтобы услышать его шаги. Если Уильям намеревался выйти на прогулку, Алиса тут же натягивала пальто, даже если он выражал робкое желание прогуляться в одиночку или если Генри был готов сопровождать брата. Однако со временем эта постоянная настороженность, бдительная слежка его невестки за мужем стала казаться Генри не вполне нормальной, а Уильям уже не скрывал своего раздражения. Алиса ранее никогда не грешила назойливостью, напротив, слыла воплощением такта, и Генри уже не чаял дождаться, когда прекратится эта навязчивая опека.

Но когда брат с женой прогостили в его доме дней десять, до него внезапно дошло, почему невестка смотрит на Уильяма с такой тревогой и заботой. Как-то после завтрака он читал в верхней гостиной и ненадолго подошел к окну, как часто поступал в те часы, когда его брат сидел в саду. Алиса стояла рядом с мужем, а тот, закрыв глаза, прижимал руки к груди и явно испытывал приступ мучительной боли. Лицо невестки Генри не мог разглядеть, но по ее жестам можно было понять, что она в растерянности и не знает, следует Уильяму вернуться в дом или оставаться на месте и не двигаться. Когда она повернулась, готовясь обхватить Уильяма за плечи, Генри со всех ног поспешил в сад.

Вскоре он узнал, что сердце Уильяма не в порядке и что в Наухайм он ездил вовсе не за тем, чтобы избежать гостеприимства брата. Уильям был болен. Алиса, беспрерывно наблюдавшая за мужем на случай, если произойдет сердечный приступ, сообщила Генри, что подобный приступ вполне может закончиться летальным исходом. Уильяму еще не было шестидесяти.

Отправляясь на следующий день поездом в Лондон, чтобы проконсультироваться с лучшим в стране специалистом по сердечным заболева-

ниям, Уильям настоял на том, что в пути будет читать и делать заметки, решительно отказался закутать колени пледом и пообещал брату и жене, что, если они будут настаивать и смотреть на него с такой жалостью и беспокойством, он немедленно покинет этот мир, завещав все свое состояние кошачьим и собачьим приютам.

— И имейте в виду, я намерен стать весьма назойливым призраком. Медиум вам не понадобится, я буду лично являться и преследовать вас.

Алиса даже не улыбнулась, с каменным лицом глядя в окно вагона. Генри подумал, не рассказать ли им сейчас о пряди волос его сестры — что, если эта история разрядит обстановку, скрасит их путешествие? — но тут же понял, что эффект будет прямо противоположным. Хотя Уильям и был способен шутить на подобные темы, он не допускал легкомысленного отношения к миру духов. В атмосфере предельной серьезности, созданной его братом и невесткой и, кажется, сгустившейся с болезнью Уильяма, эта история была бы воспринята как кощунство.

Доктор Безли Торн, который на Харли-стрит[67] зарекомендовал себя лучшим специалистом в

[67] Сноски: 67

В описываемое время на Харли-стрит в Лондоне находились приемные самых известных врачей.

тонкой механике человеческого сердца, был, по мнению Уильяма, слишком молод для своей блестящей репутации, но Генри и Алиса твердили, что зато он не заражен устаревшими предрассудками и полностью осведомлен о новейших достижениях медицины.

— Терпеть не могу молодых людей, не важно, медики они или нет, специалисты или невежи, — все они мне не по сердцу, — ворчал Уильям.

— Ты вовремя вспомнил о своем сердце, — сухо отвечала Алиса.

— Я имею в виду ту его часть, дорогая, которая осталась неповрежденной.

Доктор Торн пожелал осмотреть пациента без свидетелей и, выйдя через несколько минут из спальни кенсингтонской квартиры Генри, где лежал Уильям, сообщил, что Алиса и Генри теперь найдут профессора Джеймса куда более покладистым, согласным соблюдать режим и отказаться от продуктов, содержащих крахмал, да и вообще готовым, раз уж так сказал доктор, считать себя серьезно, тяжело и опасно больным; так что он должен выздороветь.

— Мои предписания ясны, — сказал доктор Торн, — он будет жить. Так я ему и заявил. А для этого он должен в точности выполнять, что веле-

но, и оставаться в Лондоне, пока я не скажу, что ему можно уехать. Он может читать, если хочет, но писать ему не следует.

Они поселились в квартире в Кенсингтоне, и Уильям сел на диету, а Алиса готовилась к приезду дочери Пегги. У них с Генри было достаточно времени для разговоров по душам.

Опасения за здоровье Уильяма не поколебали решимость Генри защищать свой образ жизни от возможной критики. Что касается его невестки, ее нюх на вещи, которые можно и нельзя обсуждать, был настолько обострен, что она сообщала лишь самые общие сведения, даже рассказывая о собственных детях, а подробности следовало выспрашивать отдельно. Но как-то вечером, когда Пегги наконец приехала из Франции и отдыхала с дороги, а Уильям уже уснул, Алиса вдруг заговорила о своей золовке, скончавшейся семь лет назад. Она заговорила о ней, с осторожностью подбирая слова, серьезным и задумчивым тоном. Упомянула, что Алиса относилась к ней с неприязнью, а в день их свадьбы с Уильямом сказалась больной.

Генри стало не по себе. Воспоминания о сестре с годами причиняли все больше горя, о ее мучениях он был способен говорить лишь со скорбью

и состраданием. Он понимал, что в случае открытого противостояния между двумя Алисами его собеседница одержала бы верх, а потому, на правах победителя, могла обсуждать поверженную противницу. Он быстро убедился, что невестка совершенно превратно понимает его отношения с сестрой и считает, что, приехав в Англию, Алиса Джеймс поставила его в ситуацию, подобную нынешней. О судьбе покойной Алисы и ее уникальном характере она рассуждала так, будто между ними с Генри нет никаких разногласий на этот счет. Алиса говорила буднично и сухо.

— Алиса Джеймс, — сказала она, — могла бы найти для своего остроумия лучшее применение, нежели терзать саму себя.

Генри подавил первое побуждение извиниться и покинуть комнату. Ему сдалось, что лучше промолчать и дать невестке возможность высказаться начистоту.

— И ведь ей всегда удавалось найти кого-то, кто был счастлив слушать ее и заботиться о ней, — продолжала она. — Ваша бедная тетя Кейт была недостаточно покладиста, поэтому Алиса приехала в Англию.

Генри подумал, что невестка не может не чувствовать, как неуютно ему обсуждать такую

тему, — но, может, именно это и вынуждает ее продолжать. Подозрение было настолько причудливым и маловероятным, что он с трудом мог поверить своим мыслям и лишь изумленно смотрел на нее. Но, желая прояснить до конца мотивы ее откровенности, он решил не переводить разговор на другую тему и не выходить из комнаты, а выслушать все, что она хочет сказать, держа себя в руках и храня ледяное молчание.

— Мне всегда казалось, что Алиса и мисс Лоринг созданы друг для друга, — продолжала невестка. — Мисс Лоринг была сильной женщиной и нуждалась в слабом создании, о котором сможет заботиться. Знаешь, всякий раз, когда видела их вместе, я думала, что они самая счастливая пара в этом божьем мире.

Лицо Алисы при этих словах разрумянилось, в глазах вспыхнул огонь. Она более не была мудрой и рассудительной супругой Уильяма Джеймса, в нее как будто вселилась некая другая женщина, обладающая собственным разумом, и говорила ее устами, давая понять, что, если ее взгляды на то, как устроен свет, кого-то оскорбляют или шокируют, тем хуже для собеседника. Никогда ранее Генри не подмечал в невестке склонности к подобной откровенности и теперь гадал, бывает

ли она такой наедине с Уильямом. Поражало его и то, с каким интересом и необъяснимым болезненным любопытством он сам слушает ее речи.

— Я всегда говорила Уильяму, что Алиса и мисс Лоринг имели весьма веские причины поселиться в Англии вдали от всех родных и друзей. — (Генри недоуменно покосился на нее.) — Знаешь, Гарри, горничная рассказывала мне, что твоя тетушка Кейт не всегда стучалась в спальни, прежде чем войти, и я уверена, что в Англии мисс Лоринг и Алиса обрели такое счастье, о котором в Библии не упоминается.

Видя, как его невестка светится от счастья, упиваясь своей откровенностью, Генри понял, почему он так внимательно ее слушает. Быстро подсчитав в уме, он понял, что Алиса не могла быть знакома с Минни Темпл, но могла быть наслышана о ней. Минни обладала потрясающей способностью хладнокровно говорить на запретные темы в присутствии мужчин, а пленительное первобытное любопытство к тому, как устроен мир и каким он мог бы быть, разительно отличало ее от сестер и подруг. Разум Минни мог витать где-то в облаках, а затем порождать вопрос или замечание, от которых все присутствовавшие начинали судорожно подыскивать предлог, чтобы

выйти из комнаты, но ее очаровательная непосредственность лишала их такой возможности. И вот через тридцать лет после смерти Минни Алиса выказывает такой же азарт и мужество.

— Видишь ли, женщины в подобных делах не более свободны от подозрений, чем мужчины, — заключила она.

И Генри невольно задумался, не служит ли и его личная жизнь предметом столь же непринужденных обсуждений. Он вспомнил, с каким любопытством она расспрашивала его о визите Хендрика Андерсена, о котором она слышала в Бостоне, и об обязанностях, которые в Лэм-Хаусе выполняет Берджесс Нокс. Он уже обратил внимание, как пристально она следит за Берджессом, и спрашивал себя, уж не собирает ли она секретные материалы о жизни родичей своего мужа и их слуг. Он с трудом удержал улыбку, вообразив, как тетушка Кейт открывает дверь, чтобы застукать мисс Лоринг и Алису. Тут его невестка встала из-за стола, сказала, что отнесет чайник на кухню, а затем поднимется посмотреть, спит ли Уильям. Генри объявил, что сам отправляется в постель. Как ни в чем не бывало они пожелали друг другу спокойной ночи.

Вскоре Генри вернулся в Лэм-Хаус, а Уильям,

Алиса и Пегги оставались в Лондоне до тех пор, пока доктор Торн не отправил своего пациента в Малверн на лечение, от которого, по словам Уильяма, ему сделалось только хуже. В Лондоне стало холодно и неуютно, а о том, чтобы человек в состоянии Уильяма пересекал бурный Атлантический океан в это время года, не могло быть и речи, так что Уильям с женой и дочерью благодарно приняли предложение на время обосноваться в Рае. Когда Генри встречал их на перроне, чтобы отвезти в Лэм-Хаус, они выглядели такими счастливыми, что и он порадовался возможности провести с ними праздники.

Вопреки запретам врача, Уильям по утрам работал, а вторую половину дня отдыхал и ворчал на свои недуги. Он осыпал насмешками своего доктора и собственных родных, а также отпускал весьма ценные и содержательные замечания о человеческой природе в целом. Его дочь, по наблюдениям Генри, обожала отца и временами, к его удовольствию, тоже подшучивала над ним и его немощами.

Когда леди Вулзли прислала записку, что гостит в здешних краях, Генри затеял в ее честь обед в Лэм-Хаусе с целью развлечь Уильяма, не утомляя его, и позволить Алисе и Пегги насладиться зна-

комством с этим примечательным и редкостным образчиком английской женственности. Из осторожности, чтобы не напугать заранее невестку и племянницу, он не слишком-то много рассказывал им о леди Вулзли, но, как только они уяснили, что она не просто супруга главнокомандующего войсками ее величества, но еще и получила титул, так сказать, благодаря неким личным заслугам, Алиса со сладостным упоением погрузилась в хлопоты на кухне, действуя энергично и споро. В ожидании приезда герцогини, как неизменно называла леди Вулзли возбужденная Пегги, мать и дочь перемерили массу нарядов, а незадолго до торжественного события Алиса сводила Берджесса Нокса к местному портному, и тот, превзойдя себя, пошил новую ливрею в рекордные сроки, так что и Берджесс был достоин встретить «ее светлость» (Уильям предупредил дочь, чтобы она не вздумала называть так гостью в лицо).

Уличив Генри в том, что он снял со стены на лестничной площадке ветхий гобелен и заменил его пейзажем с изображением Рая, родные принялись поддразнивать его, мол, он пытается не ударить в грязь лицом перед герцогиней и избавляется от откровенного хлама. Он не стал

рассказывать, что купил гобелен в лондонской антикварной лавочке вопреки советам герцогини и втайне от нее, а теперь боялся ей признаться в этом дерзком и, вероятно, глупом поступке.

Леди Вулзли явилась в очень эффектном наряде — платье из алого шелка и черный плащ удлиненного покроя. Ее щеки были нарумянены, да и волосы, как показалось Генри, выглядели более рыжими и блестящими, чем когда-либо прежде. Блестящими были и ее манеры, и речи, ничего из сказанного Уильямом, Алисой или Пегги не могло сравниться с живостью ее отклика. Ее прибытие в экипаже точно к назначенному времени было подобно триумфальной грозе, а ожидая обеда в гостиной, она озаряла комнату, словно вспышка молнии.

— Мы все знаем, моя дорогая, — говорила она Пегги, чье голубое платье, кардиган и голубые ленты в волосах казались почти бесцветными в присутствии ослепительной гостьи, — что ваша страна славится демократией и за свою короткую историю облагодетельствовала мировую цивилизацию множеством даров, но самый ценных из них, уж будьте уверены, это ваш дядя. Он самый чудесный цветок вашей молодой страны, и, заметьте, он даже не отрицает эту общеизвестную

истину.

Генри смотрел на Уильяма, который тепло улыбался леди Вулзли, с мягкой иронией снисходя до беседы с ней.

За обедом их гостья задавала множество вопросов о Гарварде и Кембридже, интересовалась различиями между психологией и философией, а также жизнью молодых девушек в чудесной интеллектуальной среде, расцветшей в Соединенных Штатах. Ответы она выслушивала с неподдельным интересом, отпуская меткие замечания и умело поддерживая дальнейший ход беседы. Уильям, как заметил Генри, чуть ли не флиртовал с гостьей, а его дочь слушала ту с открытым ртом. Алиса смотрела на леди Вулзли в самом невозмутимом и счастливом расположении духа, наслаждаясь, не сомневался Генри, сознанием того, как долго теперь сможет обсуждать ее визит в разговорах с мужем и в письмах к матери.

Под конец трапезы Уильям пожаловался на суматошную светскую жизнь Лондона и заявил, что по сравнению с ней безмятежное существование в Кембридже было полнейшим блаженством. Он едва ли допускает мысль о том, что мог бы долго вынести такую нагрузку, сказал он.

— О да, так и есть. Вы совершенно правы, — сказала леди Вулзли. — Кембридж должен был показаться вам раем. — (Генри бросил взгляд на племянницу; та едва сдерживалась, чтобы не выбежать из комнаты в приступе нервного смеха.) — А лондонские театры! Какая нелепость, какое убожество! — продолжала леди Вулзли. — Это невозможно вытерпеть. Перед тем как бедный Генри гостил у нас в Ирландии, в Лондоне его замечательную пьесу встретили просто оскорбительно. Как вам известно, мой супруг командует армией. Я думаю, это был бы прекрасный повод велеть солдатам стрелять в толпу. Пусть скажут спасибо, что войсками командует он, а не я. — (Пегги извинилась и поспешно вышла из-за стола.) — Да, Англия ужасна, — разглагольствовала леди Вулзли. — Но с другой стороны, Ирландия, конечно, сильно изменилась, даже с тех пор, как мы ее покинули. Говорят, сейчас это самая мирная часть империи.

— Интересно, надолго ли? — спросил Уильям.

— О, мне сказали, что навсегда, — заверила леди Вулзли.

Уильям посмотрел на нее, подняв бровь, как будто один из его студентов дал неуместный ответ.

— Генри, в Лондоне я встретила вашу старинную приятельницу леди Грегори. Ее поместье находится в ирландской глубинке. Так вот, она утверждает, что в Ирландии нет никакого общественного возмущения. Более того, она по собственному почину начала изучать кельтский язык и говорит, что в нем множество красивейших слов и фраз. Она говорит, он очень старый, даже старше греческого и турецкого.

— Я полагал, что этот язык называется гэльским, — сказал Уильям.

— Нет-нет, «кельтским», — ответила леди Вулзли. — Леди Грегори заверила меня, что он кельтский, и мне очень жаль, что я не знала об этом, когда жила в Ирландии. Я бы сама выучилась ему и устраивала бы вечеринки в народном стиле.

Она улыбнулась Алисе и получила ответную улыбку. Генри заметил, что Уильям утратил всякую охоту любезничать с леди Вулзли.

— Я много путешествовал по Ирландии, — сказал он. — И считаю, что Англия в ответе за упадок этой страны.

— О, я совершенно с вами согласна, — отозвалась леди Вулзли. — И мой муж беседовал об этом на аудиенции с королевой, прежде чем мы

отправились туда, и оба они пришли к выводу, что, если бы сместить мистера Парнелла и не допускать никого другого на его место, все это фенианство благополучно сойдет на нет[68]. Вам следует наведаться туда сейчас или побеседовать с леди Грегори. По моему мнению, Ирландия совершенно преобразилась.

— Вы бывали в Соединенных Штатах? — спросила Алиса.

— Нет, дорогая, нет. И я бы с удовольствием поехала, — сказала леди Вулзли. — Очень хочу увидеть Дикий Запад. Я хотела бы туда поехать. — Она говорила с такой грустью, как будто невозможность совершить это путешествие является главной трагедией ее жизни, а когда Пегги вернулась в столовую, встретила ее появление теплой улыбкой. — Генри, как же я рада, что мы купили этот обеденный стол.

— Леди Вулзли оказала мне неоценимую помощь, когда я обставлял Лэм-Хаус, — пояснил Генри.

— Дорогой, нужно приобрести побольше ковров, — сказала леди Вулзли. — Невозможно

---

[68] Сноски: 68

Чарльз Стюарт Парнелл — см. с. 46. *Фении* — члены тайного ирландского националистического общества, устраивавшего заговоры, политические убийства и террористические акты.

встречать Новый год без новых ковриков. Я слышала, что в Лондон прибыли чудесные экземпляры, и должна снова осмотреть гостиную наверху — тогда решим, какие подобрать цвета.

— Да, поднимемся в гостиную, — кивнул Генри.

Когда они вышли в коридор, Генри столкнулся лицом к лицу с Хэммондом; в последний раз он видел его, когда гостил в Ирландии. Лицо Хэммонда изменилось, его глаза казались крупнее и нежнее. Он застенчиво улыбнулся Генри и посторонился, чтобы дать ему пройти.

— Вы, конечно, знакомы, я помню, — сказала леди Вулзли; Генри повел всех в гостиную, а Хэммонд остался в холле. — Да, — продолжала леди Вулзли, — Хэммонд все еще с нами, он состоит в личной охране лорда Вулзли.

Леди Вулзли села у окна, Алиса и Пегги расположились на диване. Уильям с мрачным лицом стоял у камина.

— Мы так скучаем по Ирландии, мистер Джеймс, — обратилась к нему леди Вулзли. — Мы вывезли оттуда Хэммонда и двух садовников, Кейси и Лири, все наши гости их просто обожают. Я вечно говорю: не думайте, что они и впрямь такие очаровашки, не тут-то было, но, право же,

они так мило разговаривают.

Не дожидаясь, что на это ответит его брат, Генри потихоньку вышел из комнаты и медленно спустился по лестнице. Хэммонд все еще стоял в коридоре, словно поджидая его.

— Не знал, что вы вернулись в Англию, — сказал Генри.

— Да, сэр, я последовал за его светлостью и иногда сопровождаю в поездках ее светлость. — Его голос звучал все так же покойно и ровно, что наполнило Генри теплым облегчением.

— Я так рад, что вы увидели мой дом, — сказал Генри. — Надеюсь, о вас позаботились.

— Ваш парнишка, сэр, проследил, чтобы меня хорошо покормили, — ответил Хэммонд и, поскольку Генри не сводил с него глаз, начал заливаться краской под этим пристальным взглядом. Он, казалось, помолодел с тех пор, как Генри познакомился с ним в Ирландии пять лет назад.

— Я хотел бы показать вам сад и свой садовый кабинет, — сказал Генри.

— Правда, сэр? — мягко спросил Хэммонд.

— Летом здесь, конечно, лучше, — сказал Генри, проходя через столовую и открывая двери в сад; воздух был сухим и прохладным. — Как поживает ваша семья в Лондоне?

— Очень хорошо, сэр.

— А ваша сестра здорова?

— Как чудно, что вы о ней вспомнили, сэр. Она в добром здравии.

Они медленно прошлись по саду. Всякий раз, стоило Генри заговорить, Хэммонд останавливался, словно хотел как можно внимательнее его выслушать.

— Вы должны приехать летом, когда сад будет цвести, как ему полагается, — сказал Генри.

— Мне бы очень этого хотелось.

Генри повернул ключ в замке садового кабинета, и они вошли. Ему показалось, что оба они вторглись на какую-то полузапретную территорию, но когда он повернулся и увидел лицо Хэммонда, то понял, что молодой человек не чувствует ничего подобного. Его интересовали письменный стол, бумаги, книги. Затем он подошел к окну, чтобы полюбоваться видом.

— До чего красивая комната, сэр.

— Зимой здесь холодно, слишком холодно, чтобы тут работать, — сказал Генри.

— Но летом вы, должно быть, счастливы здесь, сэр, — ответил Хэммонд и подошел к стеллажу с книгами. — Я читал некоторые ваши книги, сэр. Одну я прочел трижды.

— Одну из моих книг?

— «Княгиню Казамассиму», сэр. Мне казалось, что я живу в этой книге. Все эти лондонские улицы — я так хорошо их знаю. И моя сестра тоже. Это намного лучше Диккенса, сэр.

— Вам нравится Диккенс?

— Да, сэр. Я люблю «Тяжелые времена» и «Холодный дом».

Хэммонд повернулся и начал внимательно рассматривать книги; чтобы увидеть стоявшие на нижних полках, ему пришлось опуститься на колени.

— Простите, сэр, некоторые из них я и не видел никогда.

Он никак не соглашался принять книги в подарок, пока Генри не доказал ему, что они имеются в его библиотеке в нескольких одинаковых экземплярах. Наконец после долгих уговоров он позволил отложить для него три томика. Генри чувствовал, что ему не хотелось бы объяснять леди Вулзли, что за сверток он прихватил с собой. Хэммонд написал свой лондонский адрес четким разборчивым почерком, и Генри пообещал отправить книги почтой.

— И я ничего не скажу ее светлости, — сказал Генри.

Хэммонд благодарно улыбнулся:

— Я тоже, сэр.

Когда они подошли к тому месту в саду, где Генри предполагал построить новую оранжерею, Генри заметил, что за ними с беззастенчивым любопытством наблюдает леди Вулзли. Она, Уильям, Алиса и Пегги — все стояли у окна в гостиной. Леди Вулзли указывала на что-то в саду и, встретившись глазами с Генри, помахала рукой. Поклонившись ей, он заметил, что его брат не может отвести ошеломленного взгляда от них с Хэммондом. На выражения лиц невестки и племянницы он внимания не обратил.

Он не сомневался, что все последующие дни брат и его семья без конца будут обсуждать визит леди Вулзли, но в то время, как Алиса и Пегги казались очень воодушевленными, настроение Уильяма испортилось. Генри мог лишь гадать, что еще сболтнула леди Вулзли, когда он уже покинул гостиную, но и того, что он слышал, было более чем достаточно. Прощаясь со всеми, пока Хэммонд маячил на заднем плане, она напоследок с предельной ясностью обозначила свое восхищение Генри, как бы утверждая на него свои права. Он отметил, что ее приглашение навещать ее в ее поместье и в Лондоне не рас-

пространялось на его родных. По ее поведению было ясно, что она не считает Уильяма Джеймса и его семью людьми, заслуживающими внимания, и такое отношение, вкупе с ее взглядами на ирландский вопрос, как он подозревал, весьма разозлило Уильяма.

По мере приближения Рождества Алиса и Пегги ощутили сентиментальную потребность в старомодном уюте и начали хлопотать над устройством праздника в истинно американском духе, не отдавая себе отчета в том, до какой степени эти обычаи их родины следуют английским. Уильям читал, спал и говорил достаточно, чтобы не привлекать чрезмерного внимания к своему здоровью, внушавшему серьезное беспокойство. Однажды после обеда, когда Алиса и Пегги были чем-то заняты на кухне, он попросил Генри задержаться в столовой для беседы. Генри тут же плотнее закрыл дверь, вернулся и сел за стол напротив брата.

— Гарри, знаю, я уже говорил тебе, что я думаю о твоем упорном нежелании возвращаться в Америку, рассказывал, как сильно наше общество нуждается в собственном хроникере и бытописателе. Думаю, еще не скоро у нас появится второй автор с таким же острым глазом и таким же глу-

боким мировоззрением.

— Скажите пожалуйста, — с улыбкой пробормотал Генри.

— Но не думаю, что ты сможешь обрести себя в этой стране, — строго сказал Уильям. Произнося свою речь, он смотрел в окно, словно репетировал какое-то выступление или проповедь. — Не думаю, что такие произведения, как «Трофеи Пойнтона», «Неудобный возраст» или «Другой дом», достойны твоего таланта. У англичан нет духовной жизни, только материальная. Единственная тема здесь — классовый статус, а ты в этом ничего не понимаешь. Единственное стремление, которое ценится здешним обществом, — погоня за наживой, а ты и в этом ровным счетом ничего не смыслишь. Тебе чужда сама механика английской жадности — механика, которую так хорошо чувствовали Диккенс, Джордж Элиот, Троллоп и Теккерей. В Англии никто не занимается поисками истины.

— И слава богу, — вставил Генри.

— Короче говоря, — Уильям решил проигнорировать его замечание, — я полагаю, ты никогда не сможешь здесь укорениться. И, по моему мнению, постоянные попытки как-то драматизировать эту социальную пресность угрожают твоему стилю

вырождением. Более того, пострадает и содержание твоих книг, они утратят огонь вдохновения.

— Спасибо, что поделился своими мыслями, — сказал Генри.

— Гарри, я с удовольствием читаю твои книги и восхищаюсь ими.

— Но тем не менее считаешь, что лучше бы мне сидеть дома и, — Генри поднял руку, чтобы Уильям не мог его прервать, — посвятить себя бытописанию презревших чистоган бостонских интеллектуалов. Вот, по твоему мнению, достойная задача для литератора.

— Гарри, в твоих последних вещах мне приходится перечитывать каждое предложение дважды, чтобы понять, о чем вообще речь. В наш век бесчисленных новых книг и торопливого чтения тебе грозит опасность остаться непрочитанным и забытым, если ты будешь придерживаться подобного стиля изложения и подобных тем.

— Что ж, я постараюсь в дальнейшем писать так, чтобы тебе угодить, — ответил Генри, — но, если в твоем понимании это означает подражать тем авторам, которыми, как я слышал, ты восхищаешься, я скорее соглашусь сойти в бесславную могилу, нежели унижусь до чего-то подобного.

— Никто не говорит, что тебя ждет бесславная могила, — сказал Уильям. — Но у меня есть к тебе конкретное предложение: создай роман, который так и просится, чтобы его написали, над которым будут ломать копья критики, который сметут с книжных полок и будут читать с упоением.

— Так ты полагаешь, мне нужно написать большой роман?

— Да, и не о знатных англичанах, а об Америке и американцах, о том, в чем ты разбираешься и что ты любишь.

— Ты говоришь очень уверенно.

— Конечно, я много над этим думал. Этот роман должен быть посвящен нашей американской истории, а не мелкотемью английских манер, как бы ни были те заманчиво дурны. Роман о «пуританских отцах», как называл их когда-то…

Генри встал и подошел к окну, Уильям был вынужден повернуться в его сторону. Генри чувствовал, что словно бы укрепил свои позиции, захватив последние солнечные лучи, в то время как Уильям произносит свои реплики из сгущавшейся тени.

— Могу я тебя прервать? — спросил Генри. — Или это лекция и нам придется ждать звонка?

Уильям развернул кресло и, казалось, был го-

тов продолжать свою речь, как только у брата закончатся аргументы.

— Хочу положить конец этому разговору, заявив без обиняков, что, по моему мнению, жанр исторического романа безнадежно пропитан дешевым душком, и если уж ты так жаждешь от меня чисто американской прямоты в духе нашего века торопливого чтения, как ты его называешь, могу я откровенно высказаться насчет книги о пуританских отцах?

— Сделай милость, я ведь все равно не смогу тебя остановить, — кротко сказал Уильям.

— Буду немногословен. Подобная книга — это просто чушь собачья! — И Генри улыбнулся брату ласково, почти покровительственно.

За ужином его осенило: Уильям отважно взялся за его литературное перевоспитание, не посвятив в свои планы Алису. Глаза брата заметно воспалились, отчего встревоженная Алиса принялась настаивать, чтобы он поменьше читал и побольше спал, а Уильям был вынужден играть роль капризного и непослушного пациента. Уильям принялся бесцельно бродить по Лэм-Хаусу. Генри никогда не мог быть уверен, в какой комнате он его застанет или даже в какое время дня и ночи под ногами его брата в спальне или на лестнице

беспокойно заскрипят половицы.

Он понял, что Уильям намеревается заполнить Лэм-Хаус своим присутствием и, следуя лишь ему ведомой системе, подчинить дом своей власти, — к примеру, тот не оставлял вежливых, но настойчивых попыток изменить время приема пищи и способ подачи блюд. Уильям уже начал досаждать Берджессу Ноксу и прочим слугам. Пока не вмешалась Алиса, он заставлял их передвигать мебель в гостиной и даже попросил Берджесса Нокса убрать с каминной полки раздражавшие его безделушки.

Генри избегал брата; видя, что тот сидит в гостиной или в одной из комнат на первом этаже, он старался тут же уйти, не обнаружив своего присутствия. Алиса по-прежнему не выпускала Уильяма из-под надзора. Хотя теперь она редко сидела с мужем в одной комнате, она всегда старалась найти себе какое-то занятие неподалеку. Пегги же с головой ушла в чтение, поглощая один классический роман за другим. Покончив с Джейн Остен, она взялась за «Женский портрет». Генри с насмешливым изумлением обнаружил, что ее отец и мать дружно и без обиняков не одобрили ее выбор, но на следующий день выяснилось, что их мнение Пегги проигнорировала.

Она уже слишком далеко продвинулась, пояснила она родителям, чтобы бросить книгу, не узнав, чем она заканчивается. Ну а если встретится предложение или абзац, недоступный ее пониманию или не вполне для нее подходящий, она просто-напросто его пропустит. Она ведь уже почти взрослая, с гордостью добавила она. И без тени смущения выслушала Генри, утверждавшего, что по сравнению с кузинами Эммет, которые и говорить-то толком не умеют, она самая образованная юная леди из всех, кого он знает.

Генри вспоминал, как Уильям, взяв академический отпуск в год смерти их матери и поселившись вместе с братом в Лондоне, излучал то же непостижимое недовольство укладом их лондонской жизни, распространяя это раздражение даже на предметы обстановки. И Генри позволял ему диктовать, куда ему ходить и с кем встречаться, и, к полному удовлетворению брата, предоставил его ведению все хозяйственные вопросы.

Он вспомнил, как во время этого визита Уильяма оба они узнали, что отцу уже недолго осталось жить. В телеграмме родные сообщали, что у их отца размягчение мозга, и притом настаивали, что Уильяму не следует сейчас возвращаться в

Штаты. Это было в декабре. Алиса, жена Уильяма, гостила у своей матери, которая помогала ей присматривать за ее двумя младшими сыновьями. А другая Алиса, сестра Уильяма и Генри, вместе с тетушкой Кейт ухаживала за их отцом. На сей раз обе Алисы были единодушны: они не желали возвращения Уильяма. И так же сильно хотели, чтобы рядом с ними был Генри. В телеграмме они писали, что отец может прожить в таком состоянии еще много месяцев, а поскольку Уильям отказался от своей кембриджской квартиры, ему придется по возвращении сидеть в четырех стенах, без лекций в Гарварде и каких-либо иных занятий. Будет куда лучше, если он закончит свой академический отпуск в Европе, наслаждаясь досугом, новыми знакомствами, научными трудами и чтением. Телеграмма ясно давала понять, что Генри был бы им чрезвычайно полезен, в то время как Уильям никак не может скрасить последние дни отца, страдающего размягчением мозга, ведь они будут не в состоянии примирить свои противоречивые взгляды на человеческий дух и смысл жизни и достигнуть наконец согласия.

Генри отплыл в Нью-Йорк один и, уже ступив на родной берег, узнал, что похороны отца состо-

ялись в тот же самый день. Ему оставалось лишь выслушать рассказы о том, как тихо и мирно отошел его отец, поселиться в доме, где недавно гостила смерть, и ознакомиться с отцовским завещанием. В последующие годы он не позволял себе предаваться размышлениям: почему родные решили опустить отца в мерзлую землю, не дождавшись его, Генри, не позволив ему даже присутствовать на похоронах, в последний раз коснуться застывшего отцовского лица, ведь он был уже так близко!

Он понял, что это произошло по настоянию его сестры Алисы, но не стал протестовать или обижаться, ошеломленный тем, как быстро она захватила бразды правления в семье, где ей никогда не позволяли ничего решать. Спустя несколько недель после похорон он понял, зачем сестра так отчаянно стремилась подольше задержать Уильяма в Англии, зачем настаивала, чтобы больной Уилки оставался в Милуоки, а Боб поскорее туда вернулся. В присутствии Уильяма Алиса Джеймс не смогла бы так раздражаться тетушкой Кейт и открыто ей грубить, ведь между ними встал бы Уильям, поскольку тот целиком и полностью завладел бы вниманием родных, и триумф Алисы над теткой не был бы столь

безграничным. Вдобавок при Уильяме Алиса поостереглась бы столь откровенно липнуть к мисс Лоринг, а та не рискнула бы обращаться с ней на глазах у всех членов семейства Джеймс настолько вольно, пока Алиса к ней не переехала.

Будучи в Бостоне, Генри ничего не сделал, чтобы ускорить возвращение Уильяма. Ведь Уильям, даже пальцем не шевельнув, принял бы на себя роль отца. И Генри не смог бы наслаждаться уютным молчанием наедине с любимой тетушкой Кейт. Он не мог бы спать в отцовской постели (почему-то Генри чувствовал, что это его долг) и не мог бы вступить во владение опустевшим домом так же полно и с таким же открытым сердцем, как сейчас, когда Уильям был за тридевять земель.

Тот факт, что именно он, а не Уильям, был душеприказчиком отца, никак не мог прийтись брату по душе. И вряд ли письма Генри, в которых он сообщал все, что ему было известно о последних днях отца, а также передавал искренние соболезнования от старых друзей, вроде Фрэнсиса Чайлда и Оливера Уэнделла Холмса, могли утешить Уильяма, знавшего, что брат занимается семейными делами, не спрашивая его совета.

Примерно через неделю после похорон отца пришло письмо. Оно было написано рукой Уи-

льяма и адресовано Генри Джеймсу. Так как Генри ждал весточки от брата, он и подумать не мог, что письмо предназначалось отцу, пока не вскрыл конверт. Лишь прочтя первый абзац, он понял свою ошибку, хотя, как он заметил впоследствии, письмо начиналось обращением «Дорогой отец!». Несколько дней он держал это послание при себе, никому о нем не рассказывая, а воскресным утром, в последний день уходящего года, снежный и бессолнечный, в одиночестве пробрался по сугробам в тот уголок кладбища, где покоились рядом его родители. Убедившись, что никто за ним не наблюдает, он подошел к могиле. Он надеялся, что его приход принесет родителям то посмертное облегчение, которого он всегда им желал, что каким-то образом им станут ведомы глубокая благодарность и искренняя скорбь, которые он сейчас испытывает. Он вынул из кармана письмо Уильяма и твердым голосом начал читать его вслух призраку старика, которому оно было написано. Но по мере того, как слезы все чаще наворачивались на глаза, он понизил голос до шепота, несколько раз ему приходилось останавливаться и закрывать лицо руками, ведь эти слова, выраженные с такой нежностью, растрогали его больше, чем собственные слова или

любые слова об отце, которые он слышал со дня приезда. Он заставил себя читать дальше:

> Что же касается того, что происходит на той, другой стороне, и вашей встречи с матушкой, и всех иных возможных встреч, я не в силах ничего сказать. Сильнее, чем когда-либо, я сейчас чувствую, что, если все это правда, значит все предрешено и улажено, и это чувство переполняет меня, когда я прощаюсь с тобой, уходящим из яркого краткого дня в бесконечный покой ночи. Спи спокойно, мой святой старый отец! Если мне больше не суждено тебя увидеть – прощай, и прими мое благословение на прощание!

Генри почувствовал, как где-то в недрах промерзшей земли дух отца задержался, чтобы дослушать его, и ему хотелось, чтобы письмо на этом не оканчивалось, чтобы отдалился этот миг тоскливого молчания, когда он в полной тишине покинет родителей в месте, которое отныне считал священной обителью прощения и покоя. Он ненавидел холодное бесплодие зимы, его тяготил звук собственных шагов по ледяному панцирю, сковавшему дорожки.

С кладбища он направился в дом, где сейчас жила его невестка, над головой которой дамокловым мечом висела угроза несвоевременного возвращения Уильяма. Алиса продемонстрировала, в какой тесноте они живут. В глубоком отчаянии она рассказывала, какую невыносимую усталость испытывает после всех этих дней и ночей, когда ей приходилось ухаживать за больным свекром, сменяя золовку и тетушку Кейт у его изголовья, и как ее собственные дети требуют неустанного внимания. Она сказала, что страшно измучена и присутствие расстроенного мужа в этих маленьких комнатках будет для нее невыносимым. Генри пообещал еще раз написать Уильяму. Он едва не признался невестке, что отлично понимает, каким бременем может обернуться для кого угодно общество Уильяма, подавленного потерей и пребывающего в праздности, но эмоциональный накал, с которым на этот счет высказывалась Алиса, огорошил его, до того не похоже это было на отношение его матери к отцу, и он ничего ей не сказал.

В тот вечер Генри сел за отцовский стол и описал Уильяму то, что делал сегодня на кладбище, рассказал, как благоговейно передал прощальный привет брата духу их отца. Затем

он постарался убедить Уильяма в нецелесообразности его поспешного возвращения на родину, умолял его отказаться от этого намерения. Но, обращаясь к брату, он предвидел, как тот возмутится дерзким поступком Генри в отношении его интимного и откровенного послания, в какой бы торжественной обстановке это ни происходило.

Он с нетерпением ждал, что скажет брат, но ответное послание Уильяма было пропитано ненавистью к Лондону, в котором его принуждали прозябать почти что против его воли. Уильям описывал тяжелый грязный воздух, пропитанный дымом и туманом, и невыносимую тупость лондонского населения — подобные существа, утверждал он, не могли бы зародиться нигде больше под солнцем.

Генри погряз в делах. В качестве распорядителя отцовским имуществом ему приходилось беспрестанно общаться с юристами. Он был потрясен, узнав, что отец исключил из завещания Уилки, полагая, что третий сын уже достаточно обеспечен жизненными благами. Генри считал, что это недопустимо, и написал братьям и сестре, предлагая немедленно восстановить справедливость и выделить Уилки определенную часть их наследства, чтобы обойденный в завещании брат

получил равную с ними долю. Он собирался поехать в Милуоки, повидаться с Уилки и Бобом, и уже планировал поездку в Сиракьюс, чтобы лично обозреть отцовскую недвижимость и решить, не стоит ли от нее избавиться или разумнее будет сохранить эти дома и пользоваться доходами с аренды.

Он погряз во всех этих вопросах, в непрестанном обсуждении дивидендов и наследственных прав, процентов и облигаций, и регулярные послания Уильяма из Лондона, полные жалоб и угроз вернуться, раздражали его все сильнее. Алису куда больше пугала возможность того, что муж вот-вот свалится как снег на голову. Она показывала Генри каждое новое письмо, тон которых доводил ее чуть ли не до слез. Хотя Генри тяготился этим чтением и беспокоился за прочность брака Уильяма и Алисы, он решил написать брату еще раз и потребовать, чтобы тот вел себя разумно. Как душеприказчик отца, он должен был сообщить Уильяму множество деловых подробностей и, дописывая письмо глубокой ночью, чувствовал странное удовлетворение, а утром вдруг с поразительной ясностью представил себе, в какое бешенство оно приведет Уильяма. Небывалая легкость, испытанная при

этом, смешивалась с осознанием того, что он действовал правильно, руководствуясь интересами всех родных.

Его плохие предчувствия оправдались: в своем ответном послании Уильям весьма энергично дал понять, что не позволит обращаться с собой как с ребенком, не понимающим собственного блага. Он сделал ряд оскорбительных замечаний в отношении Лондона вообще и квартиры Генри в частности и попытался выступить против планов прочих наследников поделиться с Уилки вопреки распоряжениям отца. Прервав свой академический отпуск, Уильям вернулся в Кембридж, а Генри написал ему, что передает свою долю наследства их сестре Алисе и отказывается от любого управления семейным капиталом, перепоручая ведение этих вопросов Уильяму. Сам же он собирается поселиться и работать в Лондоне, который его брат презирает и где он, во всяком случае, способен заработать достаточно, чтобы избавить себя от беспокойства об отцовском наследстве и управления оным.

Лишь в следующем году в этих спорах настала передышка — это случилось после смерти Уилки, за которой последовала внезапная смерть сына Уильяма, Германа, а затем кончина их сестры

Алисы; задушевные письма, полные слов любви и утешений, которые не уставала на протяжении многих лет писать ему жена Уильяма, помогли вернуть братскую нежность их отношениям не в меньшей степени, чем отрезвляющий холод атлантических вод и разделившее их огромное океанское пространство.

А сейчас, два десятилетия спустя, в Лэм-Хаусе словно бы затлели старые угли враждебного чувства, разгоревшегося в те месяцы, после смерти их отца. Генри мог жить, как прежде, — у него была его работа, были его слуги, его книги, бесчисленные письма от друзей и издателей. Но Уильям не был здесь дома. Когда в Кембридже он выходил за ворота, чтобы пешком добраться до университетского двора в Гарварде, это путешествие сопровождали теплые приветствия и взгляды, в которых уважение граничило с благоговением; его слава следовала за ним, осеняя благодатной защитной тенью. Но тут, в Рае, никто его не знал, и сознание этого, похоже, совсем его добило, Уильям был так угнетен, что в конце концов и вовсе перестал выходить на улицу. День-деньской околачиваясь в доме, он походил на свирепого зверя, который, будучи запертым в клетке, все же не потерял способности рычать.

Как-то вечером, уже собираясь подняться в спальню, в одной из комнат первого этажа Генри наткнулся на свою племянницу. У нее был расстроенный вид, и он встревожился, что на нее повлияло угнетенное душевное состояние отца. В рождественские дни ее улыбкам и ласкам удалось немного рассеять тучи, сгустившиеся над Лэм-Хаусом, мелькавшая перед его глазами очаровательная юная фигурка доставляла ему большое утешение, а ее не по годам развитым умом он просто-таки гордился. Сейчас она выглядела вялой и подавленной и не хотела отвечать на расспросы. Когда он допытывался, не скучает ли она по братьям и кембриджским подружкам, она лишь молча качала головой. Он уже прикидывал, как бы поделикатней выяснить, не замешан ли здесь ее отец, как вдруг племянница спросила его, не собирается ли он написать продолжение «Женского портрета». Оказалось, она дочитала книгу чуть менее часа назад. Генри сообщил, что этому роману уже больше двадцати лет, он давно уже и думать о нем забыл и вряд ли у этой истории будет продолжение.

— Но зачем же она вернулась? — спросила Пегги.

— Ты имеешь в виду, почему героиня верну-

лась к мужу?

— Зачем она это сделала? — Пегги казалась почти разгневанной.

Генри уселся напротив нее и принялся думать, что ей ответить, — прежде всего, он не должен говорить ей, что она все поймет, когда станет старше, что с годами подчиняться требованиям долга и морали легче, нежели может представить себе наделенное богатым воображением юное существо, тем более девочка.

— Любому человеку очень трудно совершить прыжок в неизвестность, — начал Генри. — Изабелла уезжает в Европу, бросив всю свою семью в Олбани, а затем, наперекор всем добрым советам, вопреки требованиям собственного здравого смысла, выходит замуж за Осмонда, и все это прыжки в неизвестность. Такие поступки требуют от нас смелости, решимости, но закрывают перед нами иные возможности. Куда легче отказаться от мужества, нежели демонстрировать его снова и снова. В случае Изабеллы ее возможности уже были исчерпаны. Волю и стойкость, необходимые для борьбы, человеку обрести нелегко, в особенности таким натурам, как Изабелла Арчер из Олбани.

Пока Пегги обдумывала эти слова, со второго

этажа, из спальни Уильяма и Алисы донесся шум. Было похоже, что кто-то свалился с постели. Затем они услышали голос Уильяма, его вопли и стоны, и голос Алисы, которая о чем-то его упрашивала, а потом раздался стук, словно кто-то колотил по полу. Пегги направилась к двери, но Генри жестом велел остаться в комнате.

— Нет, — сказала она, обходя его, — мы должны сейчас же подняться наверх. — Непреклонным выражением лица она сейчас очень напоминала мать: выдвинутый подбородок, сжатые губы, затвердевшие черты. Впрочем, глаза смотрели ласково, когда девочка потянула его за рукав. — Мы должны сейчас же подняться, — повторила она.

Пегги повела его наверх, в родительскую спальню и, не постучавшись, распахнула дверь. Уильям лежал на полу в ночной рубашке, его голые ноги резко белели в свете лампы. Он кричал и колотил по полу сжатыми кулаками. Алиса стояла над ним, полностью одетая, ее застывшее лицо было похоже на маску.

— Что бы это ни было, все уже кончилось, — говорила она Уильяму так отчетливо, словно отчаянно нуждалась в том, чтобы он хорошенько расслышал ее слова и поверил им. — Это было и

прошло, а сейчас мы тебя не оставим, мы будем с тобой, все мы. Мы ни за что тебя не бросим. — Она вновь и вновь повторяла это Уильяму, но он никак не мог успокоиться и продолжал стонать.

Генри хранил молчание, но, когда к ним спустился Берджесс Нокс, твердо велел тому возвращаться к себе. Он старался держаться в дверях, беспокоясь, как бы его вид не вызвал у Уильяма новый припадок. И отступил в тень, наблюдая, как Алиса помогает мужу подняться на ноги, ведет к кровати и укладывает в постель, укрывает.

— Мы останемся с тобой на всю ночь, Уильям, — сказала Алиса, — и в котором бы часу ты ни проснулся, ты найдешь здесь кого-то из нас. — (Уильям застонал уже тише и свернулся калачиком под одеялом.) — Мы все здесь, и все мы здесь останемся, — говорила Алиса. — Пегги принесет стул из своей комнаты и будет сидеть рядом, пока ты не заснешь крепко-крепко. Но я не оставлю тебя. И Гарри за тобой присмотрит. — Она приблизилась и погасила лампу на ночном столике Уильяма. — Спи, спи.

Она гладила его по голове, и от всей ее фигуры веяло спокойной, отважной добротой, смешанной с печалью. Когда Генри попытался привлечь ее внимание, чтобы спросить, не принести ли

что-нибудь из кухни, она не заметила. И лишь удостоверившись, что Уильям уснул, подошла к креслу в углу комнаты и уселась, не сводя глаз с мужа. Пегги уже принесла стул и присела у родительской кровати. Генри удалился на цыпочках, но не стал закрывать дверь; он бесшумно спустился вниз, где попробовал снова разжечь камин. Он нашел книгу, которую читал, и держал ее на коленях, но не пытался открыть, а все прислушивался, не раздастся ли наверху какой-то новый шум.

Ему подумалось, что состояние Уильяма похоже не столько на припадок, сколько на транс. И поскольку брат изучал подобные явления, Генри гадал, как бы назвал это сам Уильям, в каких терминах описал бы реакцию своей жены и дочери. Он спрашивал себя, вспомнит ли Уильям о случившемся, когда очнется.

Спустя какое-то время он услышал шаги на лестнице и встряхнулся, отгоняя дремоту. В комнату вошла невестка.

— Пегги уснула, я устроила ее там поудобнее. Если я ему понадоблюсь, я тут же поднимусь. Но этого не случится, он будет спать несколько часов, и ничто его не разбудит. — Она улыбнулась Генри. — Ты проявил большую выдержку.

— А ты сама? Какими словами мне тебя описать? — спросил он.

— Я из тех, кто мало знает, но многому учится, — ответила она.

— Мне бы обладать хотя бы толикой твоей мудрости и спокойствия, — сказал он.

— У тебя есть гораздо большее. Недаром твоя племянница тебя обожает, почитая образцом джентльмена. Так же, как и я.

— Сейчас самое время для таких комплиментов, — пробормотал он.

— Уильям иногда подвержен подобным приступам. Его сознание переполняют мрачные видения, и когда я впервые столкнулась с этим, мне захотелось убежать от него на край света. Мне казалось, что он сдался подступившей темноте, что я ничего для него не могу сделать. Но потом я узнала — так же, как и Пегги, как и мальчики, — что мы можем его успокоить, для этого нужно не так уж много.

Генри пытался своим молчанием выразить сочувствие и готовность слушать ее столько, сколько потребуется.

— Пегги росла очень капризным ребенком, — продолжала Алиса, — каждую ночь, стоило выключить свет, она начинала кричать. А по-

скольку мы думали, что никаких разумных причин для страха у нее нет и что она должна научиться спать в темноте, мы решили никак не реагировать на ее вопли. Потом выяснилось, что какая-то монахиня убедила ее, будто ее ожидает проклятье и вечные муки, поскольку она не католичка. Вот почему она кричала. И если бы мы с самого начала потрудились выяснить, чего она боится, она могла бы нам признаться.

Генри подбросил дров в камин, и они сидели молча, слушая треск поленьев и слабый посвист морского ветра. Алиса тяжело вздохнула. Генри предложил выпить портвейна, она согласилась. Он налил им по рюмке и, ласково улыбаясь, поднес ей напиток.

— Когда я познакомилась со спиритизмом, когда впервые пришла к миссис Пайпер, никто из нас не мог понять смысла сообщений, которые я получала. И вот однажды — кажется, это был уже третий сеанс, мы были лишь вдвоем с медиумом, — она, очень сильно сосредоточившись, спросила меня, не покончил ли мой отец с собой, а когда я ответила утвердительно, уточнила, находились ли мы с мамой и сестрами рядом с ним тогда, а я сказала, нет, мы были далеко. Тогда она сказала, что кто-то отчаянно зовет меня и угова-

ривает не бояться, что со мной повторится нечто подобное, что я должна подавлять свое желание бежать за тридевять земель от Уильяма, когда больше всего на свете он нуждается во мне. Из-за мрака, который сгущался над ним, я хотела, чтобы он оставался в Лондоне, когда умер его отец, и боялась его возвращения. Миссис Пайпер не могла точно сказать, что за дух взывал ко мне, но тот говорил, что я должна быть рядом с Уильямом, успокаивать его, и тогда ничто нас не разлучит и с нами не случится ничего страшного.

Она послала Генри долгий взгляд через всю комнату и улыбнулась.

— Теперь Уильяму полегчает и с ним все будет в порядке, — сказала она. — В каком-то смысле нам обоим лучше, когда он прихварывает, — ведь если мы оба полны сил, мы слишком много спорим.

Они уставились в огонь. Генри подумал, что сейчас, должно быть, где-то второй час ночи.

— Гарри, — очень тихо сказала Алиса, — мы сообщили тебе не все, что узнали на сеансах с миссис Фредерикс.

— Вы сказали, что наша мать обрела покой.

— Это так, Гарри, но кое-что ее все же тревожило.

— Что-то связанное со мной?

— Да. Она просила меня быть рядом, если я пойму, что нужна тебе. Она не хотела, чтобы ты остался один, если вдруг заболеешь.

— Значит, она наблюдает за нами?

Алиса сглотнула, словно едва сдерживала слезы.

— Ты будешь последним, Гарри.

— Ты хочешь сказать, что Уильям умрет раньше меня?

— Ее послание звучало очень ясно.

— А Боб?

— Ты будешь последним, Гарри, и я приду к тебе, когда ты меня позовешь. Ты не останешься один в свой смертный час. И не должна ничего просить у тебя взамен, кроме твоего доверия.

— Оно у тебя есть.

— Тогда это конец ее сообщения. Она желала, чтобы ты знал: ты не будешь один.

Когда Алиса вернулась в свою спальню, чтобы проверить, как там Уильям, Генри остался сидеть у догоравших углей, представляя себе мать такой, какой видел в последний раз, назавтра после ее смерти. Он сидел в тишине и смотрел на ее лицо — окруженное мерцавшими язычками свечей, оно было умиротворенным, выражение

неизменной любви к нему сменилось величавым знанием, словно она превратилась в его вечного защитника и хранителя, благородного и нежного. И сейчас, сидя в затихшем доме, ощущая, как истекает этот год, он не удивлялся, что мать заботится о конце его собственной жизни, ведь она вложила столько сил и энергии, чтобы облегчить ее начало. Ему не казалась странной мысль, что она не сможет обрести покой, пока он сам не перестанет тревожиться. Он чувствовал себя немного униженным и напуганным, но в то же время испытывал благодарность и готовность ко всему, что ему предстоит.

На новогодний обед они пригласили Эдмунда Госса. Оставшиеся до праздника дни Уильям провел, затворившись в своем кабинете, но Генри заметил, что к брату как будто вернулись силы и чувство юмора. Он возобновил короткие прогулки по Раю, к несказанной радости Максимилиана, и возвращался домой явно освеженным и воодушевленным беседой с местными жителями, всецело, по его словам, погрузившись в изучение топографии, цвета кирпича и булыжника, а также здешних нравов. О припадке в спальне, свидетелем которого был Генри, даже не упоминалось.

Генри не желал сейчас принимать гостей в Лэм-Хаусе и сам отклонял все приглашения, но когда упомянул о письме Эдмунда Госса и намерениях того приехать в Гастингс, откуда до Рая рукой подать, Уильям стал настаивать, чтобы Госса зазвали в Лэм-Хаус, неоднократно повторив, что будет рад повидаться с Эдмундом после столь продолжительной разлуки и что он, Уильям, с большим уважением относится к трудам его отца[69].

И снова Алиса и Пегги с головой окунулись в хлопоты, втягивая Генри в бесконечные дискуссии о вкусах и предпочтениях Госса и о том, как им лучше его развлечь. Алиса беспрестанно подшучивала над Берджессом Ноксом — то она высмеивала его пристрастие к поношенной обуви, то делала вид, что не одобряет его новой стрижки, которую считала вызывающе короткой. Но Берджесс уже свыкся с ней и без лишнего смущения сообщил, что Госс неоднократно посещал Лэм-Хаус и не имел причин для недовольства. Молодого слугу, похоже, только радовала суета,

---

[69] Сноски: 69

Филип Генри Госс (1810–1888) — английский натуралист и популяризатор естествознания, один из изобретателей и популяризаторов морского аквариума, автор т. н. гипотезы Омфалоса (о том, что Бог сотворил мир уже вместе с окаменелостями).

поднятая Алисой и Пегги, — столько сил тратилось ими, чтобы отрепетировать приезд гостя и как следует подготовить к его встрече гостиную, столовую и самого Берджесса Нокса.

В присутствии родителей Пегги и к немалому их веселью Генри растолковал племяннице, что, хотя сам Госс не принадлежит к числу гениев, он способен распознать величие при встрече и что он не только дружит с нынешним премьер-министром, но знавал и его предшественника, как, вероятно, будет близко знать и преемника. Пегги сморщила носик и спросила, неужели гость такой старый.

— Он не так стар, как я, моя дорогая — потому что я действительно очень стар. Ко мне, вероятно, лучше подходит слово «древний». Так вот, он не такой древний, как я. Но главное в Госсе — это то, что он обожает Лондон, просто не мыслит своего существования без него. Так что рассуждений твоего отца о прелестях тихой интеллектуальной жизни в Бостоне он просто не поймет. Человек, уставший от Лондона, попросту устал от жизни, вот его девиз. Так что тебе, моя дорогая девочка, лучше подыскать тему для беседы, на которой твой отец и наш гость могли бы поладить.

Через несколько дней после выздоровления

Уильяма Лэм-Хаус превратился в своего рода клуб с множеством строгих правил, разработанных Пегги и Генри, — иногда они советовались с родителями девочки, иногда поступали наперекор их мнению. Прежде всего Пегги получила право отходить ко сну в то же время, что и взрослые, не только потому, что она уже большая, но и поскольку открыла для себя Чарльза Диккенса. «Тяжелые времена» она проглотила в один присест, а теперь читала «Холодный дом». Правилом номер два Пегги разрешалось вставать из-за стола сразу же, как будет съедено основное блюдо, и забирать с собой десерт в любую комнату, где она хотела бы продолжить чтение. Правило номер три закрепляло право Уильяма беспрепятственно храпеть в любой части дома. Прочие правила разрешали Берджессу Ноксу носить любую обувь, которая ему по вкусу, а Алисе — макать печенье в утреннюю чашку кофе, сколько ее душе будет угодно, лишь бы она не закапала «ковры герцогини», как называла их Пегги. Самому же Генри дозволялось читать длинную, в двух томах, биографию Наполеона, не испытывая при этом чувство вины за то, что он понапрасну тратит время. Этот свод правил Алиса отослала своей матери в Кембридж, а три брата Пегги должны

были наложить свою резолюцию. Редактируя декларацию, Алиса и Пегги разрывались между пристрастием Уильяма к рисункам и восклицательным знакам и требованием Генри, чтобы таковые были сведены к минимуму.

Госс прикатил из Лондона с небольшими подарками и заверениями, что теперь, когда наконец покинул город, он самый счастливый человек в Англии, что на время праздников в Лондоне становится просто невыносимо из-за слишком легкомысленных светских развлечений и проклятого тумана, который проникает в черепную коробку умнейших представителей своего поколения и превращает оных в тупиц.

Уильям встретил это заявление одобрительной ухмылкой, а Пегги покосилась на Генри.

— Я сказал своей племяннице, что вы любите Лондон больше жизни, — пояснил Генри.

— Чистая правда. Но это не делает чести нашей жизни, — ответил Госс и повернулся к Уильяму, который стоял у камина, потягивая херес. Его тон из шаловливого сделался почтительным. — Могу ли я высказать, какое это удовольствие — возобновить знакомство с вами? Я уже много лет вас

читаю. И Лесли Стивена[70] я приучил читать вас с таким же удовольствием, с каким мы читаем беллетристику вашего брата. В наше время редко встретишь мыслителя, обладающего вашей точностью, энергией и в то же время, если позволите так выразиться, вашей поэтичностью.

Уильям улыбнулся и ответил вежливым комплиментом в адрес Госса, а Алиса светилась от счастья, что нашелся наконец гость, который не будет раздражать Уильяма, и с признательностью глядела на Генри.

Когда начали подавать на стол, Госс рассказал о полемике вокруг Дня молитвы, объявленного после недавнего поражения в бурской кампании[71]. Генри заметил, что Госс не спешит излагать собственную точку зрения, зато во всех подробностях сообщил, что сказали по этому поводу принц Уэльский, лорд Рэндольф Черчилль,

---

[70] Сноски: 70

Лесли Стивен (1832–1904) — английский писатель, литературный критик; известный альпинист.

[71] Сноски: 71

Имеется в виду Вторая англо-бурская война (1899–1902), в ходе которой Британская империя пыталась сохранить свои колонии в Южной Африке. Колонисты-буры, отстаивавшие независимость, нанесли британской армии ряд сокрушительных поражений. После битвы при ферме Магерсфонтейн 11 декабря 1899 г., когда британские войска потеряли множество солдат, в Англии был объявлен День молитвы. Это вызвало возмущение у прогрессивной части общества, осуждавшей войну.

мистер Асквит и мистер Альфред Остин, искусно давая понять слушателям, что лично при этом присутствовал. Поскольку он продолжал греметь именами и титулами, делая многозначительные паузы после упоминания очередного сановника, Алиса не на шутку переволновалась и метала в сторону Уильяма огненные взгляды, чего раньше Генри никогда за ней не замечал.

— Да, — сказал Уильям, воспользовавшись очередной паузой в рассказе Госса, — я написал на этот счет письмо в «Таймс», но они не стали его печатать.

— Уильям! — предупреждающе воскликнула Алиса.

— Письмо в «Таймс»? — удивился Госс. — И какую же из сторон вы поддержали?

Уильям задумчиво уставился вдаль.

— Я написал, что я просто скромный путешественник-американец, но полемика, развернувшаяся вокруг Дня молитвы, не оставила меня равнодушным, и, дабы примирить общество, я предложил бы им взять на вооружение принципы, которыми руководствовались первые поселенцы Монтаны, — принципы необыкновенно разумные и, как правило, приемлемые для всех.

— И что же это за принципы? — заинтересовался Госс.

— Один из поселенцев столкнулся с медведем-гризли, огромным и чрезвычайно злым. Он упал на колени и обратился к Создателю с молитвой следующего содержания: «Господи! Я никогда не просил Тебя о помощи и сейчас не стану беспокоить Тебя подобной просьбой. Но прошу Тебя, Господи, не помогай медведю!» «Таймс», в мудрости своей, воздержались от публикации этого письма.

— Надеюсь, ты указал вымышленный адрес где-то в прериях, — заметил Генри.

— Я указал подробный адрес — Лэм-Хаус и Рай, — ответил Уильям.

— Вот в чем главное отличие нашей страны от Соединенных Штатов: здесь мы можем быть уверены во многих вещах, как, например, в том, что «Таймс» ни за что не напечатает подобное письмо.

— Это говорит в пользу «Таймс», — сказал Генри.

— И не в пользу моего злосчастного письма, — подхватил Уильям.

— Уверен, какие-нибудь ирландские издания с удовольствием его напечатают, — сказал

Госс. — Вы не должны позволить этому шедевру пропасть.

— Он и не пропал, — сказала Алиса. — Уильям только что изложил нам его, предварительно пообещав мне больше не упоминать о нем ни одной живой душе.

— Я и не буду упоминать, — сказал Уильям.

— Полагаю, вы могли бы пересказать это письмо принцу Уэльскому, — ввернул Генри, и Госс бросил на него подозрительный взгляд.

— Ну, поскольку сейчас начало нового года, будет только справедливо, если оба писателя, в компании которых мы его встречаем, поведают нам о своих планах, — сказал он.

— Мой брат будет читать Гиффордские лекции[72] в Эдинбурге, — сообщил Генри.

— О новой науке психологии? — заинтересовался Госс.

— О древней науке религии, — ответил Уильям.

— А лекции уже написаны?

— У меня в запасе некоторые идеи, заметки,

---

[72] Сноски: 72

Гиффордские лекции — ежегодная серия лекций в учебных заведениях Шотландии, учрежденная в 1887 г. и получившая свое название в честь судьи, лорда Гиффорда. Изначальная цель лекций формулировалась следующим образом: распространять и содействовать распространению естественной теологии, то есть познанию Бога.

несколько страниц и больное сердце. Таким образом, мне требуется больше времени.

— И какую точку зрения на религию вы будете отстаивать?

— Я верю, что религия в самом широком смысле этого слова нерушима, — сказал Уильям. — Я верю, что мистический опыт индивидуума, в любом его проявлении, является демонстрацией подсознательного человеческого «я».

Генри незаметно сделал Пегги знак, что, если ей хочется выйти из-за стола и вернуться к своей книжке, сейчас самое время это сделать. Ее мать кивнула. Девочка извинилась и покинула столовую.

— Но что, если религия оказывается ложью? — спросил Госс.

— Я не верю, что религиозное чувство может быть опровергнуто, ибо вера в основе своей принадлежит подсознательному «я». И если какое-то убеждение настолько свойственно индивидууму, что удовлетворяет его потребность в веровании, значит оно для него годится и является истинным настолько, насколько это возможно.

— А разве аргументы Дарвина и его сторонников не демонстрируют ошибочность некоторых религиозных догматов?

— Меня интересуют не догматы, а религиозный и мистический опыт, — сказал Уильям. — Я должен пояснить, что любые термины, которыми мы сейчас пользуемся, расплывчаты, а порой и вовсе бессмысленны. У нас нет точных слов, потому что нет точных чувств. У нас смешанные чувства и непохожие переживания, и я считаю, что мы должны это принять как основу нашей жизни, нашего законодательства и политики, но самое главное — как основу собственной личности.

— И допустить влияние трансцендентного мира?

— Да, но в более широком понимании. Мир за пределами смысла, где действуют могущественные силы, где наше «я» может стать чем-то большим, — этот мир существует, он может быть непрерывно слит с нашим сознанием, а может восприниматься отдельно, и это заставляет нас верить или иметь религиозное чувство, пускай даже смутное, но это может удовлетворить человечество куда лучше, чем все наши религиозные споры.

Уильям говорил легко и понятно, его благодушное настроение сообщало выступлению тон задушевной беседы. Раньше Генри никогда не слышал, чтобы брат излагал свои мысли так

непринужденно.

— Судя по тому, как вы говорите, ваши лекции уже написаны, — сказал Госс.

— Я только сформулировал их. Я предпочитаю говорить из головы, но ведь от меня все равно потребуют, чтобы я записал все слово в слово и передал для публикации.

— Возможно, их стоит послать в «Таймс», — предположил Госс.

— Нет уж, для «Таймс» я больше не напишу ни строчки, они свой шанс упустили. — Уильям рассмеялся, поднял бокал и выпил.

— Генри, теперь ваша очередь, — сказал Госс. — Расскажите о своих замыслах, чтобы мы с нетерпением ожидали их воплощения в печати.

— Я плохо излагаю свои мысли вслух, — сказал Генри, — я романтик, погрязший в драматических переживаниях. Пока мой брат разбирается с устройством мира, я могу лишь попытаться ненадолго оживить мир или сделать его более странным. Когда-то я писал о молодых людях и об Америке, а теперь мои герои — изгнанники среднего возраста, и истории их разочарования вряд ли найдут много поклонников по обе стороны Атлантики.

— Гарри, у тебя множество преданных читате-

лей, — сказала Алиса.

— Сейчас я представляю себе героя, который всю жизнь верит, что с ним случится нечто ужасное, — продолжал Генри. — Он делится своими предчувствиями неизбежной катастрофы с женщиной, которая становится его лучшим другом, но чего он не видит — это что катастрофа уже случилась: его собственная холодность, неспособность поверить в ее чувства — и есть катастрофа.

— На том и конец истории? — спросил Уильям.

— Да, но попутно я обдумываю рассказ о человеке, который приезжает в Париж из Новой Англии. Это американец средних лет, и всю жизнь он скрывает свой ум и чувствительную натуру. И он познает Париж, и, подобно герою первого рассказа, наконец постигает, что наш долг — жить в полную силу, но уже слишком поздно, а может быть, и нет.

— Если бы среди нас был священник, — с мягкой улыбкой сказал Уильям, — он спросил бы, какая мораль у этих историй и какой вывод должен сделать из них читатель.

— Мораль? — на мгновение задумался Генри. — Мораль — это что-то слишком прагматичное, но вывод таков: жизнь — это бесконечная тайна, и

все, что она предлагает, прекрасно, и мы должны быть готовы измениться, в особенности если едем в Париж, и что никто, — с этими словами он поднял бокал, — познавший сладость Парижа, уже не способен воспринимать сладость Соединенных Штатов по-прежнему.

— А какой из этих рассказов вы напишете первым? — спросил Госс.

— Кажется, я уже начал писать оба, — сказал Генри.

— А вы-то, сэр, что напишете в этом году вы сами? — спросил Уильям у Госса.

— Когда наберусь храбрости и подыщу нужный стиль, — сказал Госс, — я возьмусь за книгу о своем отце.

— Но вы уже написали одну, и я от души ею восхищаюсь, — заметил Уильям. — Меня всегда интересовали напряженные отношения между религиозным духом и разумом в поисках научной истины.

— В новой книге я опишу напряженные отношения между отцом и сыном, — сказал Госс, — и ни одному из нас не дам спуску. Следует подобрать верный тон, и для такой работы потребуется немало времени, но не думаю, что после этой книги у моего отца появится много новых по-

клонников.

— К великому сожалению, — заметил Уильям.

— Не сомневаюсь, что и книга получится великая, — добавил Генри.

Госс покинул их за час до наступления темноты, а Уильям отправился на прогулку. Вернувшись, он застал членов клуба Лэм-Хаус за их привычными занятиями. Шторы были задернуты, Берджесс Нокс в своей самой предосудительной обуви сновал взад-вперед с поленьями и углем, пока в камине не заревел могучий огонь, Генри присел у камина со своей биографией Наполеона, а Алиса и Пегги, устроившись в разных уголках дивана, читали при свете настольной лампы.

— Вот и почил зимний день, да здравствует зимний вечер, — провозгласил Уильям.

— Утром надо будет снова написать мальчикам, — сказала Алиса. — По-моему, они ждут не дождутся, когда мы вернемся домой.

— Не хочу больше писать письма, — сказала Пегги.

— Можем учредить новое правило клуба и освободить тебя от этой повинности, — предложил Генри.

Уильям ненадолго вышел из комнаты и вернулся с книгой.

— Мама всегда мечтала об этом, — сказал Генри.

— Что мы окажемся в Англии? — спросил Уильям.

— Нет, — улыбнулся Генри. — Она мечтала о том, чтобы мы сидели все вместе, наслаждаясь чтением, пока они с тетушкой Кейт заняты своим рукоделием, и чтобы часами не было слышно ни звука, только шелест страниц.

— Разве такого никогда не было, Гарри? — спросила Алиса.

— Никогда. Вечно то мой отец с кем-то поспорит, то твой муж что-то опрокинет, то младшие затеют драку.

— А о чем мечтаешь ты, дядя Гарри? — Пегги подняла на него глаза от книги.

— Мне грезится старый английский дом, пылает огонь в камине, и никто ничего не опрокидывает вверх тормашками.

— Я воздержусь, если не возражаешь, — сказал Уильям. — Да и дни моих шалостей, кажется, давно позади.

Пока сгущались сумерки, задул пронзительный ветер, стекла задребезжали. Пегги, старательно вчитываясь в каждое слово, свернулась под боком у матери, а та отложила книжку и глядела

на пламя.

Ужин подали на подносах в гостиной. Когда Берджесс Нокс, расставив тарелки, удалился, Генри наполнил бокалы брата и невестки, а для Пегги нашелся шоколад. Уильям вернулся к своему томику и, читая, делал заметки. Было слышно, как его перо царапает страницу. Тянулось время, каждый был слишком занят своей книгой или своими мыслями, и никто не заметил, что Уильям давно уснул, пока он не начал храпеть.

— Можем подбросить дров в огонь, только так, чтобы его не разбудить, — прошептал Генри.

— Уже поздно, — вздохнула Алиса.

— Правила гласят, что я могу не ложиться спать, — напомнила Пегги.

— А Уильям пусть храпит сколько его душе угодно, — мягко добавил Генри.

К тому времени, как брат с семьей собрались уезжать, решив провести остаток зимы в более мягком климате на юге Франции, Пегги одолела еще несколько романов Диккенса, а утром в день отъезда Генри застал ее за поглощением «Дэвида Копперфилда». Не нужно торопиться и пропускать страницы, сказал Генри, она может взять с собой этот томик и любые другие книги, за исключением двухтомной биографии Напо-

леона, с которой его никто не разлучит, пока он не перевернет последнюю страницу.

После завтрака, увидев книгу, которую читала Пегги, Уильям расхохотался.

— Это та самая, из-за которой попался Генри, — сказал он.

Пегги уставилась на Генри, а отец пояснил:

— Когда мы жили на Четырнадцатой улице, наша кузина привезла из Олбани первый выпуск «Дэвида Копперфилда» и собиралась читать вслух, а Гарри отправили спать, потому что наша мама решила, что эта книга не для маленьких мальчиков. Но вместо того, чтобы поступить как велено, он спрятался.

— А что сделал ты, папа?

— Ну, я уже не был маленьким мальчиком.

— Он был на год старше, — уточнил Генри.

— И ваша кузина читала вслух?

— Да, и это было захватывающее чтение, потому что она умела подражать разным голосам. И вдруг из какого-то угла раздался истошный рев. Это Гарри, который тайком слушал вместе с нами, не выдержал жестокосердия Мэрдстонов, за что ему порядком влетело. Он был таким плаксой!

— А ты разве не плакал, папа?

— У меня каменное сердце. — Уильям коснулся

своей груди и улыбнулся.

Генри как наяву увидел нью-йоркскую гостиную, в которой читали «Дэвида Копперфилда», тяжелую мебель, ширмы, скатерти с кисточками, но вместо голоса кузины вспомнил голос матери — когда его извлекли из его убежища, мать сначала рассердилась, а потом, заметив, что он плачет, крепко его обняла. Все это предстало так живо, будто не было многолетней дистанции между тем днем и нынешним. Он знал, что для Пегги это седая старина, но видел, что и Уильяму эти события кажутся невероятно отдаленными. Историю эту брат рассказал так, как ее принято было рассказывать на протяжении десятилетий, с тем же деловито-добродушным видом, с которым Уильям хватался за чемоданы.

Генри вышел из столовой, увидел, что Уильям уже вовсю готовится к отъезду, вздохнул и покачал головой. Алиса вручила Берджессу Ноксу пятифунтовую бумажку, а тот посмотрел на Генри, всем своим видом говоря, что это уж чересчур.

— Бери-бери, — сказал Генри. — Моя невестка принадлежит к зажиточной ветви семьи.

Берджесс со своей тележкой покатил вперед, за ним шли Генри, Уильям, Алиса и Пегги. Трое

гостей уже достаточно долго прожили в Рае, чтобы местные жители тепло с ними прощались. Генри был поражен тем, как Уильяму не терпится поскорее уехать, до него вдруг дошло, что в этом весь Уильям — всегда готов к новым впечатлениям, к новым приключениям, даже если предстоит всего лишь перейти из одной комнаты в другую или встать, если ты до этого сидел. Когда они были детьми и читали книжку с картинками, он всегда переворачивал страницу прежде, чем Генри успевал рассмотреть рисунок, а потом наотрез отказывался возвращаться, но очень быстро книжка ему надоедала, и он выскакивал на улицу, предоставляя Генри спокойно насладиться ею в одиночестве.

Они ехали в Дувр, а затем во Францию. Когда пришел поезд, Генри почувствовал, что они не знают, радоваться им или грустить. Он понимал, что Пегги сейчас больше всего на свете желает снова взять в руки книгу. Он проводил ее в вагон и нашел местечко у окна, а потом снова вышел, наблюдая, как грузят багаж, а Алиса уговаривает Уильяма не поднимать чемоданы и ящики. Он обнял Уильяма и Алису, затем окончательно спустился на платформу. Они с Берджессом смотрели, как закрывается тяжелая дверь вагона.

Лэм-Хаус снова принадлежал ему одному. Он расхаживал туда-сюда, наслаждаясь пустотой и тишиной. Он поздоровался с шотландцем, который ожидал начала их рабочего дня, однако Генри хотел еще какое-то время побыть в одиночестве. Он то поднимался, то спускался по лестнице, но, хотя он и мог располагать всеми этими комнатами, казалось, они уже безвозвратно принадлежат прошлому, как и та гостиная с ширмами, затененными углами и скатертью с кисточками, как и все прочие комнаты, из окон которых он наблюдал мир, пытаясь запомнить, охватить и удержать.

Слова благодарности

В работе над романом мне чрезвычайно помог ряд книг о Генри Джеймсе и его семье. А именно: пятитомная биография Генри Джеймса, написанная Леоном Эделем, а также изданные Эделем письма и заметки писателя; «Генри Джеймс. Воображение гения» Фреда Каплана; «Генри Джеймс. Молодой мастер» Шелдона М. Новика; «Джеймсы. История семейства» Р. У. Б. Льюиса; «Биография Алисы Джеймс» Джин Страус; «Биография разрушенных судеб: Уилки и Боб — братья Уильяма, Генри и Алисы Джеймс» Джейн Маер; «Отец. Жизнь Генри Джеймса-старшего» Альфреда Хабеггера; «Частная жизнь Генри Джеймса: две женщины и его искусство» Линделла Гордона; «Метафизический клуб» Луиса Менанда; «Алиса Джеймс. Жизнь в письмах» под ред. Линды Андерсен; «Amato Ragazzo: Lettere a Hendrik C. Andersen» под ред. Розеллы Мамоли Цорци; «Уильям и Генри Джеймс. Избранные письма» под ред. Игнаса К. Скрипскеллиса и Элизабет М. Беркли; «Дорогие и великодушные подруги. Письма Генри Джеймса к четырем женщинам» под ред. Сьюзен Э. Гюнтер;

«Легенда о мастере», сост. Саймон Ноуэлл-Смит.

Считаю нужным отметить тот факт, что я густо приправил свой текст предложениями и фрагментами из написанного Генри Джеймсом и его родственниками.

Я благодарен Питеру Строссу, Нэн Грэм, Эндрю Кидду, Элен Селиман, Катрионе Гроув, Брендану Баррингтону и Ангеле Рохан. Часть этой книги написана в Италии, в фонде Санта-Маддалена неподалеку от Флоренции, и я очень признателен Беатриче Монти за доброту и радушие.

От переводчика

В процессе перевода было весьма занимательно прослеживать способы, коими Колм Тойбин, прозаик интеллектуальный, глубокий и одаренный, решает в этом романе сразу несколько масштабных писательских задач. Отдельного упоминания заслуживает форма романа — текст многослойный, насыщенный ответвлениями, и притом конструкция его явно стройна, подчинена определенной логике. Наиболее интересными показались два писательских приема: стилизация самого текста «под Джеймса», несомненно Тойбину удавшаяся, и совершенно замечательные регулярные экскурсии на «писательскую кухню» или, точнее сказать, в «писательскую мастерскую» Генри Джеймса. Уверена, вдумчивому читателю понравился предложенный автором квест «угадай произведение по замыслу», тут-то мы и узнаем, «из какого сора» вырастает настоящая литература. Вот «История одного года», а там и вон там — «Поворот винта», вот «Дейзи Миллер», вот «Гай Домвиль», очаровательный «Женский портрет», изысканные «Письма Ас-

перна», трогательные и драматические «Крылья голубки», «Золотая чаша», «Послы», «Зверь в чаще» — и многое, многое другое… Увлекательнейшее занятие, право слово!